

ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

6 '86





Памятник М. Ю. ЛЕРМОНТОВУ в Тарханах.
Скульптор О. Комов, архитектор Н. Комова.

Фото Л. Шимановича.

ЮНОСТЬ

(373)

6

86



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

*Привет участникам
VIII съезда
писателей СССР!*

Издательство «Правда»
Москва

В НОМЕРЕ:

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:

Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Сергей ЕСИН
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натан ЗЛОТНИКОВ
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Олег КОМОВ
Мария ОЗЕРОВА
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Владислав ТИТОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

Оформление обложки
С. Костромина.

Художественный редактор
О. Кокин.

Художник
Ю. Цишевский.

Технический редактор
О. Трепенюк

Адрес редакции: 101524, ГСП.
Москва, К-6, улица Горького,
д. 32/1.

Т е л е ф о н ы:

Главная редакция — 251-31-22
Отдел прозы — 251-59-44
Отдел поэзии — 251-44-35
Отдел публицистики — 251-02-30
Отдел критики — 251-96-76
Отдел науки и техники — 251-27-57
Отдел рукописей — 251-74-60
Отдел писем — 251-14-21
Отдел культуры — 251-48-65
Отдел оформления — 251-73-83
Отдел сатиры и юмора — 251-05-06

Сдано в набор 03.04.86.

Подп. к печ. 07.05.86.

А 11399.

Формат 84×108¹/₁₆.

Высокая печать

Усл. печ. л. 12,18.

Уч.-изд. л. 17,62

Усл. кр.-отт. 18,48

Тираж 3 310 000 экз.

Изд. № 1376

Заказ № 2713.

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография
имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП,
ул. «Правды», 24

Проза

Юрий БОНДАРЕВ. Мгновения	6
Василий РОСЛЯКОВ. Элеонора. Рассказ	14
Алексей ИЛЮШИН. Рассказы	28
Юрий ЯКОВЛЕВ. Саманта. Фантазия-быль	48

Поэзия

Николай СТАРШИНОВ	24
Константин ВАНШЕНКИН	25
Дмитрий ФИЛИМОНОВ	27
Белла АХМАДУЛИНА	43
Григорий ПОЖЕНЯН	44
Лариса ВАСИЛЬЕВА	45
Резо АМАШУКЕЛИ	46
Джансуг ЧАРКВИАНИ	47
Елена АКСЕЛЬРОД	71

Критика

Молодая литература и ее завтрашний день. Навстречу VIII съезду писателей СССР	72
---	----

Публицистика

Виктор МОЛОЗИН. За Уренгоем — Ямбург	3
Лидия ГРАФОВА. Мужество	67
Ирина Триус: я всю жизнь богата	68
Ф. АЛЕКСЕЕВ, М. БОРИСОВ. Заботы Чугуевки	80
А. НЕВСКИЙ. Заинька	83

Культура и искусство

Алексей ПЬЯНОВ. Диалоги со скульптором	90
Александр ТАТАРСКИЙ. Делать мультфильм	93

Наука и техника

А. ШЕВЕЛЕВ. Пятна на белом халате	100
---	-----

Спорт

Владимир ЛУКЬЯЕВ. Зимой в горах очень холодно	105
---	-----

Зеленый портрет

Галка ГАЛКИНА. Гости с поднятыми руками. Фельетон	109
Константин МЕЛИХАН. Рыцарский поступок	110
Екатерина ГОРБОВСКАЯ. Обыкновенная история. Письмо в Сухуми	110
Михаил ЗАДОРНОВ. Нарваться можно!	111
Александр ИВАНОВ. Владимир ТУРОВСКИЙ. Александр МАТЮШКИН-ГЕРКЕ. Просим слова! Пародии	112

ВИКТОР МОЛОЗИН,

бригадир комсомольско-
молодежной бригады
монтеров пути, Герой
Социалистического
Труда, делегат
XXVII съезда КПСС



ЗА УРЕНГОМ— ЯМБУРГ

Пак уж устроен человек: голоса за хорошие, правильные решения, невольно «примеряешь» их на себя, стараешься тут же определить, как и чем лично ты, твоя бригада могут ускорить переход от решений к их осуществлению на деле, в жизни.

Еще во время работы XXVII съезда КПСС думал я, каким может быть наш вклад в программу ускорения. Мы прокладываем железную дорогу от Уренгоя до Ямбурга. Думаю, нет нужды объяснять общегосударственную важность этой стройки — сегодня каждый пионер в стране знает не только эти названия — Уренгой, Ямбург, но и то, что за ними стоит: освоение новых газоносных районов северной оконечности Западной Сибири.

На съезде прямо было сказано: чтобы получить прирост топливно-энергетических ресурсов, нужно скорейшее освоение Ямбургского месторождения. В свою очередь, чтобы освоить это месторождение, нужна железная дорога — устойчивый всепогодный транспорт. Я постоянно вижу, как газовики, нефтяники доставляют оборудование, трубы, технику. Да что технику — куртки, унты, продукты, каждая мелочь — шуруп, гвоздь, кусок мыла — все перебрасывается по воздуху или по воде. Качество такого снабжения никого не может удовлетворить: водный путь — это короткий сезон навигации; самолеты и вертолеты еще в большей мере зависят от погоды. Так что железная дорога, или, как мы говорим, «железка», — решение многих проблем.

А проблемы возникли не сегодня. Непозволительно задержалась выдача проектной документации на строительство дороги. На свой страх и риск, что называется, явочным порядком в навигацию 1984 года производственное объединение «Тюменстрой-

путь» решило двинуть из Тазовской губы по маленькой речке Хадуте два земснаряда. Загнали их на 160-километровую отметку трассы и начали намывку грунта. Подчеркиваю, в то время не было еще утвержденного проекта и сметы, Госплан не выделил еще ни рубля денег, ни одного звеньщика рельсового пути. По существу, мы занимались партизанской деятельностью.

И все равно мы отстали почти на два года с построением железной дороги на Ямбург. Если бы планирование, проектирование и строительство «железки» были начаты раньше, чем освоение самого Ямбургского газоконденсатного месторождения, не было бы аврала и спешки и добываемый газ обходился бы дешевле.

Но упущенного не вернешь. Сейчас сидеть да охать, ссылаться на объективные трудности, ругать смежников — дело не двинется. А работы — выше головы. Не столь внушительны сами объемы — протяженность трассы всего 234 километра, — сколько условия заполярной тундры: дорога за исключением первых пятидесяти километров целиком пролегает за Полярным кругом. То есть приходится работать там, где на всхолмленной равнине без единого кустика гуляют ураганные ветры, в апреле и мае трещат морозы, а летом подолгу стоят густые туманы. Добавьте сюда вечномерзлотный грунт, требующий специальной изоляции, полное отсутствие каких-либо местных материалов — колышек не из чего вытесать, — скверный зимник и полная непроходимость местности летом.

Тем не менее в первом полугодии нынешнего года, то есть в конце июня, мы обязаны дорогу проложить и открыть рабочее движение. В частности, наша бригада должна «вынести» на своих плечах четвертую часть всей трассы — от 175-го километра до самого Ямбурга. Честно скажу, тут одним «Эй, ухнем!» не обойтись.

Между прочим, когда мы будем заканчивать укладку рельсового пути, в Москве соберутся писатели страны на свой очередной съезд. У нашего коллектива — немалый опыт общения и контактов с литераторами: многолетние шефские связи и тесная дружба с журналом «Юность», прежний редактор которого Борис Николаевич Полевой долгие годы был почетным членом бригады. Не скрою, иногда дружбу с писателями мы использовали в практических целях: «выбить» кирпич или рельсы, спортивный инвентарь или музыкальные инструменты для самодеятельности. Сегодня партия сказала во всеуслышание: каждый должен заниматься своим делом. Время требует от писателя не снабженческой помощи подшефной стройке, а глубокого осмысления стратегии освоения, борьбы с самым страшным дефицитом — дефицитом совести. Мы, рабочие люди, ждем от литераторов не просто очередных производственных романов, но искреннего и честного разговора о том, как надоела работа для отчета, для галочки, для рапортов. Как хочется подлинности во всем...

Весь наш участок располагается на вечной мерзлоте. Для работы в таких условиях старая, несовершенная техника не годится. Во время работы съезда я встречался с нашим министром Брежневым, говорил о наших нуждах и просьбах. Нужны мощные бульдозеры и новейшая техника.

Планирование наперед, с заделом — необходимое условие для транспортного строительства. Если мы сейчас идем на Ямбургское месторождение, то рано или поздно жизнь заставит повернуть и на другие месторождения. Но лучше рано, чем поздно. Боюсь, опять получится: «Пожар! Аврал! Давай-давай! Погнай! Эй, ухнем!»...

Сегодня повсюду идут разговоры о перестройке сознания, о необходимости перемен. Спору нет, полезные разговоры. «Всем надо перестраиваться, товарищи, — сказал на встрече с трудящимися Куйбышева Михаил Сергеевич Горбачев, — потому что мы с вами немного подрастались, дисциплину подзапустили, требовательность, добросовестность».

Размышления, начатые еще на апрельском Пленуме ЦК нашей партии в прошлом году, были закреплены на съезде в форме конкретных решений. Тогда же определенно и четко прозвучала мысль о необходимости перейти от слов к делам, каждым своим поступком, каждым трудовым днем подкрепляя и практически реализуя партийные решения. Вот почему, вернувшись со съезда на Север, я первым делом собрал свою бригаду и спросил: «Готовы ли мы к работе по-новому? Считаем ли удовлетворительными порядок, качество, дисциплину, условия быта и отдыха? Пусть говорят все — и ветеран, и новичок...»

Моих ребят говорунами не назовешь, но тут «симпозиум» получился долгим, в решение бригадного собрания записали семнадцать пунктов, причем не обтекаемых — «усилить, улучшить», — а точных и конкретных. Но больше всего меня порадовал сам тон разговора. Думаете, мои комсомольцы-добровольцы хоть заикнулись о каких-нибудь послаблениях, выгодах, личном интересе? Если чего и требовали, о чем кричали и кулаком стучали, так это работы: обеспечения материалами, техникой, механизмами...

Боюсь, кое-какие молодые ребятки с ехидной усмешкой отнесутся к этим моим словам, если, конечно, захотят их прочитать. А то ведь откроют страницу журнала, глянут, что тюменский бригадир пишет, и скривятся: «Опять рапортует о каком-нибудь выполнении-перевыполнении... Опять нам сказки рассказывает о туманах и о запахах тайги, об отрывочно-показательных мальчиках и девочках, которые строят дорогу, тянут газопроводы, возводят в тайге и в тундре города, не боятся трудностей, а всю зарплату перечисляют в Фонд мира...»

А если наберутся терпения и прочитают то хмыкнут: «Работы они просят! Молозин и не такого наговорить может, кто его проверит? Что, его парни из другого теста сделаны? Разве их не интересуют деньги, модная одежда, стереозаписи? Разве они не хотят ездить на своей машине?!»

Все так: и петь-плясать наши строители хотят, и модой интересуются, и личной машиной, и дискотекой не брезгают, и отдыхать любят на лучших курортах Черноморского побережья или Прибалтики. «На какие шиши? — наверняка уже вертится вопрос на языке у ехидного юноши. — На зарплату? Позвольте вам не верить...»

Конечно, можно стать в позу, начать стыдить сомневающийся: мол, работай хорошо и получишь сполна, будешь иметь возможность купить, что пожелаешь. Признаюсь, лет десять назад и я был охотником до таких поучений. Но вот на нашем бригадном собрании молодые ребята поставили вопрос другому: а всегда ли оплата соответствует мере труда? Откуда берется пресловутый «потолок» при назначении заработной платы? Почему человек, чувствуя силу ума и рук, не может дать полный выход этой силе?

Не о том ли шел разговор на партийном съезде, что рабочий, инженер, ученый должны получать за свой труд полной мерой?

Оглядываясь назад, я вспоминаю десятки, сотни молодых лиц, «просквозивших» через наши сибирские стройки. Называли их летунами, потом появилось ученое слово «мигранты», но как ни назови, а этот мощный поток переселенцев всегда обострял и без того нелегкие проблемы освоения северных районов. Уезжали из-за нехватки жилья, детских садов, школ, по причине слабой культурной базы, неподходящего климата... Были и такие, что растерялись, испугались, не смогли освоиться на новом месте, в непривычной обстановке. Но примечательно: если находил человек интересную работу, которая и оплачивалась соответствующим образом, тогда он и с неважными жилищными условиями мирился, и отсутствие дискотеки мог перетерпеть. А вот без работы, попадая в ситуацию расхлябанности и неорганизованности, многие ломались и уезжали...

В Москве я пил воду у киоска «Пепси-кола». Продавец — молодой парнишечка — интересуется: почему ондатровая шапка, что на мне, где дубленку покупал? Я объясняю, что в Уренгое. «Понятно, — смеется, — северная надбавка». Ему, как я понял, северные коэффициенты и накрутки представляются чем-то вроде левого дохода от сдачи посуды в ларьке «Пепси-кола».

Проще всего посмеяться над любителями легкого заработка. Ну, а если взглянуть серьезно, задуматься, откуда эти конкурсы в бригады шабашников, в продавцы воды, пива и цветов? Не оборотная ли это сторона неправильной организации и оплаты труда? В чем, к примеру, для молодежи привлекательность работы на шабашке? Ведь там дурака не поваляешь, работать надо на полную катушку. Зато и заработок наперед известен, и зависит он от тебя и твоих товарищей. Почему же в государственной артели, то есть в такой бригаде, как наша, очень многое зависит от «стихийных» сил: то материалов не хватает, то фронт работ не обеспечен?

Не мне, рабочему, тягаться с учеными-экономистами — им думать, предлагать, решать. Да и предлагают, например, бригадный подряд, хозрасчетный участок или цех. Я-то говорю о моральной стороне дела. Если парень смолodu слышит в семье, что на зарплату не проживешь, если популярный артист выдает с экрана телевизора язвительное пожелание: «Чтоб тебе всю жизнь жить на одну зарплату», то никакими разговорами о красоте рабочей профессии не заманишь этого парня в цех завода, на стройку или на колхозное поле.

Вот меня и удивляет, когда после съезда некоторые весьма солидные руководители не связывают перестройку идеологической, воспитательной работы с новой экономической политикой, а ускорение понимают как широко распространенное прежде «Скорей, скорей!». То есть вместо новой организации дела, четкости, продуманности, вместо качества и тщательности предлагается все та же авральная палочка-выручалочка. То ли мозги у людей засохли, то ли смелости не хватает по-новому за работу взяться. А может, думают: поговорили, поговорили — и на этом все кончится. Отсидимся, мол. Только вряд ли получится отсидеться: придется в конце концов или перестраиваться, или уступать место людям, которым перестройка по плечу.

Наша бригада в сорок человек осваивает в год на 5 миллионов строительно-монтажных работ. Дай нам технику понадежнее, обеспечь строительными материалами, и мы освоим в полтора-два раза больше — 8—9 миллионов. Вот они, резервы, не надо хо-

дить с фонарем и искать. Мы привыкли под нарушением дисциплины понимать опоздания, прогулы. А если человек выехал вовремя на работу на вахтовой машине, а там ему нечего делать, потому что нет щебенки, шпалы или рельсов, так это вроде бы законный простой. Все по закону, человек на работе. А отдача, эффект? Нулевой. Толку от такой «работы» нет.

Или другой пример. Приходим в полвосьмого на работу. А выехать на точку не на чем. Нет вахтовки. Сидим до девяти, до полдесятого. Наконец отправились. На другой день — та же самая история. А на третий день человек и не пойдет к положенному времени, все равно, мол, сидеть без толку, дожидаться. А на этот раз машину подали вовремя, мы уселись и уехали. У него прогул. Справедливо, конечно, но ведь мы этот прогул как бы сами подготовили, «подвели» к нему человека.

Я хочу повторить не мной придуманные, но очень точные слова: каждый должен быть на своем месте хозяином — рабочий, бригадир, управляющий трестом, министр. Пусть с разной, но точно определенной мерой ответственности. Если рабочий во всем кивает на начальство, а сам не нагнется, чтоб прокладку или костыль из грязи поднять, — это, по моему, никакой не рабочий, а поденщик. Собери все, пусти в дело — вот ты и хозяин и с начальства тогда можешь требовать ответственности. Другое дело, как воспитать хозяйские навыки, рабочую жилку. Мой опыт подсказывает: только смолоду и только личным примером.

Я, например, начал брать сына Володюку на летние работы в бригаде, когда ему стукнуло четырнадцать. Не потому, что нам с матерью его заработки нужны были: могли себе позволить отправить ребенка на самый модный курорт. Но как бы я других поучал и наставлял, если б сын балбесом вырос! Находились и жалельщики: куда, говорят, малолетку на тяжелые работы таскаешь. От этих жалостливых большой вред государству. Тут мне один сибирский ученый сказал: миллионы по стране таких крепышей, которые могли бы в летнее время и поработать, а в семье, где нужда есть, и зарабатывать. Экономически — дополнительная рабочая сила, а нравственную пользу и оценить трудно: воспитание делом.

Не хвастаясь, скажу: от работы никогда не прятался, наоборот, бегал за ней, выбивал, выколачивал. Еще когда Абакан—Тайшет строил, потом под Тобольском, в Сургуте, в Нижневартовске, в Уренгое. И здесь, на ямбургской трассе, бегаю, выбиваю, выколачиваю. Почему? Да потому, что хозрасчет, о котором с трибун говорим и справки лишем, ходит у нас пока на костылях, как инвалид. Потребовали в объединении: у вас пять бригад должны быть на хозрасчете. А есть для этого готовность, хватит ли материалов, чтобы обеспечить бесперебойную работу, — это никого не интересует. Надо отчитаться.

Итак, на бумаге пять бригад работают на хозрасчете. А на самом деле они не работают. Ведь записаны пункты взаимных обязательств рабочих, администрации, снабженческих и транспортных служб. Мы обязуемся беречь материалы, например, а что беречь, если материалов попросту нет. Получается липа.

Только плановость и равномерность поставок могут обеспечить качество. Запланировали мне на месяц зашить пятнадцать километров пути — значит, дай вовремя шпалу, рельсы, крепления. А если пятнадцать дней бригада не знает, чем заняться, а следующие полмесяца гонит по километру в день, то какого качества пути можно требовать! А делаем, между прочим, не детскую железную дорогу...

По технологии мы должны отсыпать земляное полотно, дать время на осадку грунта, потом подсыпать, выдержать. Но мы находимся в цейтноте, соблюдать эти условия некогда — значит, спешим, гоним, нарушая все правила. Значит, будут и просадки, и перекосы, и материалов лишних уйдет не на один миллион. Ведем открытую звеносборку — в тундре, на ветру, на морозе. Неужели нельзя обеспечить нас закрытыми ангарами? С полуавтоматической сборкой. Тут и производительность повысится, и потери сократятся. Простой вопрос, не такая уж техническая сложность, а впечатление, что ученые отраслевых институтов сами по себе, а мы сами по себе. Ни я, ни ребята из бригады этих ученых в глаза не видели. Не потому ли приходят новые машины, а их надо переделывать на месте?!

Или взять жилые вагончики в северном исполнении. Из всех модификаций нас устраивают только комфортабельные, с тройным остеклением, тепло держат. В эту зиму были морозы до 56 градусов — все нормально. Но другая беда: не хватает их. Во время работы съезда я сказал об этом министру. Министр заверил, что все заявки отрасли обеспечиваются полностью. Ломаем голову, куда же те вагончики деваются. Возвращаются мои ребята из командировки — в Азербайджан ездили. «Василич, — говорят, — нашли такие вагончики на берегу Каспийского моря. Там в них от жары прячутся».

...Недавно вернулись в бригаду Саша Морозов и Павел Борщ. Несколько лет провели на Большой земле, да вот назад потянуло. Такое у нас и раньше случалось: покидали люди тюменские края, оседали где-нибудь в Центральной России или на Украине, а потом, глядишь, — снова на Севере. Так что я особенно и не удивился. Но на бригадном собрании попросил прибывших выступить.

— Хлопцы, — говорит тогда Паша Борщ, — не мы первые возвращаемся. Сами знаете, как оно бывает: каждый день по радио слышишь: «Ямбург, Ямбург». Для других это пустой звук, ну, знают, конечно, что газ и прочее, а где и не ведают. А я, как услышу, так вспоминаю Васильича, Сашу Жукова, Ваню Мирчу, Валерку Черепанова — всех вас, свою бригаду. Хлопцы, думаю, идут на Ямбург, а я отсиживаюсь во втором эшелоне. Не стерпел...

Вот как. Не за северной надбавкой приехал человек — она на всех участках одинакова, — в свой коллектив, в свою бригаду. Значит, надо беречь авторитет бригады, поддерживать и отстаивать его каждый день, каждый час. Отбрасывать прочь то, что мешает движению вперед: негодное планирование, неоперативное снабжение, устаревшую организацию. Не забивать победные «серебряные» костыли, не укладывать именные «золотые» звенья, а делать свою работу без шума и барабанного боя.

Трасса Новый Уренгой — Ямбург.

ЮРИЙ
БОНДАРЕВ



МГНОВЕНИЯ

Частица

днажды на рассвете проснулся под непрерывный шум деревьев за окном и со священным ужасом и восторгом подумал: кто же задолго до меня рождался и умирал в моем роду? Кто жил, любил, надеялся, страдал в бесконечной череде моих далеких и близких предков по женской и мужской линии — моей матери, отца, деда, прадеда, моих дядей, сестер, братьев и многих, многих тех, чья родственная толика сообщена теплу моей крови?

Едино ли это? Это все во мне?

Значит, я частица огромного целого, всего моего рода, уходящего назад, во тьму тысячелетий. Там в истоках были некие кто-то — он и она, — кому я обязан жизнью, рождением своих детей, своей удачливой и грустной земной дорогой.

Как я хотел бы угадать сейчас, кто же они были, эти «кто-то», — далекие, как звезды, он и она, без кого тьма несуществования не раскрылась бы передо мной светом рождения.

Лицо

уж измучил меня своей ревностью, я не вынесла, и мы разошлись в мае сорок первого года. И как странно и страшно, что он был убит в первый месяц войны под Брестом. А когда получила похоронку, то долго и горько плакала, не могла забыть, как он зашел проститься перед отправкой на фронт. В тот день он показался мне совсем уж чужим, бледным, непривычно напряженным, на нем была новая гимнастерка, новая портупея, а рубиновые кубики лейтенанта в петлицах почему-то испугали меня. Он старался бодро улыбаться и все повторял с жуткой и непонятной мальчишеской бравадой: «Ты не любишь меня, значит — меня убьют». Но я никогда раньше не видела, чтобы так жалко, беспомощно блестели его глаза и так жалко дрожали пальцы, в которых он мял портупею. Что было с ним? Зачем он пришел? Неужели чтобы помучить меня? И помню его ужасные угрожающие слова: «Когда меня убьют, ты замуж не вздумай выходить. Я это предательство и с того света увижу. Ангелы мне доложат». И как-то нехорошо засмеялся и попросил: «Ну, поцелуй меня напоследок, чтоб я помнил, когда в смертный час в небо смотреть буду. У тебя ведь глаза, как небо»...

Я не поцеловала, а обняла его, с жалостью прижалась щекой к его груди — и вот до сих пор чувствую запах его новой гимнастерки, его кожаной портупеи. Потом он сказал почти весело: «Прощай», — и пошел к двери, а я навсегда запомнила его мальчишеский затылок, светлые кудрявые волосы и незнакомую качающуюся походку. Нет, я уже не любила его, но жаль было бесконечно всего.

А после похоронки не могла найти себе места, все не могла себе простить, все представляла его последний час, как он лежал в поле, умирая, глядел в небо, и страдал, и ненавидел меня за то, что я не поцеловала его, когда прощались.

Потом были страшные годы оккупации в нашем городе, страх, голод, враждебные лица, чужой запах, немецкая речь, а после смерти мамы настали совсем черные ночи без огня, без тепла, когда с сумерек до рассвета ветер гудел по крышам, свистел в развалинах улиц, мертвых пустырей. А я прислушивалась к этому гулу и, кусая подушку, плакала о своем сиротстве, об одиночестве, о прошлом и вспоминала счастливое, солнечное время. И тогда мне казалось, что все, что случилось между мной и мужем, было непростительно обоим, что я, избалованная, не понимала главного: что он до отчаяния измучил меня ревностью только потому, что любил безумно, а после развода сам искал смерти, хотел умереть...

И вот пришла наконец прекрасная весна и прекрасное лето сорок пятого года. Весь наш город днем и ночью радостно выходил к вокзалу — бесконечные эшелоны шли из Берлина с гармониями, смехом, песнями, плясками: возвращались с войны победители. И наш город, как в горячке, ожидал своих счастливцев, кого сохранила судьба, кто остался в живых. А мне некого было ждать. Да я и не ждала, но тоже выходила к поездам, стояла одиноко в стороне от толпы, от этой радости и смотрела на веселые лица солдат, на помолодевших женщин и думала, что за годы оккупации постарела на десять лет, стала худа, некрасива, молчалива, как будто жизнь моя до доньшкы была прожита. И однажды поразилась и испугалась, услышав молодой голос возле себя: «Черт побери, какие глазички, вот Золушка так Золушка!» Я подняла голову, увидела перед собой офицера, почти мальчика, невысокого, белокурого, вся грудь была в орденах, а в руке он держал чайник и как-то удивленно, тихо смеялся. Я вся сжалась, решив, что это он смеется надо мной, над моим убогим видом, над моим жалким лицом, рванулась от него, а когда домой бежала по улице, то без конца заглядывала в стекла окон, пытаясь увидеть свое лицо, а в стекле только всплывали глаза, как у зверька. Дома же посмотрелась в зеркало и едва не закричала от отчаяния, рассмотрев ранние морщинки...

Но утром все-таки я не выдержала, привела себя в порядок, выгладила платье, надушилась последней каплей духов — и побежала на вокзал, к людям, к толпе, к музыке, к праздничному шуму, которым продолжал жить наш город. А город стоял на перекрестке железных дорог, и в тот день на вокзале было целое светопрествление, карнавал, веселый ад... Подошло сразу несколько эшелонов, и на путях все перемешалось, двигалось, танцевало, солдаты пели, целовались с женщинами, женщины смеялись и плакали, дети искали кого-то в толпе, обнимали за ноги незнакомых солдат, и на площади кто-то пьяненький стрелял в небо ракетами.

И вдруг случилось непонятное движение на платформе, послышались вопли женщины, рыдания, толпа качнулась, раздалась на две стороны, в ней образовался коридор, и странными тенями, как мне показалось, закачались в коридоре люди в зеленых мундирах, в каскетках. Даже издали я по цвету одежды узнала немцев. О, как долго пугал нас этот цвет на улицах города, как обходили мы эти мундиры стороной, как отвратительны они были нам! Затем я услышала крики мальчишек: «Фрицы поганые!»

Да, это были пленные, их выгружали с другого эшелона, и конвоиры группами вели их к грузовикам, которые стояли на площади против вокзала. Женщины, встретившие пленных воплем и плачем, неожиданно затихли, мальчишки смолкли, хотя справа и слева на перроне еще играли гармонии и продолжался пляс. И я видела, как немцев сажали в крытые брезентом грузовики, как пятнами там появлялись их изможденные лица. И тут со мной произошло что-то противоестественное, разумом необъяснимое, как будто меня обожгло, опалило жарким огнем, будто что-то скомандовало мне: «Вот оно! Посмотри туда, посмотри! Беги туда, это — последнее! Вот оно!..»

И не понимая, что со мной, я бросилась туда на площадь, где сгрудилась толпа вокруг пленных; увидела отъезжающий последний грузовик и там, в его кузове, среди белых пятен лиц увидела молодое лицо пленного, с расстегнутым воротником мундира, без каскетки, с соломенными волосами, упавшими на висок, увидела глаза, через головы толпы вонзенные мне в глаза, неподвижные, восторженные, родные и чужие глаза, такие могут только присниться, незнакомые и до обморока знакомые, ради которых можно было умереть, не задумываясь. Я, захлебываясь слезами, рыдая, пробивалась сквозь толпу к машине, а машина уже набирала скорость, и лицо, единственное лицо в машине между пятен других лиц, удалялось, но не сводило с меня расширенных глаз то ли в ужасе узнавания, то ли в нечеловеческой муке, эти глаза видели лишь одну меня из сотен людей на площади, а я видела только это лицо, только этот взгляд, направленный на меня, и, прорвавшись через толпу, бежала за машиной, как в сумасшествии, будто по неземной райской дорожке, проложенной лучом его взгляда, обещавшим блаженство, счастье, нескончаемую радость.

Я не опомнилась и тогда, когда остановилась посреди дороги, вытирая слезы, не видя людей, которые обходили меня, как прелаты, я не слышала их голоса, не различала их, все ушло в глухую ватную пелену, в бездну, в непоправимое несчастье. И словно из толщи ваты дошел до меня чей-то голос, сказавший на всю жизнь оставшуюся в памяти фразу: «Да это, кажись, не немцы, а власовцы. Вот предательское отродье!» И потом сказал, должно быть, про меня: «А эта дуреха очумела, что ли? Никак больна?»

Не берусь вам логично объяснить, что было со мной. Да и зачем, впрочем, объяснять это. Я так и не узнала, немцы это были или власовцы. И хорошо помню одно: это лицо в машине, нашедшее меня среди сотен людей, не могло быть враждебным, убившим моего мужа, и хорошо помню, что я целый день ничего не видела, кроме этого лица. Нет, нет, это не был ни мой муж... ни немец, ни власовец. Скорее всего — нет. Нет, то было другое, другое — может быть, самое главное, ради чего мы на свет родимся... ради чего можно пойти на страдания, на смерть, на все, что угодно.

И вот я, одна-одинешенька, дожила безбедно до вечерней поры своей жизни, давно называюсь уважаемый профессор, преподаю своим студентам умную науку, но, знаете, как это ни горько, мне все чаще, все радостнее снится тот незабвенный день, площадь, толпа и это лицо, это замершее восторженное выражение глаз, и я вижу во сне себя, в безумии надежды бегущую за машиной...

Богатство



Древней Греции ходили в скромных плащах, ели козий сыр и ячменные лепешки (завтрак Сократа), жили в простых домах и вместо удобств, благ и комфорта «технологической цивилизации» там не один век господствовала культура, а именно: духовная и душевная наполненность, что сейчас мы определяем как состояние счастья, любви, радости бытия.

Культура — это богатство, бесценное сокровище, по крупницам тысячелетиями накопленное народом и народами, поэтому ей, культуре, следует доверять. Уроки ее способны предупредить легкомысленную разрушительность и заморские болезни, прикрытые модным костюмом, синтетическими новшествами. Без строгих нравственных таможен, под победные ритмы «масскультуры» могут и у нас пышно расцвести времена чужие, уродливо развитые темным и льстивым подражателем, — времена философов без своих мыслей, архитекторов без своей архитектуры, ученых без своих открытий, писателей без своих идей.

Всякая система нередко лежит рядом с антисистемой, поэтому альтернатив нет только в Дантовом аду. И когда думаешь о судьбе культуры в урбанической действительности прагматизма, денег, неведения и лжи, то с болью и тоской возникают те же самые «детские вопросы», но совсем уже не по Достоевскому: кто ты, современный человек? Разрушительная тень на перекрестке дорог истории? Или венец творения? Уйдешь подобно бесследной тени — и не оставишь после себя ничего, кроме миллионов невинных жертв, ненасытной алчности, заболоченных полей, безобразных бетонных городов, высохших рек, гор мусора на изуродованной машинами земле? Почему же ты, гомотафабер, забыл о назначении своем — творить добро, красоту и пользу?

Так разве «технологическая цивилизация» не творит прогресс, не создает, не усовершенствует? Не может быть, чтобы все то, что создает и развивает она, есть не творчество, а видимость прогресса, то есть тупик. И вместе с тем это так, ибо на Западе все подчинено не человеку, а всемогущему правилу мира — золотому тельцу, у нас же — безликому и беспощадному властелину нашей действительности: мифическому, придуманному чиновниками плану, за которым уже не видно человека.

Что же есть истинное богатство? Человек или то, что придумано вокруг человека?

Гениальное полотно



то что — последний крик интеллектуальной моды? Разбрасывать по холсту красочные пятна? Кто же, наконец, законодатель и бог света в искусстве? Импрессионизм?

— Мда, его красный цвет поразительно звучен. Он действительно импрессионист.

— Па-азвольте возразить, что никакой «изм» отношения к подлинному не имеет. Основа живописи — приближение одного цвета к другому, и это касание вызывает их раздражение, их равнодушие друг к другу на холсте. Именно это утверждает: цвет всегда живой. Серое пятно на зеленом даже обретает розовый оттенок...

— Да, да, да, мгновения жизни задерживает и останавливает только живопись.

— Я не об этом, простите ради бога. Однажды в Вене я слушал «Немецкий реквием» Брамса в концертном зале Моцарта. Я слушал, не сдерживая слез, поднебесные женские голоса соприкасались с вечностью, с любовью, с судом и прощением... И в цвете представлял человеческую жизнь и человеческую смерть. Это было гениальное полотно, которое не написать никому.

— И вы помните эти цвета?

— Нет. Если бы я их запомнил, то сошел бы с ума.

Форма



Можно, пожалуй, согласиться и легко поверить в разумность наивысших закономерностей, в то, что все имеет свое начало и свой конец, рождаясь и через назначенный срок исчезая, растворяясь в вечности.

Можно согласиться и с тем, что нет ничего сформированного во Вселенной, ибо, надо полагать, одна форма переходит в другую; стало быть, бесконечности нет и бесконечность есть как слияние форм.

Для нашего сознания нет ничего совершеннее и лучше красоты замкнутого пространства. Любое содержание, любая мысль пытается вылиться в форму, то есть замкнуться в ограниченном пространстве, а не в космической беспредельности, недоступной нашему восприятию.

К примеру, дорога, река, пустыня, созвездия в осеннем небе являют собой форму, которая придает всему существу обманчивую завершенность и красоту. Форма бывает и безобразной, однако она — сосуд, без него все человеческие мысли, чувства, предметы и вещи растеклись бы в неосознаемое «ничто».

По сравнению с вечностью жизни это — замкнутое пространство в форме движения, красоты, страстей, незавершенных явлений, а люди — покорные слуги их. Только пока еще никому не дано до конца понять, во имя чего все это. Во имя чего жизнь и во имя чего смерть. Что это — видоизменение формы материи? Духа? Наказание? Счастье? Мосты для перехода? Или же просто обыденность этого мира, быть может, созданного так, чтобы не задавать ему «детских» вопросов. Но фальшивый оптимизм, имеющий ответы на все случаи бытия, — это форма ширмы, за которой скрывается сонная и сытая физиология равнодушия. Тот же, кто пытается почувствовать чужое страдание, как свое, кто готов услышать крик боли и крик о помощи, тот и в грозный час не перестанет искать ответы, выбирая форму зеленой равнины, где ближе путь к милосердию.

Павел



первые мы увидели ее в холле санатория возле стола пинг-понга.

Она была в сером свитере, в узкой прямой юбке, ее светлые волосы были коротко подстрижены, она откидывала их со лба после каждого разительного удара ракеткой, при этом темно-серые глаза ее кротко улыбались. В ту послевоенную пору был я студентом, не обходил вниманием ни одну молодую женщину и сразу заметил и эту ее неуловимую улыбку, и ее сильную, чересчур тонкую фигуру, напоминавшую древнюю египетскую статуэтку. И главное, я заметил ее партнера — очень высокого, поразительно хорошо скроенного красавца со статью уверенного в себе человека, почему-то вызвавшего у меня кодовое видение туманного, далекого и студенческого Петербурга. Я учился на историческом факультете, не был лишен воображения и, глядя на красавца гиганта, невольно представил сани с медвежьей полостью, мелькающие фонари в морозных кольцах, сыплющуюся изморозь в пролете Невского, над которым накаленно и голо висела январская луна, взвизги полозьев, почти онегинский бобровый воротник на николаевской шинели, покрытой алмазным сверканьем («морозной пылью серебрится...»), и из-за этого воротника скользкий снисходительный взгляд кавалергарда.

— Видал, артиллерист, какая пара в нашем доме появилась! Экземпляры!.. — восхищенно проговорил Павел, мой сосед по палате, бывший полковой разведчик, теперь учитель военного дела в сибирской школе под Иркутском. — Чуешь, какая картинка? Лебеди — да и только! Эх, ежели б не рука, поиграл бы я с нею в пинг-понг!..

В пронзительно синих глазах Павла весело промелькнули отчаянные огоньки; он поправил свой пустой рукав, приколотый английской булавкой к новому офицерскому кителю без погон, и, словно бы потягиваясь, вдохом выпрямил крутую грудь, заслоненную золотым панцирем орденов. Я же видел, что все проходившие через холл в столовую задерживали внимание на этой новой паре, наблюдая с любопытством. А она легко выиграла, спокойно положила ракетку на стол, «кавалергард» с ласковым добродушием усмехнулся ей, набросил пиджак на плечи, и они, независимые, пошли к выходу, не замечая вокруг никого.

— Хороша пара, черт ее разбери. Сказка — тысяча и одна ночь. Наверняка молодожены, — сказал Павел и затуманенными глазами проводил их до конца холла.

— Урожденная княгиня Голицына. Урожденный граф Шереметев, — пошутил я довольно глупо. — Откуда они? Кто они? Анахронизм.

— Вот именно, — согласился Павел задумчиво.

И помню, мы плохо спали эту ночь, я слышал, как ворочался и дышал Павел, а мне все время представлялась ее безразличная улыбка, гимнастическая спина, ее движения возле стола пинг-понга, не резкие, а плавные взмахи ракеткой, и представлялась нежная усмешка молодого проигравшего «кавалергарда», его дорогой пиджак на голубой шелковой подкладке, небрежно скользкий по плечам. А мой товарищ по палате длинно вздыхал на своей постели, взбивал кулаком подушку, шуршал одеялом, наконец, спросил негромко:

— Не спишь, что ли? Ясно. Понятно. Небось эта лебедиха в свитере перед глазами?

— Что-то сон не идет, — ответил я, притворно позевывая.

— Угу, — промычал он ядовито и в полумраке сел на постели, пошарил папиросы на тумбочке, заговорил с неожиданной злостью: — Чуешь, паря, что скажу тебе? Не ведаю, почему такое, а со мной иногда дьявольщина случается. Я как красивую бабу увижу, так места себе не нахожу. И покоя глупая мысль не дает: почему она не моя, почему другого целует? Некоторые от анекдота прямо-таки умирают: сотня, мол, жен у султана, и все они, мол, зверски угнетают бедняжку. Согласен принять мучу на его месте! Ишак он и слабак турецкий! — Павел возбужденно хохотнул, чиркнул зажигалкой, прикуривая. — До войны я до ужаса баб боялся, краснел, бледнел, потел, слова не мог сказать, если какая из-под ресничек посмотрит. А в войну началось — черт в душу влез: ни одной в госпитале медсестрички не пропустил, а после войны — вроде совсем с ума сошел, жеребец дундуковый! Ясно или нет? Женился, а меня все на сторону тянет и тянет, ровно магнитом! Жена, конечно, через полгода к своим родителям убежала, и тут я вконец разгулялся, как кот мартовский. Городок маленький, мужиков и парней нет, а девок-красавиц в каждом доме... Чуешь ты трагизм этого дела? Или нет?

— К чему ты это говоришь, Павел?

— А то, что герцогиня в свитере врезалась, как пуля в душу. Хотя знаю — впустила номер. Осечка получится, — сказал он и упал спиной на постель, затягиваясь папиросой. — Таких у меня не было. А знаешь, кто она?

— Кто?

— Не княгиня, не герцогиня, а геологиня. Я у сестричек в регистрации разведку произвел. Геолог она. Можно сказать, землячка. Из Красноярска. Вероника Викторовна. Не замужем. А этот красавец хмырь — не муж. Но вроде жениха. Так я понял данные.

— А откуда он?

— Тайна, покрытая шибкой мглой. Пока не разведдал. Видать, какой-то непростачковый инженер. В общем, крупняк. Судя по внешним данным.

Он замолчал, и в сумраке палаты, налитой снежно-голубоватым отсветом зимней ночи, долго рдел и потухал огонек папиросы.

А на следующий день, когда мы опять встретили ее и его в холле перед обедом, я вдруг увидел, как, подходя к теннисному столу, Павел вроде бы мгновенно преобразился, стал тоньше, стройнее в талии, во всем его облике появилось нечто оленье — и гордое, и плавное, — лицо с щегольскими шелковистыми усиками приняло ироническое выражение, смуглый румянец пятнами загорелся на скулах. Он внезапно подхватил на полочке ракетку и смело подошел к ней (она тоже брала ракетку), рыцарским кивком приглашая на партию.

— Разрешите... с вами? — опережая, проговорил Павел и превесело поиграл ракеткой, глядя ей в темно-серые, едва успевшие удивиться глаза. — Я готов позор принять. От вас. Готов и не покориться, если повезет. Предупреждаю: играть я не умею. А партию с вами хочу...

Она подняла брови.

— Занятно. Но откуда у вас такая решительность, если вы играть не умеете?

— Давайте, что ли. Одну партию. Поучусь малость.

— Давайте. Учитесь. — Она равнодушно пожалала плечами.

Они начали. Я наблюдал за ними с млеющим в груди холодком, почти не узнавая Павла, а он играл с молчаливой дикой отрешенностью, азартно ударял ракеткой, стараясь гасить, сначала портами,

промахивался, яростно стискивал рот, зло бледнел, пропуская шарики, резко посылаемые ею, безмолвно подхватывая их с пола. Но минут через десять что-то чудодейственно переломилось в игре, он начал работать ракеткой с рассчитанной силой, гибкой ловкостью и быстротой, изумившей меня, и я подумал, что с этим парнем в разведке было, пожалуй, надежно. Однако в следующую минуту после удачи Павел решительно бросил на стол ракетку, и, подкидывая и ловя ладонью шарик, упругой походкой подошел к партнерше и, наклоном головы изображая рыцарскую учтивость, должно быть, заимствованную из какого-то кинофильма, проговорил ерническим тоном самонадеянного баловня судьбы:

— Благодарю очень. Научили. Обыгрывать вас не хочу. Очень вы интересная и непонятная женщина. У вас глаза прекрасные, а тепла в них нет. Я таких еще не видел. Благодарю.

— О, как это великодушно! — Она засмеялась, опять пожалла плечами. — Научила вас играть, стали меня обыгрывать — и отказались от победы? Изумительно, конечно.

Павел вежливо-холодно показал улыбкой белые до синевы зубы молодого сильного животного, которое выделялось телесной прочностью, атлетически широкой грудью и особенно загадочным несоответствием бывшего мужества и страдания, о чем напоминал пустой рукав, приколотый к новому кителю.

— Я уважаю женщин очень, — сказал он ровным бесстрастным голосом. — Особенно красивых землячек.

Он без стеснения, без тени неуверенности взял ее руку и, все играя какую-то роль, с театральным наклоном головы поцеловал ей кончики пальцев.

Она молчала, и губы ее чуть морщились, будто готовые удивленно свистнуть. В то же время «кавалергард», прищуриваясь на Павла со снисходительной жалостью, сказал бархатистым баритоном:

— Простите, дорогой, вы, вероятно, ошиблись. Здесь ваших земляков нет.

— Во-первых, — проговорил Павел, тонко бледнея, — я ни дорогой, ни дешевый. Свою цену я сам знаю. Во-вторых, я вроде бы пока никого не обидел.

— Совершенно верно, — ответил спокойно «кавалергард». — Пока не обидели. — Он подчеркнул слово «пока». — Мы вас не задерживаем, дорогой...

— Лично вас я тоже не задерживаю, дешевый...

— Благодарю за комплимент.

— И я тоже: благодарствуйте. Я не на паркетах, а в окопах вошью воспитывался. Поэтому извините уж.

— Извиняю.

— Салют и вальс «На сопках Маньчжурии». Покеда!

Павел посмотрел в глаза «кавалергарда» с невозмутимой силой и вышел из холла, весь крепкий, гибкий в каждом движении, и я снова представил его надежность в разведке, где он был хозяином положения, что, по-видимому, хотел сохранить и сейчас.

В тот же вечер (а был вечер субботнего отдыха и танцы) я поразился Павлу во второй раз, увидев, с какой неотразимой решимостью он пригласил ее танцевать, как стройно, упруго двигался вместе с ней под звуки радиолы, уверенно охватив одной рукой ее гимнастическую спину. Он говорил что-то, не отводя синеватых глаз от ее вопросительно поднятого к нему лица, а красавец «кавалергард» в ожидании стоял у колонны, скрестив руки на груди, и следил за ними с терпеливым интересом. Я не мог

расслышать, что Павел говорил ей, мнилось, ласково-ироничным сниженным голосом, а она все удивленнее изгибала брови, слушая его, затем со смехом откинула голову, нажала ладонью ему на плечо, освобождаясь от его дозволенного в этом танце объяснения, и он, разочарованно поморщась, повел ее мимо танцующих к колонне, где терпеливо ждал «кавалергард».

— На сегодняшний вечер — осечка, — вполголоса сказал Павел, подходя ко мне и обдавая теплым запахом хорошего одеколона, которым чистоплотно пользовался после тщательного бритья. — Завтра воскресенье, процедур никаких нет — пригласил ее в ресторан, а она взбрыкнула. Назвала меня «очаровательным нахалом из провинции», на что я ей ответил, что жив не буду, а все равно в ресторане хочу с ней посидеть, с землячкой. Ну, сам видишь, чем кончилось. «Перестаньте произносить глупости, иначе я поглупею вместе с вами. Тем более что танцуете вы, как иноходец перед молодой кобылкой. Я ведь не кобылка в конце концов!» Мда! — И Павел вздохнул всей грудью, сузил глаза. — Знаешь, что интересно, скажу тебе. Когда танцевал сейчас с ней, то вроде бы обнял, как полагается в этом деле, и тут попал в электрическое поле. Горячо стало. Даже в горле пересохло. Это понимаешь или нет?

— Зачем тебе нужно приглашать ее в ресторан? — сказал я с упреком. — Думаешь ее этим удивить? Нет, ты все таки нарушаешь мужские правила. Забываешь, что она не одна.

— Если придет, значит, все будет как в разведке, — проговорил в раздумье Павел. — Место встречи я ей назначил.

— А она?

— Если придет завтра в парке к мостику, значит, я ей не без интереса. А что до этого «кавалергарда», как ты его называешь, то пусть хоть на дуэль вызывается. Я готов даже на кулачную драку.

— Что-то не так, Павел.

— Все так. Что ж я делать должен, если она меня в узел завязала! Понял? В узел!

— Она тебя завязала в узел? По-моему, Павел, ты сам себя завязал.

— Ну, ладно антирелигиозные лекции читать, — оборвал Павел. — Помоги лучше мне насчет интеллигентных разговоров с ней. А то я вроде пугаю ее, как по-фрэнтовому эглоблей ворохаю. — Он угрюмо нахмурился. — Между прочим, ее испугаешь! И когда молчит, надсмехается, как черт!

— Так как тебе помочь?

— Завтра хочу, чтоб ты со мной пошел. Веселей будет.

— И ты думаешь, она будет тебя ждать у мостика?

— Поглядим, говорю. Я тоже не последний парень на деревне.

Когда вместе с Павлом мы шли по аллее парка, был ясный морозный день, какой бывает только в Кисловодске, серебристо сверканье в воздухе, солнечная белизна на деревьях, заснеженные крыши санаториев, холодновато-зимнее бульканье незамерзшего ручья близ тропы, толпы гуляющих около стеклянной галереи в ожидании часа питья нарзана, пустой мостик в центре парка, — все это сразу вызвало у меня праздничное настроение погожего январского дня, и главное — смутной радости оттого, что Вероника Викторовна не пришла к мостику. Но тут я почувствовал укол тревоги, очень четко увидев на аллее среди белого блеска сугробов ее и рядом «кавалергарда», они двигались навстречу нам с другой стороны, приближаясь к мостику через ручей

Павел оживленно глянул на меня, лицо его приняло замкнутое, жесткое выражение, и, шагнув на встречу Веронике Викторовне, он сказал твердым голосом убежденного в своей правоте человека: — Я просил вас лично поговорить со мной, а вы пришли с охраной.

Она сердито повела плечами.

— Слушайте вы, чужак, я пришла из чистого любопытства, а не потому, что вы неотразимый покоритель женских сердец, — насмешливо заговорила она, и ее опущенные инеем ресницы дрогнули. — Не кажется ли вам, что наше случайное знакомство принимает фантастическое направление? Не слишком ли?

— Не слишком, — глухо ответил Павел, точно не сомневаясь ни в чем. — Спасибо. Благодарю.

— За что?

— За то, что пришли.

Она тихонько свистнула, прижала меховую муфту к губам, разглядывая Павла с медлительным вниманием.

«Кавалергард» молчал, плотно одетый в сибирскую доху, его красивое, холеное лицо, безгубая складка рта как бы подтверждали, что он только ради уважения к женщине вынужден сдерживать себя в рамках воспитанности и приличия, вытерпевшая этот оскорбляющий слух разговор.

— Ну что ж, я согласна, — после краткого колебания сказала Вероника Викторовна и сухо кивнула «кавалергарду». — Подожди меня, Всеволод, в санатории. Все это любопытно.

— Хорошо, я буду ждать, — послушно проговорил «кавалергард», глядя на Павла со спокойной ненавистью.

Из этой фразы я понял, что она сильнее его, а он, величественный, сдержанный, покорен ей, подчинен, предан, и неприятное чувство, будто вместе с Павлом я становлюсь участником несправедливого заговора, покорило меня.

Помню, в ресторане, совершенно безлюдном в этот дневной час, необычно просторном, с высоким потолком, стыл ледниковый холод, ощутимо дуящий по белым скатертям, по снежным пирамидам белых салфеток, по стеклу сиротливых бокалов на столиках, и здесь, когда разделся в пустом же гардеробе, вошел в зал, Павел весело огляделся и, барственным жестом навсегда призывая официанта, восклицательным знаком возникшего из-за портьера, сказал мне с лихим удовольствием:

— Эх, и гульнем мы сейчас, как после везучего поиска!

Официант с округленными белесыми щеками поспешно проводил нас к столику в центре зала, который подобен был арене цирка, на возвышении, вероятно, особо почетно предложенном Павлу при виде его эрдемов. Я же заметил под шелковистыми усиками Павла эдобрительную ухмылку; он хозяйственно отодвинул стул, приглашая Веронику Викторовну сесть, сказал:

— Я прошу вас быть вроде бы у меня в гостях. А застольем разрешите командовать мне.

Вероника Викторовна поправила свитер вокруг шеи, выпрямила спину.

— Постараюсь сыграть гостью, но о чем мы с вами будем говорить? Павел, Павел... простите, я не знаю вашего отчества...

— Павел Алексеевич. На фронте друзья звали меня Павлуша. Мне это нравилось. Что вы будете есть? Что будете пить? Коньяк или шампанское? Приказывайте, теперь все в нашей власти. Возьмите меню.

Она взяла меню и, не взглянув, отложила его.

— Представьте, я не пью ни коньяк, ни водку. Шампанское терпеть не могу. Что есть? Съем один мандарин. Я сыта. Так о чем мы будем с вами говорить, Павел... Павел Алексеевич?

— Погодите! — с тихой властью остановил Павел, обволакивая ее синевой глаз, и, выдохнув, сейчас же откинулся на стуле, подзвал официанта, почтительно подошедшего с вопрошающим взглядом. — Так что же, друг, выходит, мы в ресторане одни и чаевых, и заработка нет? — заговорил он дружелюбно, как если бы давно знаком был с официантом. — Ясно и понятно. Что ж, постараемся выручить тебя, друг сердешный. Шашлычок найдется в этом заведении? (Официант чуть опустил брови.) Прекрасно. Суп харчо? (Опять движение бровей.) Замечательно. Ну, к этому все остальное. Травки-муравки всякие. По-русски и по-кавказски. Как в лучших домах Берлина. А главное вот что! — Павел немного подумал, окидывая взглядом огромный зал, залитый в окна леденистым солнцем, пустые столики с холодной равнинной скатертей, с белыми пирамидками салфеток, и артистично щелкнул пальцами. — А главное вот что, дружок. Две бутылки коньяку. самого марочного, лучшего. Ясно? И пять бутылок шампанского, если не жалко. Ясно, дружок-пастушок? Быстрота учитывается в ведомости и без нее. О'кей!

— Не чересчур ли? — заметила Вероника Викторовна, ее влажные от растаявшего инея ресницы смешливо подрагивали. — Неужели для гостии вы устраиваете такой роскошный гир? Смотрите, Павел Алексеевич, не хватит чем расплатиться, наберетесь позора перед миром.

— Нам не страшен серый волк, — беспечно сказал Павел и, должно быть, вступая в крупную игру, пренебрежительно обратился к белесому официанту, невозмутимо чиркающему карандашиком в блокноте: — Поправку, дружок, на ходу сделай. Три бутылки коньяку. И десять бутылок шампанского. И все тащи сразу, чтоб стоял боезапас на страх врагам и русский глаз радовал. Считаю, что в твоём ресторане мы свадьбу играем. А друзья, может, еще подойдут. Давай работай, кореш, да на полусогнутых, чтоб скорость была, как в полковой разведке перед наступлением! Ясно? Повтора не надо?

Павел отдал это приказание не без выработанной военной четкости, тоном голоса исключая лишнюю сейчас шутку, ненужные объяснения, и я отметил, что Павел умеет отлично владеть собой. И подумав об этом, увидел уже знакомое выражение вопрошающей насмешки в глазах Вероники Викторовны. Она спросила:

— Скажите, Павел, кто вы такой? Купец-миллионер? Мот? Сочинитель научно-фантастических романов?

— Вопрос ваш не понял. Даю настройку: раз, два, три. Прием, — мгновенно перешел на иронию Павел и, наклоняясь к ней, заговорил с ласковой непринужденностью: — Кто я такой? Отвечаю по пунктам анкеты. В оппозиции не был. В гражданской войне не участвовал. Участвовал в Отечественной. Бывший полковой разведчик, взявший тринадцать языков. Звание — гвардии лейтенант. Трижды ранен. Войну кончил на Одере. Двадцать шесть лет. Место жительства — Красноярский край. Холост. Ищу подругу жизни. Такую же красивую, как вы. С такими же глазами «дикой серны», как в песне поется, с такой же фигурой, в таком же сером свитере, как у вас.

— Да, да, — проговорила Вероника Викторовна, изображая гримасой шутливую грусть. — Застенчи-

вость вам не угрожает. Впрочем, тринадцать языков... Тринадцать — цифра смерти.

— Ерунда! — жарко возразил Павел. — Тринадцать — моя любимая цифра. Тринадцатого числа я родился. И служил в тринадцатой дивизии. Кому как, а мне эта цифра наподобие счастья. А что? — заговорил Павел с преувеличенным вызовом. — Я парень в общем-то везучий, серьезный, смелый, идите за меня замуж, Вероника, не пожалеете! Уж я-то вас никому в обиду не дам! Как у господина Христа за пазухой... Будем жить хорошо, детей нарожаем штук шесть, нянчить вместе будем. До самой смерти не изменю...

— О, силы небесные! — воскликнула Вероника Викторовна и даже сложила молитвенно ладони под подбородком. — Вы предлагаете мне руку и сердце?

— А почему не верите? — нестеснительно-дерзко выговорил Павел.

— И я вам нарожаю детей шесть штук и буду стирать пеленки и печь пироги? — продолжала Вероника Викторовна оживленно и потянула бледно накрашенными ногтями папиросу из коробки Павла. — И так мы будем жить с вами счастливо, радостно, патриархально? Изо дня в день? До самой смерти?

— Я беречь и жалеть вас буду, — сказал Павел и предупредительно чиркнул зажигалкой. — Я парень хороший. Вам спокойно со мной будет. Только вот, — он помедлил, с неодобрением договорил: — Только вот: курить вам не разрешил бы. Не женское ведь дело. Не люблю, когда женщины курят.

— Это, пожалуй, надобно учесть. — Она опустила глаза, прикуривая от зажигалки Павла, ее, казалось, невинно нежные земляничные губы выпустили дым и изогнулись в несдержанной улыбке. — Значит так: пеленки, агусеньки, шесть штук малюток, которых надо вместе с вами нянчить в полной любви и радости. Какая чудесная идиллия, Павел Алексеевич, дорогой мой нежданный жених!

— Почему смеетесь? — насторожился Павел и тотчас замолчал, строго следя за белесым официантом, который с перегруженным подносом, осторожно отдуваясь, возник перед столом, не совсем уверенно расставляя закуски, бутылки коньяка, бутылки шампанского. — Ну, что застеснялся, друг? Жестикулируй, как положено! — поторопил он командным голосом. — Сколько тебе заказывали шампанского? Десять бутылок? Принеси тринадцать! Учел? Чертову дюжину, на счастье. Одну нам на стол, остальные вон туда — на соседний, все расставь, чтобы красиво было! Почему смеетесь? — повторил он, поворачиваясь к Веронике Викторовне, упорно заглядывая ей в глаза. — Какая еще такая идиллия?

Она закинула ногу на ногу, чуть отклонилась на стуле, ее грудь так полномерно обозначилась под свитером, что скулы Павла покрылись смуглым румянцем.

— Слушайте, Павел, сколько вы получаете, если не секрет?

— До семисот рублей, — сказал он и с беззаботным ухарством заговорил: — А что? Не хватит? Заработать всегда можно! В Сибири да не проκοпаться? Одной охотой и рыбой проживем. Со мной ничего бояться не надо! Я ведь парень-ежик!..

Она вздохнула с печальным сожалением.

— Какая вы все-таки наивность, парень-ежик, в голенище ножик. Так, кажется, в частушке? Я ничуть не сомневаюсь, что вы прекрасный охотник и рыбак. Но я работаю в геологическом управлении и получаю в два раза больше, чем вы. Кто же в

семье будет править? Вы? Нет, не вы. Поймите, Павел, женщина всегда должна чувствовать превосходство мужчины во всем. Представьте, как будет задето ваше самолюбие с непослушной женой, которая и детей народить вам не захочет.

— А вы командуйте, рад буду, ежели умно сумеете, — ответил огорченно Павел, налил нетвердой рукой в бокал шампанского, пододвинул бокал к Веронике Викторовне, затем разлил коньяк в рюмки и в раздумье подмигнул мне, как бы призывая к дружескому участию: — Что ж, за здоровье моей невесты, которая не хочет женой быть хорошему мужу. А напрасно вы! — сказал он неожиданно страстно, и темный румянец ярче загорелся на его скулах. — Хор-рошая была бы мы пара! Напрасно вы, ей-богу!..

С надеждой хоть чуточку согреться я выпил рюмку, но коньяк не согрел меня, ледяной холод дул по гигантскому залу, где, кроме нас, не было никого и в огромные, от пола до потолка окна, сплошь заросшие инеем, пусто светило январское солнце, отчего было еще холоднее. Меня морозила внутренняя дрожь и от этого пустынного ресторанный ледника, и от этого нелепого и мучительного разговора, который уже недозволенно переходил какую-то хрупкую грань, какую-то условность, установленную форму, принятую между незнакомыми людьми.

И эта отчаянная павлинья искренность Павла, не признающего заграждений этикета, его наивная страстность, по всей видимости, забавляющая Веронике Викторовне, были неприятны мне как опасное препятствие, что не в силах был преодолеть влюбчивый Павел, готовый не шутя подчиниться вот этому вздернутому носику, этим безмятежно смеющимся глазам загадочной геологини.

— Хор-рошая была бы пара! А может, я всю жизнь вас искал? Может быть такое? — повторил Павел с азартом и, наклоня голову, бережно взял ее руку, узкую кисть, подержал на своей лопатообразной ладони, подобно драгоценной вещи, вполголоса спросил: — Разрешите поцеловать?

Она легонько потянула кисть из его ладони, взглянула сбоку.

— Зачем? Что случилось? К чему эта сентиментальность?

— А может, я полюбил вас с первого разу, как увидел только. Бывает такое? — снова хрипло сказал Павел. — Бывает или нет?

— В жизни бывает все, — ответила она безразлично и, вздрагивая плечами, оглядела зал. — Даже то, что мы зачем-то сидим на этом северном полюсе и вы говорите мне совсем ненужное, лишнее. Это тоже подходит в разряд «бывает». Дорогой мой жених, о чем мы с вами будем говорить, если станем мужем и женой? Мы со скуки умрем оба!

— Со скуки? Это как же? — горячо встрепенулся Павел. — Да ежели бы вы... Да я на руках бы вас носил, как ребенок! Зацеловывал бы вас, заласкал бы! Разве вы заскучали бы? И говорун я большой, сказки и байки всякие знаю!

— Вы не сможете носить меня на руках. И я не люблю, когда меня целуют, — с еле заметной неприязнью быстро проговорила она, опуская глаза, и отвернулась. — Послушайте, Павел, — поспешно сказала она, уже поправляясь и смягчая вырвавшуюся случайной фразой, — поймите же наконец... Я не гожусь вам в жены. Если я не убегу от вас после первой брачной ночи, то вы прогоните меня на второй день. Я не для вас, поймите! Ну, пора, кажется. Мне надо идти.

Она встала, улыбаясь своей неувимой улыбкой. — Понятно! — с неудержимой веселостью отчетливо выговорил Павел, и смуглость сошла с его лица. — Понял отлично! Не могу носить вас на руках, Вероника Викторовна, потому что конечность у меня одна. Единственная. Но она стоит четырех рук!

— Павел Алексеевич...

— И она умеет делать все. Все!..

И он, искривив губы, изо всей силы ударил кулаком по столу, отчего со звоном подпрыгнули тарелки, стукнулись друг о друга бутылки, и стремительно встал, одергивая китель.

— Я готов вас проводить, Вероника Викторовна, — осыпавшим голосом сказал он и, рывком вынув портмоне, бросил его на стол, жестко приказав мне: — Расплатись за свадьбу. С чаевыми. Встретимся в палате.

Она, по-прежнему спокойно улыбаясь, вся тонкая, изящная, как точеная статуэтка, торопливо пошла к выходу. Он — следом за ней.

...Когда сейчас, много лет спустя, я вспоминаю о том январском дне в промерзлом ресторане, вызвавшем дрожь озноба, и о том безумном обреченном объяснении Павла в любви, я не могу толком объяснить сам себе: что же это было? Самоутверждение? Неодолимая страсть? Физическое влечение? Или, быть может, ревность к красавцу «кавалергарду», самолюбивое соперничество, где Павел хотел быть хозяином положения?

А тогда, пробродив часа два в одиночестве по горным тропам терренкура, я вернулся в санаторий. Весь корпус светился окнами в голубых сумерках, был освещен и вестибюль, и лестница, но было везде еще по-воскресному пусто. Думая о Павле, поднялся на четвертый этаж и по вытертому коврику длинного коридора зашел в конец его, где за поворотом была наша палата. Я повернул за угол коридора — и тут же, ошеломленный, остановился, увидев впереди Павла. Он непрочно стоял на ногах, боком у стены, стиснув оскаленные зубы, закрыв глаза, как мне показалось, пьяный, и с глухими всхлипами, как сумасшедший, ударялся виском о стену, точно хотел разбить себе голову. Я бросился к нему, обнял за плечи, но Павел оттолкнул меня злобно, отворачивая лицо, залитое слезами, трезвое, страшное, выхрипнул горлом:

— Дурак я подколодный, трус свистулечный, дурак черный! Сволочь инвалидная!.. А ты за мной, артиллерист, не ходи, сам справлюсь!.. — крикнул он в бешенстве, бросил мне ключ от палаты и, с неистовством вытирая кулаком щеки, твердо и решительно зашагал назад по коридору, в сторону лестницы.

Куда он направлялся? Был ли в этом смысл?

А пришел он только в двенадцатом часу ночи. Я не спал. В палате горел свет. Молча раздеваясь, он глянул на меня погасшими глазами, затем лег на спину, после долгого молчания сказал:

— Надоели мне эти санаторные игры. Завтра уезжаю к чертовой матери. Все. Авось не увидимся. Ты в столицах, я в провинции. Как на разных фронтах. А лебединой паре — от меня горячий привет и исключительные извинения. Устроил я им сейчас тарарам, дал шороху, пусть помнят бывших полковых разведчиков.

— Что ты там наделал, Павел?

— А ничего страшного, — сказал он наигранно-лениво. — Что ж, поступал вежливо, как положено, не ногой, а пальчиком, зашел к ней в палату, а они сидят, разговаривают. Я говорю «извиняюсь», поднял ее с дивана, взял на одну руку, прижал соответст-

венно, чтобы не брыкалась, и понес по коридору, а этот красавец сзади шастает, вперед забегают, ума не приложит, что делать, и хулиганом, и дураком меня обзывает. Смех и грех!

— А потом что?

— Потом? Дones ее по лестнице до дежурной сестры в вестибюле, посадил к ней на стол, говорю: «Вот моя землячка желала, чтоб я ее на руках носил. Приказание исполнил». А она сидит на столе и не то плачет от злости, не то смеется от бесилия: «Дикарь, нелепый дикарь!» И тут этот «кавалергард» петухом лезет ко мне с ругательными выражениями: «Глупец, дурак, нахал! Я вас в окно выброшу!» Ну, я врезал ему немножко, чтобы остудить с оконными фантазиями.

— Врезал?

— Немножко, говорю. Не до крови. Размазня он, хоть и плечи и рост. Ладно. Все. Конеч. Давай спать, артиллерист. Говорить о них больше не хочу. Все. Спать!

Больше Павел не сказал ни слова, а ранним утром уехал, хмуро простившись, и после мы уже с ним не встречались никогда.

И только сейчас я понимаю, что он был одним из моего поколения, кто пытался сохранить после войны положение хозяина обстоятельств в мирной жизни, еще полностью не созная, что его звездные часы безвозвратно остановились в поверженном Берлине и не повторятся дважды.



ВАСИЛИЙ
РОСЛЯКОВ

ЭЛЕОНОРА

РАССКАЗ

П

очему я стою у метрополитена на площади Дзержинского, схожу с ума и никуда не иду? Да потому, что я не москвич, никого тут не знаю и мне не к кому идти. Наше общежитие, где я жил перед войной, уже в первые дни войны заняли под госпиталь, а из коренных жителей этого города я никого не знал. Нет, прошу прощения, знал. Элеонора! Как же можно забыть ее?!

Правда, для меня, приехавшего с далеких окраин России, она казалась такой прекрасной и недоступной, что я не представлял себе, как можно считать ее знакомым и как можно встретиться с ней, будто с обыкновенным человеком, и радоваться встрече, радоваться, что вот опять увидели друг друга. Этого я не мог себе представить. Элеонора была писаной красавицей и, разумеется, казалась мне ягодой — увьи! — не нашего поля. Но ведь я чего только не наслушался и не навидался в окопах, потому — море нам по колено! — повернул за угол, где стояла будка справочного бюро с милой барышней за окошечком.

— Я, — сказал барышне, — только что из окопов и хотел бы найти Элеонору, единственную знакомую москвичку. Как это сделать?

— Очень просто, — сказала мне барышня. — Надо назвать ее фамилию, имя, отчество, год рождения и хотя бы приблизительно район Москвы.

Фамилию я назвал, год рождения примерно мой — тут я попытался просунуть свою голову прямо в будку к барышне, — а район... Она очень красивая девушка и могла жить только в центре, нигде больше.

— Подойдите через полчаса, погуляйте пока.

Через полчаса из окошечка мне сказали:

— Вот ваша Элеонора.

Я схватил адресок и бегом к этому странному памятнику: известный революционер, полуприсядая, как-то смешно жестикулировал. Может, я просто не понял замысел скульптора или вообще ничего не понимал в памятниках, но смотрел я долго, потому что стоял этот памятник как раз возле нужного мне дома. Наглядевшись, вошел я в подъезд и поднялся на четвертый этаж. Открыла старушка. Я спросил Элеонору. Старушка показала на ее дверь. Из общей прихожей или кухни, я не совсем разобрался в этом, по кругу были расположены двери. Двери, двери, двери. Но нужная мне дверь, к сожалению, была заставлена ящиками с картошкой и со старой обувью. Значит, ее не открывали давно, и, разумеется, Элеоноры я не увижу. Сверху донизу вся дверь была исписана чем попало: чернилами, карандашом и просто гвоздиком. Не все разобрал, но первое, что бросилось в глаза, было: «Приходил Сарик». Число, месяц, сорок второй год. Это где-то посередине столбика. Чуть повыше опять знакомое имя прочитал: «Был Мунька Люмкис». Число, месяц и — сорок первый год. Дальше не буду перечислять посетителей, потому что тут у меня так заходило сердце, так пресеклось дыхание, что я должен немного поговорить о том, кто такой Сарик и кто такой Мунька.

Это было просто невыносимо. И, конечно, невероятно. Шел третий год войны, всех нас разбросало по огромному фронту, по огромной нашей стране. Никто ни о ком ничего не знал. И вот перед глазами имена своих, родных ребят. Живы, значит; вот они расписались сами, отметили на дверях свой приход к Элеоноре, к нашей самой красивой девушке. Я не стал расписываться. Потому, повторяю, что Элеонора была не нашего, то есть не моего, поля ягода. А ведь когда она приходила к Генке Лошакову в нашу комнату, это еще до войны было, она и ко мне обращалась по имени.

«Ко-о-ля», — скажет бывало и так длинно посмотрит в глаза, что лично я просто терял голову. Я не воспринимал

Рисунки
В. Гальдяева

ее как живую девушку, мне казалось, что ко мне обращается какая-нибудь итальянка с картины, Мадонна, Мона Лиза или еще кто не из живых, а запечатленных великой кистью. И хоть голова моя приходила в ужасное состояние — душа молчала, она волновалась, но будто перед картиной.

И вот, стоя перед этими дверьми, заставленными ящиками, я прислушивался, как внутри меня звучал этот тягучий и сложный голос Элеоноры. «Ко-о-ля-а!» И так далее. Там были и грудные звуки, и небесные, и что-то от флейты или иволги, немножечко носовое. Нет, это был целый маленький камерный оркестрик, а не один только голос Элеоноры. И — господи! — глаза. Черные маслины итальянские. Но она приходила к Генке Лошакову. И если бы только приходила! Она оставалась ночевать у нас, то есть ложилась спать с Генкой вместе на его койке. Правда, это никого не озадачивало. Это было так просто. Сарик, Толя, Генка, Элеонора, Юра и так далее. И Элеонора оставалась. Это было простое братство. Да, теперь бы она никогда и ни за что не осталась бы ночевать на Генкиной койке вместе с ним. Тогда-то можно было. Тогда это было простым братством.

Позже Сарик сделался уже настоящим поэтом, одним из самых больших поэтов Великой Отечественной войны Семеном Гудзенко. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем». Вот именно, этот самый Гудзенко. Но тогда он был еще Сариком. Значит, это он приходил сюда, расписался на этих дверях. Господи, значит, живой. Но Элеоноры не было дома, и дверь давно не открывалась. Что с ней? Где она? Нет ответа. И я повернулся к выходу и ушел.

Когда мы вышли из партизанских лесов, соединились с нашей армией, меня направили работать в обком комсомола. По делам этого обкома я и попал первый раз в военную Москву и не нашел в ней Элеоноры. Зато я видел на площади сбитый фашистский самолет. Его выставили для обозрения москвичам. Это производило впечатление. С каким-то смешанным чувством я особенно вглядывался в большую черную свастику на фюзеляже. Свастика возвращала меня к отчаянным первым месяцам войны, к отчаянным и тяжким месяцам моей жизни и жизни моего Отечества. Я смотрел на этот черный паучий знак исподлобья, как будто чего-то остерегался, как будто не совсем верил, что теперь этот паук валялся тут совсем неопасный, обезвреженный, поверженный к ногам пострадавших москвичей. И все-таки он лежал передо мной, тот обезвреженный паук, хотя отчего-то еще немножечко страшный. Летал, гад, надо мной, когда-то поливал меня пулеметными очередями. И в голове еще держалась жуткая память обо всем этом. Сейчас в кабине, за черным пауком, не было пилота, он где-то нашел себе конец, а может, спустился с парашютом и сейчас сидит в лагере военнопленных, думает про свою жизнь, а тогда я видел его змеиную голову в летных пучеглазых очках, тогда он пикировал на меня, беззащитного перед ним.

Долго стоял я на площади и все глядел на этого подбитого стервятника, и Москва в те минуты казалась мне совсем незнакомой, другой, какой-то особенно строгой и справедливой. Ни до войны, когда я был счастлив в ней без конца и без края, ни при первой встрече с нею, когда бродил по ее улицам и площадям и любовался ею, никогда я не любил ее так, как полюбил трогательно и глубоко в эти минуты, стоя перед поверженным врагом.

Москва была наполнена солнцем и тишиной, и душа моя тоже была полна солнца. Я щурился от счастья и шел к Политехническому музею, остано-

вился на углу, где к стене была прилеплена будка айсора, чистильщика сапог. Я поставил ногу на подставку и попросил почистить мои кирзовые сапоги. Пожилой айсор посмотрел на меня снизу вверх черными глазами и с обидой сказал:

— Ты что?! Я не человек, да? Сегодня наши мой родной город взяли. А ты сапог суешь.

— Брат,— сказал я,— извини, я не знал.

— Только что передали,— ответил айсор и опустил голову. Согнувшись, он тихонько запел: — Ой, Днипро, Днипро, ты широк, могу-у-уч, над тобой плывут жу-уравли...

Я стоял, не снимая сапога с подставки, слушал айсора и чуть не плакал. Он пел тихонько, а я слушал. И тут кто-то схватил меня сзади за руку, крепко сжал и крикнул над самым ухом:

— Коль-ка!

Я оглянулся и увидел Сарика. Он стоял передо мной высокий, стриженный, в новенькой красноармейской форме, в начищенных сапогах и все время поправлял гимнастерку сбоку и сзади под широким ремнем.

— Сарик! — крикнул я наконец, и мы обнялись.

Потом мы трогали друг друга руками, приветствовали тычками, отходили на шаг и долго разглядывали, радуясь, что оба мы живы и, как видно, замечательно красивы. Особенно Сарик. Выбритый до синевы круглый подбородок, разделенный ямочкой, глаза коричневые, как киевские каштаны — кстати, детство Сарика прошло в Киеве, — веселые глаза, прекрасно-нагловатые и доверчивые. Я сразу же вспомнил, как мы, добровольцы, ожидали отправки на фронт и каждый день обивали пороги военкомата, теряли веру, что нас призовут когда-нибудь, начали сами устраиваться в воинские части. Точно такие были тогда глаза у Сарика, когда он, вернувшись из поисков по огромному военному городу, предстал перед нами уже экипированным, в новенькой красноармейской форме и пилоточке, отдал нам честь и сказал:

— Все, ребята, я устроился. Взяли в десантную часть. Во!

Мы поздравляли и завидовали нашему удачливому другу.

В такой же новенькой красноармейской форме, в пилотке со звездочкой и с такими же яркими каштановыми глазами стоял он сейчас передо мной, широко улыбался и трогал меня руками, веря и не веря, что это мы с ним опять живые.

«Ну, как ты, где, что?» и так далее — все эти вопросы были бессмысленны сейчас, потому что мы знали, сколько за каждым стояло, сколько всего видели наши глаза и успели услышать наши уши, мы были потрясены самой встречей, и никакими вопросами помочь нам было нельзя. Мы только смотрели жадно и читали, старались прочитать друг друга глазами.

— Слушай, Колюн,— сказал Сарик,— ко мне иди некуда, я ночую на диване в «Комсомольской правде», а мы пойдем сейчас к Зинке.

Он подхватил меня и потащил к этой Зинке. Значит, Элеоноры не было в Москве, и потащил меня Сарик к Зинке. Была у нас такая. Родители ее работали где-то на большом верку, сам я никогда бы и не вздумал пойти к Зинке, но была война, был живой Сарик, и мы пошли.

Если бы не было войны, разве бы мог я мечтать попасть в дом к Зинке? Даже смешно подумать. А сейчас мы весело шагаем к высокому дому за Каменным мостом, вот поднимаемся на лифте, и Сарик уже нажимает звонок. Я не соображал, какой был час, какой день, рабочий или нерабочий, на звонок открылась дверь, и на пороге появилась

Зинка, румяная, полнеющая девушка, наша сокурсница довоенных лет.

«Ребя-а-та-а!» — и так далее. Возгласы, радостный шум, почти восторг, и я, ничего не замечая вокруг, втягиваюсь в теплые сумерки уютной квартиры. Не помню, что справа, слева, надо мной и передо мной, я вижу себя уже сидящим за столом. Может быть, это была кухня. Передо мной громоздится тяжелый шкаф с темным граненым стеклом, с резными дверцами и окошечками. Когда Зина открыла одну дверцу, не поверил своим глазам: мерцает черным стеклом бутылка вина, сбоку висит кружок золотистой колбасы, рюмки, фужеры, чашки, банки, смутно угадываются еще какие-то предметы. Словом, душа моя ахнула тихонечко, чтобы никто не услышал.

Зина ставит на стол вино, позванивающие в ее руке бокалы. Мы радостно переглядываемся, Зина наливает черное вино, и мы тихо чокаемся. И это кажется нам чем-то совершенно неправдоподобным, но мы все же понимаем, что это происходит на самом деле, что это мы сидим за одним столом у Зинки и что от Белого и до Черного моря нашей великой державы идет кровопролитная война, в каждую минуту, и вот в эту минуту, когда мы поднимаем бокалы, кто-то из наших советских сверстников, из наших товарищей, из наших советских людей прощается с жизнью или, не успев проститься и подумать о конце, падает и не встает больше, чтобы идти дальше, кого-то наспех закапывают фронтные друзья, сняв пилотки, скорбно потупив головы. Идет страшная война. Мы не столько думаем об этом, сколько чувствуем всеми клетками своими, потому что война не выходит из нас самих, не отпускает нас, она еще продолжает жить в нас.

— Сарик, — говорю я, — просто нельзя верить, но я только что, может, два часа назад, стоял перед дверью Элеоноры и читал на ней росписи наших ребят, и твою читал, и вот ты, живой, сидишь уже сам.

— Она уехала на фронт, — отозвался Сарик. — Кто бы подумал?! Взяла и уехала. Без документов, без всякого направления, ушла на вокзал, села в теплушку к солдатам и уехала. Будет искать на фронте Генку. Вот Ромео и Джульетта! На деревню к дедушке, на войну к Генке. Ничего? А?

— Ох, — вздыхает Зина, — как это похоже на наших, на ифлийцев! Вы знаете, ребята, я тоже убегала на фронт, не к Генке, конечно, а просто. Поймали, вернули и вот в райком комсомола посадили.

— Ну, это уже свинство, — говорю я, — а меня в обком комсомола. Рванем, Зин, вместе?

— Нет, видно, не получится. С меня слово взяли.

— Колюн, — сказал Сарик, — а ты не прочитал там Мунькину подпись?

— Прочитал. Где он?

— Да, хлопцы, Муньки нету. Бедолага. Только что узнал. Слушай, это может быть только на войне. Месяц назад получил от него письмо. Пишет, что в кавалерию попал. Мунька в кавалерии, а? Я, говорит, быстро освоил езду на лошади. Если, говорит, итальянский язык сам выучил еще в школе, то езду как-нибудь выучу. Это, говорит, немного легче итальянского. И вот я, пишет Мунька, гарцуя на гнедой кобылке, рядом с командиром, на носу у меня золотое пенсне от убитого немецкого офицера, гарцую в золотом пенсне и шлю всем, кого встретишь, ифлийский привет. Нет, хлопцы, не усваивает голова. Письмо это он писал семь месяцев тому назад, ко мне оно попало через полгода, а на днях получаю из части письмецо о его гибели. Этому письмецу ровно полгода. Черт знает что. Полгода я думал про Муньку как про живого, а он

был мертвый. Он был убит, а опущенное им письмо все шло и шло ко мне и, наконец, пришло, а его уже нет давно, сразу же после письма он погиб. Голова не усваивает.

Грустные опустил глаза Сарик, и я опустил глаза, и Зина. Мы молчали, а я вспоминал толстяка Муньку, такого нелепого для кавалериста, вспомнил, что он перевел с итальянского, еще до института, «Божественную комедию». Конечно, думал я, все может быть. Пьер Безухов тоже был на войне, а Мунька немного похож на Пьера. Никогда теперь не увидать Муньки. И думать об этом было невыносимо. В это нельзя верить, и только потому можно перенести.

— Ну что, хлопцы. — Сарик смахнул с глаз какую-то печальную паутину, вскинул голову. — Рано еще. Война еще не кончена, а мы уже считаем раны, товарищей, потерянных на войне. Давайте за надежду, за победу.

Мы выпили за победу, которая была далеко, и никто из нас еще не видел ее перед собой. Она была где-то в дыме, застилавшем нашу землю и наши глаза.

Зина нарезает тоненькие пластинки колбасы, а мне хочется взять неровное это колесо и впитаться в него зубами. Всего-то несколько месяцев назад я грыз у костра лошадиное копыто, выкалывал из-под углей и грыз, обжигался, сглатывая что-то клейкое, пахнущее паленой шерстью и рогом. И хоть после этого был госпиталь, была госпитальная еда, а в последнее время уже настоящая еда, пайковая — желтый порошок из черепашьих яиц, тушенка и пайковая водка, — а вот тут, за этим столом, опять встало в памяти лошадиное копыто, его почудился вкус, как дурной сон, и от этого воспоминания запах копченой колбасы мутил голову. Но я же в Москве, в великом городе, в доме у Зиной, я беру пластинки плотного копчения и, наступая себе на горло, медленно смакую эти пластинки, как леденцы, которые не идут ни в какое сравнение с колбасой.

Было хорошо.

Вихрем влетела девчушка-школьница, Зинина сестренка, что-то бросила на лету, то ли шарфик, то ли шапочку, на подоконник, вихрем же вылетела вон из кухни, блеснув румяной юностью, каким-то тревожным буйством. Полыхнул по белой блузке красный галстук.

И поскольку я пишу об этом только сейчас, то есть сорок лет спустя, спустя почти целую жизнь, то хочу сказать, что эта девчушка потом вырастет, будет учиться в университете, много лет будет женой моего давнего друга, который, в свою очередь, будет жить и стареть, сделается доктором наук, профессором, но не потеряет своих деревенских привычек, будет ездить на рыбалку, потеряет в конце концов жену, вот эту милую девчушку, и почти в полном одиночестве умрет, будет похоронен с почестями как ветеран войны, среди которой мы сидим сейчас за столом у Зинки, будет лежать весь в венках и в цветах в здании университета на Ленинских горах, которого еще не было и в помине, когда мы сидели у Зиной. И ничего еще не знает об этом ни Зина, ни ее сестренка, румяная пионерка с красным галстуком на белой блузке.

Достигнув предельного возраста, я понял, что в нем, в этом возрасте, ничуть не хуже жить, чем в возрасте нежном. Больше того, здесь имеются такие преимущества, пользуясь которыми еще можно долго жить и радоваться жизни. Какие преимущества? А вот. Разве бы я мог видеть дальше того, например, что было в те молодые годы, когда мой дружок Петя, вернувшись с фронта, ходил по уни-

верситетским коридорам в гимнастерке и бриджах, с портупеей через плечо, ходил, пружинисто поскрипывая начищенными сапожками, разве мог я увидеть его где-то впереди, за много лет вперед? Разумеется, впереди было одно только туманное пятно. Каким стану я, каким станет он? Разве бы мог я видеть это тогда? А теперь — ради бога. Смотри, любуйся, вглядывайся, думай, изучай, делай выводы, умней, сколько тебе захочется. Вся Петина жизнь, да и моя, и моей страны лежит теперь передо мной, и я могу рассматривать любой ее отрезок, любой период, могу смотреть на Петю в любом возрасте. За такие зрелища можно многое отдать! Если бы знали люди заранее... Не хмурились бы, не задумывались печально, а жили бы, радуясь, потому что каждый день их приближает к этому счастливому возрасту. Вот почему я говорю: да здравствует предельный возраст! Да здравствует счастливая старость!

Мне легко и радостно вспоминать сейчас о том, что было, легко описывать то, что я описываю сейчас. Ну вот, влетела вихрем с улицы, из школы, из кино или от подружки эта прелестная девчушка в красном галстуке, Зинкина сестра, а я знаю, вижу ее вперед на четыре десятка лет, и мне это безумно интересно. И Петю я сразу же вспоминаю и вижу. Смуглый, молоденький, самоуверенно поскрипывающий ремнями и начищенными сапогами, — прекрасно. Черноволосый, цыгановатый, пружинистый — прекрасно. А вот он уже с белой гривой волос, с отяжелевшим лицом, с темными и глубокими глазами, в профессорском костюме, при галстуке, грузный и серьезный. Хочу — перекинусь чуть-чуть пораньше, тут он еще только набирал возраст, только стали появляться седина на висках, и едем мы на рыбалку в его собственном автомобиле, в его «Победу». Петя за рулем. На нем ватные рыболовные штаны, потеряла кепчонка, мужичий пиджак, и сам он мужик мужиком, к тому же еще и играет в мужика, ему это очень приятно, в этом образе он чувствует себя на месте, дома. Рядом с ним профессор, которому я только что сдал экзамен по лингвистике, но который для Пети просто Сашка. Это в духе моего друга. Он кого хочешь — хоть академика — назовет Сашкой. Едем втроем.

Уже к закату солнца мы достигли цели, остановились в глухом лесном углу, выбрались на опушку, откуда видно мерцание Карасевого озера, а перед ним густая, почти по пояс луговая трава. Пошли след в след по траве, спустили резиновую лодку, поставили сети. Спать легли в машине.

Боковые стекла чуть вспотели, стали сизыми, только-только начало развидняться. Петя открывает дверцу, зовет меня. У него уже костерок зародился, дымком потянуло к лесу. Роса кругом.

— Давай буди Сашку, проверьте сети, пока я тут приготавливаю все к уху.

Будить Сашку? Профессора моего? Но иду, бужу. Сашка, мой профессор, не встает. И так и сядь — не поднимается.

— Петь, не встает он.

— Буди, буди, подними голову ему.

Иду, поднимаю голову, говорю. Голова сваливается с моих колен, Сашка-профессор мычит и снова падает на изгололье. Нет, это мне не под силу. Снова к Пете.

— Не могу разбудить. Не встает.

— Ядрена вошь, — ругается по-мужички Петя. — Человека разбудить не может. Возьми вон чайник, налей ему в ухо воды, поднимется.

— Ты что? Воды? В ухо? Ты что?

— И этого не можешь! В ухо воды налить не можешь. Ну, ры-ба-ки...

Петя сам хватает чайник, открывает дверцу, сворачивает профессору набок голову и льет в ухо из чайника.

Страшный крик. Профессор вскидывается, как укушенный змеей. Петя уходит степенно к костру. Профессор свешивает худые ноги в рыжих волосах, опускает их в росную траву и, ерзя на сиденье машины, поливает моего друга непрофессорскими словами, поливает на чем свет стоит.

— Сволочь ты мерзавская, там-там, та-ара-рам, чтобы я когда-нибудь поехал с тобой, убийца, бандит паршивый, ты «Малютку» мою изорвал, — это Александр Иванович сетку по прозвищу «Малютка» поминает, — ты машину мою разбил, гад, «Царицу» мою утопил, — это тоже сетка профессорская, крупночешуйчатая, которую Петя утопил в водохранилище.

— Отойди от него, — говорит мне Петя. — Он с полчасика поругается, потом сходите сеть проверите.

Бормотания профессора становятся все неотчетливей, все ниже тоном, потом слышно, как он в машине шарит, ищет курево.

— Ну вот, — говорит Петя, — счас закурит и поидет.

Профессор находит рваную сигаретку, языком зализывает ей рану, склеивает и начинает чиркать зажигалкой. Проклятия его стали отрывистыми и редкими, потом он затыгивается и иссякает, слова все израсходованы, хотя он и профессор-лингвист, словарный запас его велик, но и этот великий запас израсходован. Александр Иванович надевает штаны, резиновые сапоги, и мы уходим по росной траве, сразу же делаемся мокрыми по пояс. Идем. И еще на расстоянии, чуть засветилось сквозь туман озеро, слышим, как с прихлестом выскакивают караси из воды, плюхаются в воду, оставляя после себя живые, расходящиеся круги.

— Играют, — говорит Александр Иванович. — Значит, сетка полна...

Когда я не работаю, не пишу, не читаю, я люблю вот так переводить взгляд, и много мне видно. Как много!

Но уже пора туда вернуться, в Зинкину кухню. Смотрю на Зинку, крепкую, немного полнеющую, с тугими щеками, нашу подружку. На Сарика смотрю, душа от счастья плачет, так мне хорошо. Сарик. Брови подковами, черные и шелковые, вразлет, глаза играют, рот полукруглый в хорошей улыбке, чуть-чуть неровные зубы приоткрываются, влажные, смеется хорошо. Голова крепкая, круглая, стриженная. Вот он живой сидит передо мной. И невольно — не хочу, а оно само как-то открывается — перекидывает меня вперед. Зал Союза писателей СССР. Небольшой зал, интимный какой-то, и возле окон стоит весь в красном гроб. В красном и в цветах. А в гробу лежит Сарик. Раскинутые, разлетевшиеся в стороны на широком лбу брови, черные, шелковые. Брови и закрытые выпуклые глаза под темными ресницами. Больше ничего. Спадают к полу красные ленты с черной каймой. Внизу, на низеньком стульчике или еще на чем-то, чуть ли не на полу, сидит, согнувшись, вся в черном Ольга Исаевна, мама Сарика, она уже все слезы выплакала и теперь сидит, сторбясь, старая учительница, у подножия гроба, в котором лежит неподвижно, застыв навеки, Сарик, единственный и бесконечно любимый сыночек, самый большой поэт Великой войны Семен Гудзенко. «Мы не от старости умрем, от старых ран умрем...»

— П'ощай, д'уг, п'ощай, Семен,— скорбно говорит, заметно картавя, Константин Симонов, склонив продолговатую, еще не побелевшую, тоже коротко стриженную голову. Вот и все. Все.

Скорее туда, в Зинкин дом, за кухонный стол, уставленный тарелочками, рюмками, тоненько нарезанной колбасой. Послышалось, как отворили дверь, робко заглянули на кухню родители Зины.

— Пожалуйста, не беспокойтесь, сидите, ради бога,— сказал отец, заметив наше движение.— Сидите, я очень рад молодым людям, если не возражаете, я даже выпью рюмку с вами.

Мы задвигались, засуетились, каждый предлагает отцу сесть рядом с собой. И мама Зинина вошла, поздоровалась. Какие очаровательные, какие милые старики, хотя еще довольно молодые старики. Они ласково разговаривают с нами, выпрашивают, подкаивают, покачивают головами. Очень милые и простые. Хотелось сидеть и сидеть, не замечая времени. Но все-таки уходить когда-то надо, и мы прощаемся с милыми молодыми стариками, с Зиной, и сестренка в красном галстуке выскочила из теплых недр квартиры, тоже прощается и с очень острым — никак скрыть этого не может,— с острейшим любопытством обстреливает нас с Сариком глазами, чистыми, пионерскими. И мы уходим.

Над Каменным мостом, над его рекой, над всем великим городом уже висела в слабых огоньках ночь.

— К Тругманову! — скомандовал Сарик.

Как-то мы добрались до площади Пушкина и там, перед самой площадью, в Большом Гнездиновском переулке поднимаемся в лифте на восьмой или девятый этаж. Огромная, почти пустая квартира. Нас радостно встречает Тругманов, редактор какой-то маленькой газеты, в которой работал Сарик, шумно встречают его гости. Нет, это были не просто гости: совсем еще мальчишка с огромными голубыми глазами Саша Межиров, черноволосая красавица Галина Шергова и старенький, он всегда был стареньким, Миша Рудерман — «Эх, тачанка-ростовчанка, наша гордость и краса-а»... Вот именно. Хлебосольный хозяин, сам Тругманов, тщедушный человек в военной форме, ставит на стол миску с дымящейся картошкой в мундире. Гора картошки. И соль. И больше на столе ничего. Ни, конечно, хлеба или там чего-то еще. Все же война, пайковое время. Господи, о чем только не говорили за столом, потому что через всю нашу огромную страну полыхала война. Было о чем говорить. И стихи. Галина Шергова тогда была поэтом, очень темпераментным поэтом. Она читала. Читал Сарик. «Хлуднево, зима 1942». Такие стихи. Мальчик Саша Межиров читал, сильно заикаясь. Глаза его горели холодным голубым огнем. Потом мы остались ночевать у Тругманова на восьмом или девятом этаже военной Москвы.

Не раздеваясь, легли втроем на огромном старом диване — Сарик, Саша Межиров и я. Нам очень мешала пружина, выступавшая из дивана, задевала как-то нас всех. Но мы были счастливы. Мы не думали спать. Мы разговаривали. Саша рассказывал о Ленинграде, о Синявинских болотах. Сарик читал стихи. Потом я стал рассказывать про партизан, про все, что случилось со мной: окружение, встреча с живыми немцами, партизанский отряд, жизнь в лесу. Я рассказывал до самого утра. Все уже знали кое-что о войне, но никто ничего не знал о том, как же там, в тылу, где немцы, фашисты, как там живут люди и еще даже воюют с оккупантом. Когда уже засочился в окнах рассвет, Саша приподнялся на локте и, сильно заикаясь, сказал:

— С-сарик, в-вот сейчас п-посадите стенографистку и все с-ха-записать, это же гениальная п-повесть. С-с-тарик! К-к-о-люн! Давай, пиши.

— Сашка прав, Колюн. Колюн напишет! Давайте немного поспим...

Я даже могу перескочить назад через войну. Тепло. Мы приехали после первых каникул. Душа поет. Потому что еще нет войны, и мы живем в золотом веке. Сарик, я и мой дружок Лева Адлер, обнявшись за плечи, идем с площади Белорусского вокзала вниз по улице Горького, справа в низком старом и длинном доме стекла первого этажа до половины выкрашены изнутри белилами, чтобы нельзя было заглянуть внутрь, а внутри — аптека. И в одном из этих белых, непрозрачных окон написано черными буквами: «Здесь имеются в продаже медицинские пиявки». Мы идем по середине улицы, мельком замечаем надпись на окне, кто-то прочитал вслух, и тут же Сарик запел на мотив «Кукарачи»:

**Стой здоровья на стра-аже,
Подай-и с утра заявк-и.
Здесь имеются в прода-аже.
Медицинские пиявки-и.**

Мы еще не знали, что ровно через год начнется эта страшная, великая война. А после войны мы с Адиком Галинским провожаем Сарика в Голицыно. У него открылась рана, и он хотел отдохнуть и залечить эту свою вскрывшуюся рану, которую получил в тылу врага, во время рейда. На платформе Голицыно Сарик просит нас никому не говорить, где он находится, он хочет отдохнуть и написать стихи. «Скажите, если кто спросит, что я в больнице, и все».

**Я в больнице, но
Не в Голицыно...**

«Хорошо, Сарик. Выздоровлявай».

...Утром Тругманов уехал на работу, в свою маленькую газету, мы встали, посплохались по квартире, Галя Шергова сварила на чистой воде лапшу, похлебали и стали расходиться, но появлялись какие-то новые гости, оставались тут как хозяева, все это немножечко смахивало на божему, что ли, на нечто напоминавшее божему военных лет. Мы с Сашей Межировым и Сариком ушли. Где-то возле Литературного института, в скверике, во дворе, встретили Колю Глазкова. Он кантовался в Москве, не признанный по каким-то причинам военкоматом, кантовался, перебивался с хлеба на воду. Прочитал нам военные стихи. Очень длинные и воинственные, которые заканчивались в его духе:

**И эту правду высушу
Вовек не уступлю.
Фашистов ненавижу я,
А девочек люблю.**

— Ну, Колю не берет даже война, стойкий поэт,— сказал Сарик, и мы посмеялись.

А потом я уехал в свой Орел, где был отлучен от войны и отправлен на работу в обком комсомола. Уехал и буквально через месяц снова по командировке попал в Москву. И первым долгом, конечно, прямо с вокзала пошел к памятнику Воровского. А вдруг?

О! Ящичков с картошкой и со старой обувью не было перед дверью Элеоноры, и я с колотящимся сердцем постучался. Не успел еще перечитать надверные росписи, как дверь тихо отворилась.

— Ко-о-ля...— заиграл тихонечко маленький оркестрик Элеоноры, а сама она стояла передо мной,

уже готовая к выходу. На ней был белый военный полушубок, точно такой же, как у меня в Брянском лесу, широкий ремень перетягивал ее по узкой, ослепительно узкой талии; солдатская ушаночка и начищенные сапожки. Не Элеонора, а чистая картинка времен Великой Отечественной войны. У меня аж булькнуло что-то в горле. Из всего этого воинского великолепия выглядывало потрясающей красоты лицо с долгими, как итальянские маслины, глазами под убийственно мохнатыми черными ресницами. Глаза и губы Элеоноры улыбались.

— Ко-о-ля,— еще раз сыграл для меня оркестрик. Она взяла меня за руки и втянула в комнату.— Откуда ты, куда, какими судьбами? Впрочем, это не так важно, потом расскажешь, мне на работу, а ты раздевайся, живи, в пять я буду дома.— Звучало и звучало анданте кантабиле, переходившее порою в аллегро модерато. Она объяснила мне, что дверь не запирается на ключ, если надо куда, иди и возвращайся. И ослепительно ушла. Я снял шинель, нашел гвоздь и повесил, снял шапку, тоже повесил. Потом сел и стал приходить в себя.

**Без имени и без отчества
Лжат мертвецы окрест.
Так вот оно, одиночество
Веками обжитых мест...**

Почему в голове сразу вспыхнули эти пронзительные стихи Сарика? Слушай, говорил я ему, как же ты все почувствовал, понял, ведь не тебе, а мне пришлось увидеть это, когда я попал в окружение, и меня, а не тебя полоснуло тогда по сердцу невыносимое и бессильное одиночество? Как же ты смог? Не преувеличивай, ответил Сарик и улыбнулся широко и расслабленно; ему, наверно, было все-таки приятно. Почему встали в голове эти строчки? А вот почему. Значит, судьба за все мои страдания, за скитания по тылам врага, где сплошь шли и шли по дорогам на Москву немцы, а я крался лесами, проселками, ночевал в банях, питался брюквой и сырой картошкой, за то, что я стоял под дулами немецких карабинов, когда вывели меня и моего товарища на расстрел эти оккупанты в змеиных шинелях, но расстрелять помешал им случай, я бежал и снова скитался в поисках партизан, в непереносимые минуты падал в пожухлую траву, прикрытую первым снегом, падал и плакал от этого бессильного одиночества, отчаяния и горькой обиды на судьбу, это за все за это она, моя судьба, подарила мне Элеонору, нет, что я, не подарила, конечно, а вот свела, столкнула с нею, подарила это чудное чудо за все мои страдания. Все во мне трепетало. Я теперь несметно богат, у меня Элеонора. Она у меня, и мне некуда спешить и волноваться незачем. И сидеть тут тоже незачем.

Я встал, оделся и ушел в свой ЦК ВЛКСМ. Там, в отделе, где занимались партизанской молодежью, посмотрели на меня, покачали головой, вернее, она покачала головой, начальница, к которой я приехал. Она сказала, что вид у меня партизанский, а тут все же Москва, да и Орел ваш не Брянский лес, поэтому надо вас, то есть меня, немного приодеть. И поручила кому-то провести меня на склад приодеться. Где-то в подземном складе, в длинном и просторном, лежали горы всякого барахла, одежды, обуви, белья и постельных принадлежностей. Мы шли мимо этих гор барахла, и мне все время подсказывали:

— Вот пальто, выбирайте. Вот головные уборы, вот рубашки, брюки, белье, выбирайте.

А я все шел и шел мимо всего этого, и сопровождающий уже начинал, я заметил это, немножечко

выражать внутреннее неудовольствие моей капризностью. Ничего мне не нравится. Я иду и иду в своей видавшей виды шинелишке, в кирзовых сапогах, в облезлой ушанке и стиранных-застиранных темных штанах в белую стариковскую полоску, а под шинелью у меня нет пиджака, а сразу рубашка неопределенного цвета со скрученным воротничком. Дома у меня, в Орле, еще был белый мой партизанский полушубок, как у Элеоноры, но я надел в Москву шинель, потому что хоть и ветрено, и холодно было, а все же еще не зима. Шел я мимо всего этого богатства и не верил своим глазам: сколько тут всего. Чувства у меня были смешанные, непонятные, но какие-то тревожные или неудобные, что ли, мне как-то было страшно прикоснуться к этому бараклу. Все оно было с чьих-то плеч.

— Откуда это? — спросил я провожатого.

— Это подарки для партизан. Собраны со всех концов страны, присланы специально.

Наконец, мы прошли до самого конца этой горы. Остановились.

— Ну что же вы? Ничего не подходит вам?

— Да нет, подходит все. Давайте еще раз, назад пойдем.

Пошли назад. Среди всего этого очень многое было явно среднеазиатского происхождения: цветное, яркое. В голове моей потекла Средняя Азия с Ферганой, Хорезмом и песчаными пустынями. Верблюды, черные люди в цветных халатах. Ничего этого я никогда не видел, но я же все-таки сын огромной державы, в которой все это есть где-то. Шли мы и шли, и в конце концов я все-таки решился приблизиться к самому подножию богатства. Наклонился и взял со стопки носовых платков один — взял и сунул его в карман своих застиранных штанов, отвернув полу шинели.

— Все,— сказал я.— Теперь пойдемте на выход.

— Теперь,— сказал сопровождающий,— нам в продовольственный склад.

И опять мы шли в подземелье мимо горы продуктов, банок, висевших окороков, больших и маленьких колес копченой колбасы, груд масла, сыра, брынзы, мешков с рисом, крупами, сахаром, сухарями и сушками. Никогда не думал, что может быть так много продуктов. Тут я совсем заробел, хотя, повторяю, уже все знал, и видел, и мало чего боялся. Все же подошел к горе брынзы и взял лежавший на этой горе кусочек брынзы, большой кусочек, с полкило или с целый килограмм.

— Все,— сказал я провожатому.

— Что же вы только брынзы взяли? Ничего не хотите больше?

— Я очень люблю брынзу.

— Ну, смотрите. Я все показал.

— Да, да, спасибо.— И тут я сообразил, что все показанное мне на двух складах принадлежало частично и мне, как вчерашнему партизану, потому так щедро был предоставлен мне выбор. В лесу, конечно, я много бы взял отсюда, я даже взял бы цветное азиатское одеяло, не говоря уже о кругах копченой колбасы, которые висели на костылях, как хомуты в колхозном сарае. Но теперь я уже не партизан и брать что-либо было даже вроде бы грешно.

Сдав в отделе пухлый отчет о работе с молодежью в тылу врага, составленный мной лично и подписанный первым секретарем обкома ВЛКСМ, очень милым человеком Василием Никифоровичем Зайчиковым, я выполнил его задание и вернулся домой, то есть к моей Элеоноре. А через каких-то полчаса пришла с работы и сама Элеонора.



— Надолго? — сразу же, открыв дверь, спросила она.

— На неделю, — ответил я.

— Ой, Ко-о-о-ля, как хорошо-о. — Анданте кантабиле и маленькое пиццикато, вроде грудного коротенького смешка. — Будешь спать вот тут, на полу, на Генкином месте. Он уже не придет больше, я выставила его насовсем. — Аллегро модерато.

Она сняла полушубок, ушанку... О, девушки Великой Отечественной войны! Я и сейчас, с моей высотой, смотрю на вас и плачу и рыдаю от счастья, что сам видел, разговаривал с вами и даже целовал некоторых. И в Брянском лесу, и в окопах, и вот в Москве.

Черная с синим отливом голова Элеоноры, гладко причесанная, так шла к ее чистенькой гимнастерочке и к ее черным, тоже с синим отливом, как у

лошади, глазам. Гимнастерочка в сборках на талии, потому что ремень с полушубка был уже снят, а на гимнастерочке только следы от ремня, но угадывалась ослепительная талия. Защитная юбочка до колен, сапожки, плотно облегавшие икры, говорили мне так много, что кружилась голова.

— Какой ты молодец, Коля! — Аллегро модерато. — О?? О-о-о! — Анданте кантабиле. Это все было проиграно по поводу моего куска брынзы.

И тут же Элеонора поставила чай. О, этот чай! Собственно, чая как такового не было, он заправлен был корицей и гвоздикой, этими колониальными пряностями. Брынза была такой соленой, что колониальный чай без сахара казался приторно сладким и с каким-то терпким и чужим запахом. Откуда здесь, где не было ничего съестного — Элеонора по карточкам питалась на работе, — откуда здесь восточные пряности? Это уже биография



Элеоноры. До войны родители Элеоноры были дипломатами, жили в Лондоне, в нашем торговом представительстве. Отсюда и пряности в этом доме.

Мы пили чай с брынзой, переглядывались, примеривались, обвыкались. Элеонора по всякому поводу после коротких моих реплик прыскала по-девичьи, в кулачок и обдавала меня горячим и каким-то тягучим взглядом. Мы как вроде бы только настраивали себя на разговор, но подробно не разговаривали, а только наслаждались предвкушением этого разговора, мы чувствовали, что у каждого из нас поднакопилась бездна всего, хотелось излить все это друг на друга, но мы только настраивали свои инструменты, чтобы начать долгую и долгую игру.

А уж ночь наступила, мы одни в маленькой келье, где половину площади занимала тахта Элеоноры. И вот стала она стелить на ночь. Сперва постелила мне на полу, прямо перед тахтой. Если с нее схо-

дить, то обязательно надо наступить на мою постель — так было тесно. Генка тут спал.

— Мы не будем стесняться, Коля, правда? Ты раздевайся и ложись.

Я, как-то съежившись, снял брючки со старческой полоской и рубашку и быстро шмыгнул под одеяло. А потом стала раздеваться Элеонора. Ну, товарищи мои дорогие, такую высоту мне еще не приходилось брать. Ни на фронте, ни в тылу врага. И я ее взял. Я спокойно выдержал оголтелый натиск всяких химер, дьявольских искушений и соблазнов, выстоял против яростных атак самого дьявола, когда медленно снимала с себя Элеонора сапоги, чулки, гимнастерочку и юбочку, когда, уже оставшись в одной рубашечке, развязывала узел черных, с синим отливом волос. Она развязывала узел и переступала голыми ногами на моей постели, я слышал все это очень отчетливо, чувствовал ее шорохи,

мягкие, шелковые, и душа моя изнывала от мужества и стойкости.

Наконец, легла и она.

— Элеонора,— сказал я,— мне говорил Сарик, что ты как-то странно уехала на фронт. Села в теплушку и уехала. Правда?

— Если тебе интересно, я расскажу, Коля. Только пускай свет горит, я хочу, чтобы мы видели друг друга. Мы ведь так давно не виделись. Хорошо?

— О да,— согласился я.

И заиграл оркестрик, заиграл чувствительно и нежно, а я лежал на спине, смотрел в потолок, иногда скашивал глаза на Элеонору и слушал, слушал, слушал.

Нет, этот оркестрик играл исключительно только для меня одного, ни для кого больше, поэтому я и сохранил его только для себя, а то, что он играл, я лучше буду пересказывать своими словами. Да, поехала. Пошла на вокзал, дождалась подходящего эшелона, вскарабкалась с помощью солдатиков в одну теплушку и поехала на фронт.

— Ты же знаешь, Коля, как я любила Генку?!

— Да, Элеонора, знаю.

— Так вот, это я к нему решила уехать на фронт. Смешно, правда?

Но поехала-то она после, а сначала было другое. Сначала был мальчик наш, ифлийский, звали его Сима. И он был еще до войны, еще в этом нашем институте, без ума от Элеоноры, и, видно, этот Сима поставил для своей жизни очень большую цель, а именно: добиться Элеоноры. Стал добиваться, но не имел никакого успеха, даже малейшего. А тут война, и этот мальчик Сима каким-то образом в первый же год попал в Военную академию. И опять очутился в Москве. В родном городе. И была тут же Элеонора. Старший лейтенант Сима, слушатель военной академии, возобновил свою борьбу за осуществление большой цели. Элеонора не вдавалась передо мной в тонкости психологии, а просто сказала, что она взяла и сдалась, то есть согласилась выйти замуж за Симу. У Симы были родители тыловые, оставались дома «на брони», у них много родственников, и собралась большая свадьба. Пайковая, конечно, но свадьба. Сидели за столом люди военной Москвы, родня Симины, и он с Элеонорой в главном месте сидел. Вот уже один раз даже прокричали: «Го-о-рыко-о!» Ну, поцеловались. Элеонора говорит мне, что поцелуй получился какой-то очень пресный. Отчего? Она не могла сама разобраться. И вот она встала, захотелось ей выйти на минутку. Гости с уважением расступились, пропустили ее, она вышла в прихожую. И что-то долго не возвращалась. Сперва жених Сима вышел вслед за невестой, но не нашел ее ни в каком месте, потом вернулся и пошептал маме своей, пошла искать мама, потом гости пришли в движение, наконец, было точно установлено, что невесты в доме нет. Она исчезла. Как предположили самые догадливые и проницательные родственники, Элеонора сбежала.

Элеонора говорит мне, что и не думала сбежать, когда выходила на минутку, а потом вдруг как вспомнился постный поцелуй, как вспомнила, что ни капельки не любит этого слушателя военной академии Симу, так и пришла молнией мысль бежать. И она бежала. И вот уже теперь она так стала вспоминать Генку, так не могла без него, что пришла мысль бежать к нему на фронт. Нет, Элеонора не настолько уж темная была, чтобы взять и сигануть в неизвестность. Она все продумала, вычислила, она ведь знала, что Генка в одном пехотном училище, писал оттуда, но потом пропал, училище бросили на фронт, и писем больше не было.

Она путешествовала с эшелонам и выпрашивала исподволь об училище. А кто откажет такой престелнице в чем-нибудь? Ни в чем никто не мог отказать, даже большие воинские начальники, к которым она обращалась. Словом, долго ли, коротко ли, но Элеонора нашла на войне своего Генку. Лейтенант Лошаков, то есть Генка, командовал взводом, стоял в обороне. Радости не было конца, Ромео и Джульетта встретились на переднем крае огромной войны. Генке удалось пристроить Элеонору у себя связисткой. И потекла фронтовая жизнь.

Чтобы понятней было, что Генка не какой-то там постный слушатель академии, а парень, к которому поедешь через любую войну на край света, чтобы легче поверить в поступок Элеоноры, я немножко опишу этого лейтенанта Лошакова. Сразу надо сказать, что наш институт, наш ИФЛИ, был, может быть, последним русским лицеем. Не дворян сюда принимали, не детей заслуженных революционеров или других каких особенных родителей, нет, сюда принимали исключительно гениев — так мы считали. Кто бы он ни был, но если он гений, ему не было другого пути, как в Институт философии, литературы и истории имени Чернышевского, то есть в ИФЛИ. Так вот Генка именно сюда припелся из своего Ярославля. И даже из гениев, съехавшихся со всех концов Советской Родины, Генка выделялся, сразу выделялся. Все теперь знают по портретам Есенина, их даже отдельные таксисты возят у себя под стеклом. Так вот Генка сильно смахивал на Сергея Александровича. И даже чем-то его превосходил, какой-то покоряющей ленцой и тягучестью в словах, в движениях и в улыбке. Всё вместе это было одно очарование. Потом сразу же стало всем известно, что он оставил в своем Ярославле учительницу, которая учила Генку в последнем выпускном классе, преподавала литературу и была влюблена в Генку почти смертельно. Об этом знала не только школа, но почти весь город, а потом стали знать и в ИФЛИ. И знали, что Генка отвечал на эту полусмертельную любовь. Ко всему прочему Генка был медленным, тягучим, каким-то певучим ницшеанцем, он проповедовал Ницше, о котором мы в своих школах ничего не знали. И вот Элеонора, какой бы ошеломительной красоты она ни была, сразу же отдала ему свое золотое сердце.

— Ко-о-ля,— анданте кантабиле,— когда я приехала на передовую и увидела Генку, а он — шинель внакидку, пистолет на боку, взгляд исподлобья — идет вразвалку к землянке, представляешь, Ко-ля, что со мной сделалось? Можешь представить? У меня там была одна мечта. Я мечтала погибнуть в атаке, на глазах у Генки. Такая сладкая мечта. Но она не исполнилась.

И все-таки они были счастливы. Пока не посетил передний край начальник штаба полка. Что ему было нужно на передовой, знает один только он. Он вихрем пронесся в распахнутой шинели по переднему краю и столкнулся нос к носу с Элеонорой. Остановился. Как-то слишком сурово, насупив брови, допросил ее, то есть задал необходимые вопросы, и не стал больше задерживать связистку. Задерживать не стал, но через несколько дней пришел вызов на имя Элеоноры. Ее вызвали в штаб. Генка проводил ее немного, посадил на попутную машину, и Элеонора больше в расположение взвода не вернулась. Она была оставлена при штабе полка. Так Генке и ответили оттуда. И стал он сильно пить с горя. Пил, лез под пули, но легче ему не становилось. И вот в один из дней затихая отправился он в штаб. Там объяснился с начальником штаба, бравым и строгим капитаном, стрелял в него, промахнулся, а может быть, просто рука не поднялась убивать этого

капитана. Выстрелил и промахнулся. Его разжаловали в рядовые и отправили в штрафную роту.

Элеонора служила вольнонаемной, поэтому ей не стоило большого труда покинуть фронт и вернуться домой.

Генка был бесстрашным человеком, много раз отличался в штрафной роте и быстро поправил свои дела, реабилитировался и снова стал боевым офицером. В сорок третьем году был послан на офицерские курсы в Москву прямо из госпиталя, куда попал по ранению. Выздоровел, получил боевой орден Красного Знамени, его направили на курсы, и он на коне въехал в маленькую обитель, в маленькую келью своей Элеоноры. Но въехал на коне уже полным алкоголиком. Жил у Элеоноры и пил по-черному. Был переселен с тахты на пол, а потом, то есть совсем недавно, изгнан вовсе из этой кельи.

Элеонора много перестрадала, спасая Генку от алкоголизма, перетерпела, и все это закончилось полной гибелью когда-то так сильно горевшего чувства.

— Я теперь, Коля, совсем пустая и равнодушная ко всему. Нет, Коля, я неправильно сказала. Нет, не равнодушная, а что-то другое. Ведь, кроме этого, есть же и еще что-то на свете. Вот с тобой встретились, всю ночь говорим и никак не наговоримся, а ведь это что-то другое. Понимаешь, Коля?

Она приподнялась на локте, подушку им продавila, а ладонью поддерживала свое ослепительное полусонное лицо и смотрела на меня. Смотрела полусонно и говорила:

— Ведь правда, Ко-ля? Ты меня понимаешь? Да?— Анданте кантабиле и совсем пиано, почти шепотом: — И это другое, Коля, ничем не хуже первого. Как ты думаешь?

Что я думал? Раньше я и не подозревал о существовании этого, как сказала Элеонора, «чего-то другого». И как ни странно, хотя мне теперь, после окопов и Брянского леса, было море по колено, сейчас, рядом с полусонной Элеонорой, понятно стало это «что-то другое».

Понятно-то понятно, однако же утром, когда мы, так и не закрыв глаза, проговорили всю ночь и стали подниматься — Элеоноре надо было на работу, и мне надо было подниматься, — вот тут опять понимания о «чем-то другом» куда-то ушли, а наступили тягчайшие и сладкие минуты борьбы, Элеонора встала в рубашечке, начала снимать с вешалки халатик, а я стоял рядом на своей постели и тоже норовил натянуть на себя верхнюю одежду, тут больше всего я боялся — а может быть, и Элеонора боялась того же — коснуться друг друга, как-нибудь ченарском задеть плечом, или боком, или просто одеждой, я боялся этого и весь пружинился, задерживал дыхание: а ну трону, а ну зацеплюсь — вот тогда все полетит к черту. Но мы не задели и не коснулись друг друга, по очереди сходили умыться, потом приготовила Элеонора опять же прежний чай с пряностями и брынзой, и мы разошлись по своим делам.

На другой день, вернее, на другую ночь мы опять долго не спали, опять старательно строили хрустальный дворец и опять страшно боялись, что этот дворец зазвенит, развалится, рассыплется на мелкие осколки, грудой будет лежать у наших ног, если мы ненароком прикоснемся друг к другу. Но этого не случилось и на вторую ночь. Не случилось и на третью, и на четвертую, потому что мы все больше и больше закалялись и любые испытания нам были нипочем.

И я сказал Элеоноре:

— Завтра я уезжаю, вот мой билет.

— Ко-о-о-ля...— Анданте кантабиле с маленьким пиццикато.

Она не успевала меня проводить, потому что поезд шел в такой час, когда она еще была занята на работе.

— Я постараюсь, но не знаю, получится ли, — сказала она грустно.

Вот это «получится ли» заставило меня стоять на подножке вагона до последней минуты. Проводница за моей спиной уговаривала меня пройти в вагон, но я все слышал это «получится ли» и не мог тронуться с места. Уже опустел перрон, скрылись последние фигурки провожающих. Дежурный с деловым видом направился вдоль поезда, чтобы покинуть перрон, и медленно, после грубого перелязга буферов, стал трогаться наш поезд. Вот именно в эту минутку в конце перрона появилась она, ее ослепительная и ладненькая фигурка. Она бежала, обгоняя медленные вагоны, искала глазами меня и бежала, чуть приоткрыв губы. Догнала. А я же стою на подножке. Схватила за поручень одной рукой, потому что в другой у нее был газетный сверток. Она обнимала этот сверток и другой рукой цеплялась за поручень. Вскочила, загнанно смотрела мне в глаза и горячо-горячо аллегро модерато:

— Коля, ой, успела.

Передала мне сверток, я увидел через полуоткрывшийся верх вареную картошку. Теперь я прижал одной рукой теплый сверток, прижал его к себе, а она, то есть Элеонора, обхватила с двух сторон мою голову и горячими губами нашла мои и перестала дышать. Она не дышала долго, не давала дышать мне до тех пор, пока поезд не набрал скорость и не побежал мимо нас быстро-быстро серый асфальт. Тогда она оторвалась от меня и спрыгнула, побежала вслед за моим вагоном, все отставая, отставая, отставая... Она отставала и все бежала, пока не стала совсем маленькой, но все равно я различал ее перетянутый широким ремнем белый полушубочек, ее фронттовую ушанку, начищенные сапожки и из-под полушубка коротенькую, защитного цвета фронттовую юбочку. И черная с синим отливом прядка прилипла к ее итальянскому лбу.

Ну, что тут говорить! Все ясно. Я сижу сейчас, смотрю на нее, как она, ослепительная девочка великой войны, бежит, отставая от поезда, а я сижу и плачу, и не стыжусь и не вытираю слез, потому что имею на это право в моем предельном возрасте.

НИКОЛАЙ СТАРШИНОВ



☆☆☆

Такой немислимый сделал крюк,
Что трудно поверить даже...
Но рад, что сегодня покину юг —
И горы его и пляжи.
Конечно, природа здесь — просто рай
И люди с завидной долей:
Гуляй, виноград себе собирай
И нюхай цветы магнолий!
Стройны кипарисы, как погляжу,
Не встретишь подобных граций.
Но, словно в театре, я здесь брожу,
Плутая меж декораций...
Быть может, еще я наивен, глуп
И вольности полон дикой.
Но только больше мне север люб
С черникой его, с брусникой.
А ну-ка, на север — скорей, скорей,
Без всяческих проволочек!
Где серые избы, ольха, кипрей
И клюква на гребнях кочек.
Я буду бродить на заре босой
В кустах, где поет зарянка,
Где встречу с неброской твоей красой,
Душа моя, северянка.

Карелии

Я прошел по тем полянам,
Я проплыл по тем протокам,
Где когда-то жил достойно
Старый, верный Вайнемейнен.
Там, на вересковых склонах,
Там, на валунах замшелых
Я просиживал блаженно,
Счастлив белыми ночами.
На твоих весенних ламбах¹
Я рыбачил спозаранку,

¹ Озера. (Фин.).

На болотах на осенних
Собирал по кочкам клюкву.
Но делилась ты со мною
Не одной лишь сладкой рыбой,
Не одной лишь спелой клюквой —
Чистотою первозданной.
У меня в глазах навеки —
Синева твоя и зелень.
Мне твои родные руны
Навсегда запали в душу.

☆☆☆

По берегу ламбы
Иду поутру.
Петляет дорога
В осеннем бору.
В подлеске сухом
И овражке глухом
Земля изумрудным
Устелена мхом.
И словно слоны,
Что свалились с Луны,
У самой дороги
Лежат валуны.
Меж сосен зеленых
Березник подрост.
Листва золотая
Слетает с берез.
Не здесь ли,
Кляня свой печальный удел,
Кузнец Ильмаринен
На камне сидел!
Не здесь ли
О первой жене горевал,
Не здесь ли вторую,
Златую, ковал?
Он золото плавил,
Сдобрял серебром.
Но только
Не кончилось это добром...
Кузнец Ильмаринен,
Напрасен твой труд:
В металле
Живые сердца не живут.
Вторая твоя,
Золотая жена
Осталась,
Как всякий металл,
Холодна...
Как золото
С тех, золотых, ее кос,
Листва золотая
Стекает с берез.
И льется, и льется
В овражке глухом
На камни, на землю,
Заросшую мхом...

☆☆☆

Ива глядит из тумана
На отраженье свое.
Здесь моя бабушка Анна
В речке стирала белье.

Утром буренку поила,
Хлебом кормила с руки...
В гуще прибрежного ила
Роятся кулики.
В этих вот, с детства знакомых,
Лучших на свете местах,
Сам я бродил меж черемух,
Слушал неведомых птах.
Здесь я, теряя рассудок,
Видел, как возле реки
Из голубых незабудок
Ты заплетала венки...
В эти места возвращаюсь,
Даже убитый бедой,
Словно опять причащаюсь
Самой живою водой.

☆☆☆

Льется свет невеселых глаз,
То лаская, то упрекая...
Где ты, милая, родилась?
Ты откуда взялась такая!
Где встает над скалой скала
И моря омывают сушу,
Там земную красу взяла
И небесную эту душу!
Нет, неправда, все это — вздор!
Родилась и жила доньше
Не у моря ты, не у гор —
На российской родной равнине.
Там где, черной землей пыля,
Ветер с кровель несет солому,
Где картошка да конопля
Прижимаются ближе к дому.
Где стеною стоят хлеба.
Где играя крутой сноровкой,
Плавно кружатся ястреба
Над речушкой твоей — Островкой.
Где течет она, не спеша,
О тебе все — до капли — зная...
Там до неба дошла душа,
Хоть сама ты — совсем земная.

☆☆☆

Этих солнечных лет, этих праздничных дней
Не вернешь никогда, не умножишь...
Наши души сроднились — не сыщешь родней,
Нет, найти их роднее не сможешь!
Только время не раз мне давало урок —
Так сердца изменяло и лица...
Неужели он может прийти, этот срок,—
Нашим душам навек отдалиться!..

☆☆☆

Живем не спеша,
Не мечемся в буднях, не вздорим.
Спокойна душа,
Когда-то сраженная горем.
Беспечна, ясна,
И ждет одного лишь — привета.
Блаженна она,
Полна поднебесного света.
И все-таки в ней,
Творится в ней что-то такое,
Что жить все большей,
Все меньше и меньше покоя.
И праздник — не всласть,
Ничемны вчерашние страсти.
И в пору проклясть
Все это ничтожное счастье.

КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН



☆☆☆

Для писателей
Серьезных умных книг
Обязателен
Внезапный острый миг
Возвращения
К начальному добру,
Отвращения
К бумаге и перу.

☆☆☆

Март и апрель поменялись местами:
Синее небо горит в феврале,
В марте метели с густыми хвостами
Ходят кругами по белой земле.
В общем, погода, порядок ломая,
То прохрустит по апрелю ледком,
То поразит зноем раннего мая,
То и в июне обдаст холодком.
Остро причастны к раскатам и вспышкам,
Так мы живем возле грозной реки,
С возрастом нашим считаясь не слишком,
Логике строгой и то вопреки.

☆☆☆

Есть у каждого собственный шифр,
Эта область лишь близким знакома:
Комбинации чисел и цифр —
Телефона, квартиры и дома.
Для другого — незначащий звук,
Чепуха, пустяковое нечто.
[Равнодушие, сходящее с рук,
Потому как о мелочи речь-то.]
Для чужого закрыт на засов
Этот мир, где как смутное эхо,—
Комбинации глаз, голосов,
Слез, повадок, походки и смеха.



Ты судьбу, если хочешь, им смело вручи —
Так всеильны они... Тем не менее
Умирают святые, умирают врачи,
Умирают бессмертные гении.

Только ты голову напрасно поник,
Я сейчас объясню тебе, грешному:
Не одна остается лишь память о них,—
Вера в них остается по-прежнему.



Он прошептал ей одно:
— Мы совпадаем по фазе...
В этой технической фразе
Нежности было полно.
Он сообщал ей о том
В этой чудовищной форме,
Что понимание в норме
Будет у них и потом.
Что на далекий болюшак
Выйдут, ступая упруго...
— Мы рождены друг для друга,—
Раньше сказали бы так.

Снова стирка

Снова стирка — бабье дело
[Извини меня, местком!].
Вон ты как помолодела,
Приспособясь над мостком.
Брус хозяйственного мыла.
Речка, пена, пузыри...
Если что тебя томило,
Все забылось до зари.
Разогревшись («Кофту скину!»)
И расслабившись чуть-чуть,
Как тебе приятно спину
Осторожно разогнуть.
Полоскать, закончив стирку,
Начинать опять с азов
И рубахи брать за шкирку
Из наполненных тазов.

Актер

Познакомился с актером,—
Был обманут в сотый раз
Дивным обликом, которым
Прежде он меня потряс.
Да, он был привязан к сцене
И к экрану столько лет!
Сам сойти попробуй с тени
Со своей. Ты скажешь: бред.
Он держался даже мило,
Он понравился сперва.
Но ему не нужно было
Говорить с в о и слова.

Новинка

Сделано все второпях,
Словно без веской причины.
Нет в этих вялых строках
Необходимой пружины.

Все в них давно решено.
Да и развитие книги,
Можно сказать, лишено
Элементарной интриги.

...Мимо — в дорогу свою
Осень уходит литая...
Возле прилавка стою,
Бедную книжку листая.

Опоздавший

По стеклу стекали
Капли дожда...
Он писал стихами,
Долго прожда.

Не считал сначала
Это за труд,
Что и означало:
Напрочь сотрут.

Упустил, профукал,
Медлить привык.
И уперся в угол,
В гулкий тупик.

И хотя из кожи
Лезет, сопя,
Не хватает все же
Веры в себя.

Сон о Ленинграде

Каждый фасад озарен за Невою,
Тщательно выделен каждый из них
Той золотой полосой заревою,
Что на опушках бывает лесных.

Я не сумел бы здесь жить постоянно
После родных переулков Москвы.
Но и, по правде, достаточно странно
Редко являться,— заметите вы.

Да! Объясните простыми словами,—
Я на такой остановке сойду.
Чтобы негаданно встретиться с вами
В Зимнем дворце или в Летнем саду.

Отец

Женился сын.— Ну, как невеста! —
Я у отца спросил.— Жена! —
Поправил он.— Судить не место.
Ему, наверное, нужна...

Отцу еще немного было,
Но жизнь пошла наперекося.
Он жил в разводе и уныло
Мне отвечал на мой вопрос.

— Болею. Многие болеют.—
И с неожиданной тоской:
— Они меня не пожалеют! —
Сказал, потерянный такой.

ДМИТРИЙ
ФИЛИМОНОВ



27 лет. Окончил
Ленинградский
педагогический институт
им. Герцена, работал
учителем в школе.
Сейчас — журналист.

☆☆☆

Приходится — чуть меньше, чем положено,
А хочется — чуть больше, чем дано,
Но памятью надежды запорошены,
И нам уже как будто все равно.
Не верилось, а верилось — изверилось.
Шуршит асфальт опавшим октябрём.
Судьба нам, как бухгалтер, пишет ведомость,
А выплатит, когда мы все уйдём.

☆☆☆

Являются большие перемены.
И звезды удивляются потом,
Взирая на незыблемые стены,
Поросшие кустарником и мхом.
Подчас и невозможное возможно,
Но жизни треть оставив за спиной,
Я все же не умею осторожно,
Разумно восторгаться новизной.
Пусть память и подвержена склерозу,
И трезвому рассудку вопреки,
Она порой выдерживает розу
И щедро поливает сорняки.

☆☆☆

В эпоху бурного кочевья
и столкновения идей
деревья слушают людей,
а люди смотрят на деревья.
Но мало разума подчас.
И нам неловко в том сознаться,
что мы не в силах догадаться,
о чем деревья просят нас.

Дебют
в «ЮНОСТИ»

☆☆☆

Солнце юбку сделало прозрачной,
Высветило плавные черты...
Извините, так или иначе
к нам приходит чувство красоты,
к нам приходит ощущение света,
и в трамвае оторвать легко
корешок счастливого билета,
даже если счастье далеко.

Кошка

На ватмане снега, как будто лекало,
свободная кошка спокойно лежала.
Сбежав из квартиры, в подвалах рожая,
была она счастлива тем, что — чужая.
Чужая — мальчишке, бегущему с клюшкой.
Чужая — девчонке с пищущей куклюшкой.
Чужая — раскормленной бабе с авоськой
и прущему шкафу мужику с папироской.
Чужая — автобусам, таксомоторам,
пижонам с пробором, девицам, которым
пижоны цветы преподносят пажами.
Чужая — профессору в жирной пижаме.
Чужая — застенкам домашнего рая,
и стерилизации — тоже чужая!
На ватмане снега, как будто лекало,
лежала, котят подзывала, лизала
свободная кошка, соображая:
Жизнь — не чужая! Земля — не чужая!

Шутка

Все очень хорошо и даже — здорово!
Над крышами, над шпилями вчера
я видел пролетающего борова,
летел он, как огромная пчела.
Гигантская пчела парнокопытная
нахально полоскалась в небесах
и хрюкала... Но самое обидное —
три пополудни было на часах.
И никакой мистической туманности,
природы аномальной никакой
не видел я. В лазерной реальности
кружился боров жирный, золотой.
И жаворонка вытеснив, и ласточку,
и грозного орла, и соловья,
все небо заняла, как баба лавочку,
гордящаяся крыльями свинья.

☆☆☆

Со смертью невозможно примириться.
И мамы улетают, словно птицы.
И ветер, посоветовавшись с небом,
Следы отцов заносит белым снегом.
И в облака мы тянемся сердцами.
Настанет час — отправимся и сами...
И снег пойдет, и птицы растворятся...
И наши дети в небо заглядывают.

Трофейные игры



абля висела на стене, на видном месте, и сразу бросалась в глаза входившему в комнату. И товарищ братьев, если он был в гостях впервые, говорил обычно: «Красивая

штука... Это чья?»

Ему рассказывали, как осенью девятнадцатого года, поздней ночью, дед с маленьким отрядом красноармейцев напал на целое соединение белых и разбил его наголову, и взял в плен много солдат, которые потом перешли к красным, и белого генерала. А генерал заплакал от стыда, увидев, как мал отряд деду, и отдал ему свою саблю в знак того, что сдается. Деду было тогда всего восемнадцать лет. При этом, если историю рассказывал Дима, он обычно называл соединение белых «дивизией», а Игорь просто говорил: «Целое соединение», иногда добавляя: «Может, полк, в общем, не дивизия...»

Дед умер давно, и мальчики знали его только по фотографии. В доме осталась лишь одна фотография деду. На ней он был изображен вместе с отцом и матерью: на стуле сидел усатый мужчина в начищенных сапогах, позади, опустив руку ему на плечо, стояла худая женщина в темном платье, а сбоку находился долговязый подросток, лицо которого было трудно разобрать, потому что он наклонил голову. Это дед. Вид у мальчика на фотографии был отнюдь не геройский, в этом братья сходились, а Игорь считал, что деду здорово всыпали накануне. Дима не соглашался, ему не хотелось думать, что такому герою, как их дед, мог кто-то вспылать даже в детстве.

Зато сабля и вправду была красивой, длинная и острая, с узорчатым темляком и серебристыми ножнами.

Братья часто играли с ней по вечерам, когда родители ходили в кино или в гости. Посмотрев по телевизору фильм, который заканчивался в девять часов вечера, ребята начинали игры. Если фильм, который они смотрели, был про фашистов, мальчики играли в войну с фашистами, если фильм был про гражданскую войну, они играли в «красных и белых», и эти игры больше нравились им, потому что играть с саблей деду в войну с фашистами было затруднительно — братья ни разу не видели кино про фашистов с саблями и не читали про такое.

Кроме сабли, мальчики располагали двумя пистолетными винтовками, исправным и сломанным, и деревянной винтовкой, которую вырезал им отец. Оружие обычно распределялось так: тот из братьев, чья очередь подошла, брал саблю деду и в придачу сломанный пистолет, а другой получал исправный пистолет и деревянную винтовку. Это было удобно еще и потому, что владелец сабли мог изображать белого генерала.

В тот вечер братья смотрели фильм, который особенно им понравился, и теперь играли во взятие Перекопа. Белый генерал Игорь только что выбросил в море ненужный разряженный пистолет и отдал саблю красному командиру Диме. Красный командир был мокрым, он недавно форсировал Си-

АЛЕКСЕЙ ИЛЮШИН



Алексей Ильюшин родился в 1952 году в Москве. Окончил юридический факультет МГУ, служил в армии. Работал следователем, адвокатом. Сейчас — юрисконсульт в учебном заведении. В центральной прессе печатается впервые.

РАССКАЗЫ

Рисунки В. Мочалова

Дед
«ЮНОСТИ»

ваш. Игра фактически закончилась, и сейчас перед братьями маячила невеселая перспектива уборки ванной. Но Дима еще держал в руке трофейную саблю, и напротив него стоял пленный генерал.

— Так вы сдались добровольно? — спросил Дима, желая утвердить победу.

— Я не добровольно сдался, — сказал Игорь. — Я проиграл.

— Вы проиграли, — согласился Дима и подумал, что бы еще сказать.

Ему не хотелось заканчивать игру. Тогда придется убирать ванную, а, кроме того, Дима сегодня играл красиво и выиграл красиво и потому чувствовал какую-то приподнятость. Ему хотелось продлить это чувство. Ведь следующие три дня, по уговору, фашистом и «белым» должен быть он, а Игорь станет победителем. Но, чтобы продолжить игру, надо было что-то говорить, молчать было нельзя. Дима повторил утвердительно:

— Значит, вы добровольно сдаетесь...

Игорь мрачно покачал головой.

— Я не добровольно сдаюсь. Видит бог... — Дима изумился в душе, как красиво говорит брат за генерала. — Видит бог, я дрался, но вы оказались сильнее. И я сдаюсь. — Игорь понурился.

Дима тоже хотел сказать красиво, но, как назло, ничего красивого не приходило на ум. Он подбодрил себя и, опершись о саблю, повысил голос:

— А в первый раз вы сказали: «добровольно». Я сам слышал.

Игорь поднял голову.

— Видит бог, я этого не говорил. Клянусь честью.

Дался ему этот бог, подумал Дима. Честью он клянется. Красиво... И откуда взял, ведь одни же фильмы смотрели?.. Дима разозлился на брата и тряхнул саблей.

— А я говорю — говорили!

Игорь вздохнул, потом улыбнулся и спросил:

— Какое у вас звание?

— У меня нет звания, — важно ответил Дима. — Я — красный командир.

— А я генерал. И не кричите на меня, я старше вас.

Игорь был старше Димы на несколько минут. Обычно он старался не упоминать об этой смехотворной разнице и злился, когда его в шутку называли «старшим». Теперь он сам заговорил об этом — в первый раз. Дима не удержался и фыркнул:

— «Старше»! На десять минут...

Игорь смотрел на него без улыбки, и Дима поспешил нахмурить брови. Игра вроде продолжалась.

— Я не кричу на вас, — пояснил Дима. — Просто, когда вы отдали мне свою саблю, вы сказали: «Сдаюсь добровольно. Видит бог...» — Дима улыбнулся. Последние два слова он добавил от себя, этого брат не говорил. Но выходка Игоря развеселила Диму, у него улучшилось настроение, и захотелось подшутить над братом, который играл как-то чересчур всерьез.

Игорь даже покраснел. Он всегда краснел, когда злился.

— Вы надо мной издеваетесь. Я больше не стану говорить. — Он сел на стул и плотно сжал губы.

Дима сказал миролюбиво:

— Вы пленный, вы должны говорить. Если хотите остаться в живых.

Брат молчал.

— Тогда я вас расстреляю... — Дима щелкнул пистолетом, но Игорь не обратил на это внимания. Дима подумал.

— Ладно, я освобождаю вас. Идите куда хотите...

Игорь не смотрел на брата. Дима не знал, что делать. Ему очень хотелось продолжить игру. Он сел на стул рядом с Игорем и сказал:

— Извини, я больше не буду. Давай еще десять минут, а?..

Игорь повернул голову.

— Если вы обещаете обращаться со мной, как с военнопленным.

Дима обрадовался.

— Конечно! Ну, давай?..

— Вы должны пообещать, — сказал Игорь. — По-клянитесь.

Теперь Дима понял, как играть.

— Красные командиры не клянутся. Я даю вам честное слово.

— Я верю. — Игорь встал, прошелся по комнате и остановился перед Димой. Видно, он что-то придумал; Дима знал: когда брат размышляет, он всегда ходит. Игорь сказал серьезно: — У меня к вам предложение.

Дима кашлянул несколько раз для солидности и произнес:

— Ну, послушаем. Что у вас ко мне?..

— Меня вы победили, и я сдался. Но там, на юго-западе, — Игорь указал рукой в сторону кухни, — у вас очень тяжелое положение. Там высадились интервенты, и они атакуют с танками и бронемашинами. А в тылу у вас большая банда «зеленых». Между прочим, знаете, как зовут их атамана? Моя разведка мне донесла...

Дима нетерпеливо брякнул ножнами.

— Моя разведка тоже мне донесла, — перебил он. — Раньше вашей. Атамана зовут Махно.

Игорь усмехнулся.

— Ваша разведка принесла неверные сведения. Его зовут атаман Григорьев.

Дима обиделся, но промолчал. Это была нечестная игра. Игорь продолжал:

— Вам тяжело будет воевать с ними всеми, их много. У меня такое предложение. Вы возвращаете мне мою саблю и моих солдат, и я становлюсь вашим союзником.

— У вас больше нет своих солдат, они теперь красные бойцы. А вы — пленный и не можете быть моим союзником.

— Тогда я перехожу на вашу сторону, — поправился Игорь.

Дима молчал. Ему очень не хотелось расставаться с саблей.

— Вы — генерал, а в Красной Армии нет таких званий. И потом я не проверил вас в бою и не могу дать вам дивизию.

— Я согласен командовать полком, — сказал Игорь. — Я не изменю.

— А если я не соглашусь?

— Тогда воюйте сами, а я буду отдыхать. — Игорь сделал жест, который показывал, что смысл его слов надо толковать шире, он просто уйдет и ляжет спать, предоставив Диме в одиночестве заканчивать игру и убирать ванную.

Дима задумался. У брата была выигрышная позиция. Больше всего Диму злило то, как ловко Игорь повернул дело, что и сегодня он доигрывал с саблей, а Дима, который по уговору в этот раз должен был побеждать, оказывался победителем как бы наполовину. Но Дима сам упросил брата продолжить игру, делать было нечего. Хотя уж больно обидно было. Вдруг Дима придумал.

— Хорошо, — сказал он. — Я верну вам саблю и дам полк красноармейцев. Но вы не проверены в бою. И я вам дам еще комиссара, который будет смотреть, как вы командуете. У него будут такие

же права, как у вас. Он тоже может командовать. Этот комиссар — я сам.

Игорь озадаченно посмотрел на брата. Он не ожидал от него такой хитрости.

— Ну, вы согласны?

— Согласен, — сказал Игорь. — Вы победитель, вам решать.

Дима вздохнул и отдал саблю брату. Игорь взял саблю и взмахнул ею над головой.

— Теперь повоею!

— Вы теперь комполка, — сказал Дима. — И мы будем вместе бить белых гадов. Только запомните, я могу брать у вас саблю, когда захочу. У нас равные права.

— Что-о-о?

— Я — комиссар, у нас равные права. Если захочу, могу взять у вас саблю.

— Ну нет! — Игорь рассердился. — Это обман, мы так не договаривались.

— Никакой не обман. Я сразу сказал, что комиссар тоже может командовать. И мы будем носить саблю по очереди.

— Никаких очередей! Это нечестно! Забирай саблю, я больше играть не буду...

Игорь протянул саблю Диме, но тот нарочно отошел в сторону. Дима знал, что сейчас нельзя брать саблю. Если он возьмет ее сейчас, Игорь уйдет и не будет больше играть. Надо выждать. Ведь Игорю тоже не хочется ее отдавать, он протягивал саблю сгоряча, в запале. Ее можно будет взять потом. А теперь самое главное, чтобы брат согласился. И надо успокоить брата.

Дима сел за стол, зарядил пистолет пистонем и положил на скатерть справа от себя. Затем опустился на стол сжатыми кулаками и проговорил устало:

— Значит, так, значит, анархия начинается... Вот ведь какая у нас работа — не знаешь, где пулю получишь... А то и в спину выстрелят. — Он полуобернулся к брату и добавил безразлично: — А надо план военных действий составлять...

— Хорошо. — Игорь шагнул вперед. Его задело слова насчет пули в спину, и он принял игру брата.

— Садись, комполка, — сказал Дима. — Давай обсуждать, как нам банду разгромить. Она в тылу у нас. Сколько у тебя штыков?

— Двести, — стоя ответил Игорь. Он не хотел садиться за стол, но решил, что стоя он похож на подчиненного, и, отодвинув стул, сел напротив Димы.

— Двести... А сабель?

— Тоже двести... — Игорь был смущен и не знал, как продолжать игру, уж больно уверенно вел ее брат.

Дима ухмыльнулся.

— А орудий тоже двести?

— Пять тяжелых и двенадцать легких, — наобум сказал Игорь. Он решил перехватить инициативу и добавил быстро: — Снаряды есть. Двадцать обозов. К легким, правда, меньше...

— В Красной Армии нет таких названий, — оборвал его Дима. — У нас орудия называются «тяжелыми» и «средними». Вы забудьте свои привычки, тут вам не у белых. Пулеметов сколько?

Игорь зло посмотрел на брата.

— Не считал.

— Лент сколько ящиков, тоже не знаете?

— Не знаю.

— Не сердись, комполка, — сказал Дима. — Нам вместе воевать. Просто у нас железная дисциплина, и каждый командир должен знать, сколько у него бойцов и патронов. Ты потом узнай, сколько у тебя пулеметов и ящиков патронов, лент и гранат. Хорошо?

— Хорошо, — хмуро ответил Игорь.

— Я слушаю план ликвидации банды. — Дима достал карандаш, лист бумаги и провел на листе жирную стрелу. — Учти, оттуда идут интервенты...

Игорь взял карандаш.

— По данным разведки в банде четыреста человек, — начал он. — Примерно сорок тачанок. Они прячут тачанки, потом расходятся кто куда, и снова собираются, и берут тачанки. Надо поймать их у места сбора.

— Когда они спрячут тачанки, — уточнил Дима. — Они туда же и пулеметы прячут. Надо, чтобы они были без пулеметов.

— Ясно, что без пулеметов, — отмахнулся Игорь. — Пулеметы на тачанках. Так я и говорю, надо их окружить. У меня две неполные роты пехоты и два эскадрона кавалеристов...

— Не у вас, а в полку, — мягко поправил Дима.

— В полку, в полку! Не перебивайте, пожалуйста... И надо их окружить так: две роты спрятать у них в тылу и по бокам, буквой «П»...

— Не по бокам, а по флангам, — перебил Дима.

Игорь замолчал и в упор посмотрел на брата. — Вы мне не даете работать. Все время перебиваете.

— Так я же прав. Никто не говорит: «по бокам». Говорят: «по флангам».

Игорь подумал. Вообще-то брат был прав.

— Ладно. По флангам. Только не перебивайте меня, пожалуйста. У нас ведь военный совет.

Дима хотел было сказать, что военный совет бывает в армиях, а не в полках, но промолчал.

— Значит, две роты пехоты я прячу у них по флангам и в тылу, — продолжал Игорь, рисуя полукруг и стрелы. — А в лоб им ударят два эскадрона кавалеристов. Им некуда будет деться. Я думаю, мы победим, — добавил он, заканчивая рисунок.

Дима взял лист и стал внимательно изучать план.

— Ваше мнение, комиссар? — поторопил брата Игорь. — Время не терпит. С севера наступают интервенты.

— Не с севера, а с юга. — Дима отложил лист. — Я согласен с вашим планом. Только где вы сами будете во время боя?

— Конечно, с кавалеристами.

— А где мне быть, по-вашему?

Игорь пожал плечами.

— С пехотой. Нас же два командира. Надо, чтобы у пехоты был командир.

— Я буду с кавалеристами, — решительно сказал Дима. — А старшим пехоты назначу одного из командиров рот.

Игорь подозрительно посмотрел на Диму и спросил:

— Может, вы и саблю у меня возьмете?

— Зачем? Вы же атакуете. Сабля будет у вас.

— Тогда зачем вы пойдете со мной?

— Я еще не проверил вас в бою. А потом, вдруг вас ранят. Я приму командование...

Операция завершилась блестящей победой, интервенты были разбиты, а вся банда «зеленых» захвачена в плен. Атаман, правда, бежал. В полку потерь не было, и, как Дима ни старался — а он-то и был атаманом и одновременно комиссаром, — Игорь все равно сумел сделать так, что его не ранило, и принимать командование, а значит, и владеть саблей брату не пришлось. Дима чувствовал, что время игры подходит к концу, и злился на брата. Саблей владел Игорь и победителем был Игорь, а Дима был ни то ни се — вторая фигура постоянно на худших ролях, и все это было противно уговору, потому что сегодня был день Димы. Он начал жалеть, что вообще стал продолжать игру. Надо было за-



канчивать, когда был победителем, думал он. Как же поступить? Если он начнет прямо отбирать саблю, Игорь может прекратить игру. В любую минуту может прекратить. И Диме даже не удастся принять участие в тех красивых победах, в которых участвует теперь. Но, с другой стороны, он мог бы сам одерживать эти победы, а не просто участвовать в них, и ему казалось, он делал бы это не хуже, а лучше брата. И тогда Дима сказал:

— Я хочу поздравить вас с победами по поручению Реввоенсовета. Вы хорошо проявили себя в бою.

Игорь поднял глаза на Диму, ждал, что тот скажет дальше.

— И по поручению Реввоенсовета вы назначаетесь командующим всеми силами. И награждаетесь именным оружием.— Дима снял с плеча винтовку и протянул брату.

Игорь удивился.

— А зачем мне винтовка?

— Это не винтовка, это маузер. Вон там именная надпись...

Против маузера Игорь не возражал. Он взял маузер в руки и, держа на весу, разглядел какие-то закорючки, сделанные карандашом Димы, и поцеловал оружие.

— Спасибо,— сказал он.— Я оправдаю доверие.

— Вы не очень-то,— коротко бросил Дима.— Это не сабля, его не целуют.

Игорь повесил маузер за спину и спросил дружелюбно:

— А как же вы с одним пистолетом?

— Мне его хватает,— сказал Дима.— Я назначаюсь главнокомандующим.

— Как это? — не понял Игорь.

— Вы хорошо себя проявили, и вам больше не

нужен комиссар. Вот я и назначаюсь главнокомандующим.

— А я кто?

— А вы командующий всеми силами. Но я главнее вас.

— А командовать кто будет?

Дима помедлил.

— Вы. Вы будете командовать. Хватит, слушайте приказ. За рекой высадились два полка белоказаков...

— С чего высадились?

— Неважно. С кораблей флотилии высадились, с чего еще. Главное, их семь тысяч, а у нас всего одна тысяча в двух полках. У нас разбитые полки. А надо атаковать, потому что мы окружены. Мы взяты в кольцо.

— В двух казачьих полках не может быть семь тысяч,— убежденно сказал Игорь.

Дима с размаху ударил кулаком по столу, и Игорь вздрогнул.

— Сведения проверенные, не спорьте! Какой будет план?

Игорь недоуменно смотрел на брата.

— Надо просить подкрепления. У нас же армия, все силы...

— Вы не понимаете? Я сказал, что мы окружены. Нам не у кого просить подкрепления. И отступить некуда. Единственный выход — атаковать. Ваш план?

— Все равно не понимаю... Нам же переправляться на тот берег. Нас же расстреляют из орудий...

— Орудий у них нет.

— Ну, из пулеметов...

— Вы будете атаковать? Или вы отказываетесь? — Дима снова повысил голос. — Вы можете отказаться...

— А что будет, если я откажусь?

— Тогда я приму командование...

Игорь взглянул на брата с презрением.

— Я понял... Я буду атаковать.

— Нет, не будете! — Дима порывисто встал. — Вы хорошо показали себя в боях. Но теперь вы проявили трусость. Я сомневаюсь в вас. Вы отстраняетесь от командования.

— Вот как? — Игорь угрожающе придвинулся к Диме. — И что дальше?

— Дальше я приказываю вам сдать оружие. Вы больше не командующий всеми силами. Отправляйтесь под арест!

Игорь стоял, сжав кулаки. Поначалу Дима думал, что брат бросится драться. Но Дима уже решил, что завладеет саблей, чего бы это ему ни стоило, он почти сумел убедить себя, что прав и у него есть основания сомневаться в Игоре, и он твердо подошел к брату, взял у него саблю, затем, подумав, снял именной маузер и тоже повесил себе. Он ожидал борьбы, но борьбы не было. Игорь как-то сник, на него подействовал решительный тон брата. Игорь стоял возле стола, безоружный и присмиревший, и Диме стало немного его жаль. Но он прогнал эти мысли. Пока все складывалось хорошо. Вдруг Игорь спросил:

— Куда идти под арест?

Дима кашлянул в кулак и отвернулся. Потом сказал небрежно:

— Под арест можете пока не идти. Ваш вопрос рассматривает Главное командование... — Не глядя на Игоря и обращаясь к стене, Дима стал диктовать приказ: — «Приказ по армии... Первое. Из сил двух полков, четырнадцатого «Железного» и двадцать первого кавалерийского, сделать один ударный полк. Второе. Ночью, скрытно, поставить орудия на нашем берегу реки. Третье. Ударному полку пере-

правиться на тот берег на плотах, то же ночью. Артиллерии открыть огонь в пять ноль-ноль утра. Начать наступление в пять тридцать утра. Четвертое. Снять с позиций последний полк моего личного резерва и ударить им в тыл белоказаков в шесть ноль-ноль утра. Главнокомандующий...»

Когда Дима заговорил о последнем полке своего личного резерва, Игорь усмехнулся, но Дима не обратил на это внимания. Он все-таки настоял на своем и теперь хотел быть великодушным. Поправив саблю, Дима подошел к Игорю, положил руку ему на плечо и сказал, глядя в глаза:

— Бывший командующий всеми силами... Главное командование рассмотрело ваш вопрос. Вам дается возможность загладить проявленную... слабость... И я верю, что вы ее загладите. Я назначаю вас своим заместителем... — Дима торжественно повысил голос. — И если я буду ранен или убит, вы примете командование и доведете до конца дело, начатое мною...

Дима сказал красиво и был доволен собой. Он вообще был доволен и решил, что в последнюю минуту, когда судьба сражения будет определена, сделает так, что его убьют или тяжело ранят и Игорь примет командование. Пусть и брат покомандует. Так будет еще красивей. Но только в последнюю минуту, не раньше.

Дима ощутил какой-то подъем и удалое веселье. Он протянул руку брату и добавил искренне:

— Обещаю вам, вы будете командовать. Ну, по рукам?

Игорь молчал. Дима стоял с протянутой рукой, и веселье медленно покидало его.

— Что вы молчите?

— Я думаю,— тоже искренне сказал Игорь. Он наконец пожал руку брата. — Я согласен. Какое оружие мне взять?

Дима вдруг расхотелось играть. Он равнодушно подал Игорю оружие.

— Берите маузер, берите два пистолета...

Диму почему-то не радовала покорность Игоря. Он чувствовал себя как-то не так. На мгновение ему захотелось вручить брату и саблю, но он удержался. Зачем тогда столько сил потратил, подумал он, зачем сочинял, зачем ругался, вообще все зачем? Он подумал это безразлично и так же безразлично смотрел, как Игорь готовится к бою, снаряжается, ставит укрепления. Дима даже не помогал. Он думал о том, что обязательно поступит так, как решил, и даст брату командовать, но теперь ему было скучно думать об этом.

В начале игры Дима действовал вяло и допустил две ошибки, позволившие белому генералу, командиру белоказаков, которым по совместительству был Игорь, отбить первую атаку. Генерал осмелел и предпринял контрнаступление, в результате которого чуть было не завладел артиллерией, стоявшей на берегу реки. Тут Дима очнулся. Блестящим обходным маневром полк личного резерва сбросил белых в реку и, преследуя неприятеля, вместе с ним переправился на ту сторону, где остатки белоказаков попали под удар закрепившихся на том берегу двух рот ударного полка. Неприятель оказался в кольце, ждали белого флага. Дима снова почувствовал вкус к игре, он играл самозабвенно, не щадя ни себя, ни противника, и он заслуженно побеждал, и с наслаждением ощущал, что побеждает заслуженно и красиво. Ему было очень-очень хорошо. Диме казалось, он сидит на прекрасном белом коне, который уносит его дальше и дальше, плавно, как самолет, и вокруг зеленая ровная трава, а за холмом слышатся крики «даешь!» и «ура!» его полков и затихающее «ура» противника, и видится впе-

реди белый флаг, и пленный генерал рядом, без сабли и погон, и, наконец, длинные шеренги бойцов, которые, утирая пот и кровь, отдают Диме честь и приветствуют любимого командира, а белый конь уносит его все дальше и дальше. Это была прекрасная минута, и Дима почувствовал, что лучше всего будет, если его ранят смертельно. Пусть брат примет командование, пусть он тоже насладится этой минутой. Дима сейчас был добр, силен и великодушен, ему страстно хотелось поделиться этой великой минутой с братом, и, когда он хотел упасть, крикнув: «Прощайте, я убит, принимай командование! Да здравствует победа!» — ему на плечи прыгнул заместитель, или белый генерал, — но он ведь был пленный! — и стал срывать с него саблю. От неожиданности Дима упал на колени. Игорь повис на плечах брата и, стискивая шею левой рукой, правой вырывал саблю. Дима продолжал крепко сжимать эфес, но уже чувствовал, что проиграл. У него не было сил даже прохрипеть: «А-ааа! Измена!» — Он знал, если прохрипит это, у него вовсе не останется сил на сопротивление. Но Игорь и так побеждал, правая рука Димы медленно слабела, а голова все больше отгибалась вверх. В какой-то момент Дима подумал, что задохнется. Он люто ненавидел брата в эти минуты. Он хотел поделиться с ним самым дорогим, что у него было — победой, а тот предал его, подло предал. Дима все-таки захрипел: «Изменник!» — и от отчаяния с размаху отдернул голову назад, отчего стало больно шее. Игорь вскрикнул и отпустил Диму. Дима вскочил, не веря в свое освобождение. Он так и не выпустил саблю и теперь стоял, тяжело дыша, а перед ним, закрыв лицо рукой, стоял Игорь. Из носа Игоря шла кровь. Красные капли мерно падали на паркет и собирались в маленькую лужицу, и Дима вдруг ощутил, что у него в руке сабля. Он так и не отдал ее, его предали, а он не отдал, он сумел ее сохранить. Он стоял, крепко держа в правой руке оружие, и чувствовал гордость. Потом выговорил:

— Предатель...

Игорь убрал руку от лица. Кровь закапала сильнее. Игорь поднял голову вверх, чтобы унять кровь, и сказал в нос:

— А ты подонок.

— Я подонок? Это ты — сволочь, предатель...

Дима приблизился к брату. Игорь по-прежнему стоял, подняв голову вверх, будто внимательно изучал потолок.

— Ты раньше меня предал. — Игорь говорил в нос, и у него получалось «бедя, бредал». — Ты меня с самого начала предал.

Дима сделал еще шаг вперед.

— Я тебя предал??

— Предал. Ты сказал, что мне не веришь. А сам просто хотел отобрать саблю. Ты предатель худший, чем я. Мне ничего не оставалось...

Дима попробовал объяснить:

— Я хотел тебе отдать... Я хотел тебе отдать ее в конце. Я хотел, чтоб ты командовал...

Брат рассмеялся.

— Все ты врешь. Ты только говоришь красиво. Таких убивать надо, как ты.

Кровь из носа Игоря капала уже редкими каплями. Братья стояли лицом к лицу и с ненавистью смотрели друг на друга.

— Ты сам врешь! — закричал Дима. — Ты с самого начала врешь!.. Зачем ты ее взял? Сегодня мой день.

Игорь шмыгнул носом и усмехнулся.

— Я воевал лучше, я ее заслужил. А тебе она досталась обманом. «Полк личного резерва»... Для меня не нашелся, для тебя нашелся. Вояка-главно-

командующий... Ты без обмана и воевать-то не умеешь. Ничего не умеешь... Только красиво говорить. И обманывать...

Дима не выдержал и, подняв саблю высоко над головой, пошел на брата. Сейчас Игорь задел святое, это нельзя было трогать никому. Дима вспомнил ту великую минуту, которую нарушил брат, прыгнув ему на спину, — а он-то хотел поделиться триумфом, брат же сначала предал его, потом оскорбил, а потом еще хуже — посмел отнять у него эту минуту, смешав ее с грязью.

Игорь, пятясь, отступал к стене, когда же отступать было некуда, прижался к ней спиной. Он не сводил глаз с Димы. И Дима вдруг увидел, как отводит саблю вбок, чтобы не рубить, а колоть — такое они оба знали по фильмам, — и увидел, что Игорь тоже видит это и лицо его делается перекосенным от страха, и брызжет кровь, уже не из носа, и слышится крик, и кончик клинка торчит с другой стороны туловища, у стены, и...

Дима провел по виску рукой. Лоб и брови Игоря тоже были мокрыми от пота. Дима отшвырнул саблю и пошел в ванную. Плечи его вздрагивали. Игорь проводил брата глазами и, тяжело дыша, опустился на корточки у стены.

Когда родители вернулись из кино и мать заглянула в комнату, где спали дети, она увидела, что щеки Димы мокрые, а Игорь во сне всхлипывал, ворочался и что-то бормотал.

— Опять они этих фильмов насмотрелись, ты подумай! — сказала она отцу, и отец кивнул.

Игорь и Дима не разговаривали друг с другом еще долгие две недели, и все эти вечера сабля висела на стене, пылясь. Братьям почему-то не хотелось ее трогать.

Конец праздника

1.



Было мучительно жарко и мучительно стыдно, и Прошников сидел красный, как кумач, поминутно вытирая лоб мокрым платком. Он жалел, что выбрал именно этот костюм, теплый, черный, тяжелый, с медалями, приколотыми намертво, которые он не мог снять, даже если бы захотел. Так тебе и надо, думал Прошников, пожалуй, вот и еще, еще...

Он слабо вникал в смысл происходящего. Судья читала, медленно перелистывая толстый том и без конца повторяя фамилии, числа и названия, которые ему ничего не говорили; посередине зала на стульях сидели люди, огороженные скамейками, сдвинутыми спинками внутрь, возле них, по периметру, через шаг стояли солдаты с кобурами на боку, а там, внутри этого барьера из дерева и людей, среди других на стуле сидел Андрей. Прошников слушал все, что читала судья, но доходили до него какие-то обрывки: «Хищения на ликеро-водочном заводе... Преступная группа... Разбавляли коньяк... Подделка накладных... Сбыт осуществлялся в городах... Директор, заместитель директора, главный инженер, бухгалтер, инженеры, водители, контролеры, рабочие... Вырученные денежные средства присваивали, распределяя следующим образом... Прием на работу посторонних лиц... Дело было возбуждено... Предварительное следствие проводилось... Хищение в особо крупных размерах...»

Люди, сидевшие на стульях в центре зала, были хорошо одеты. Современные джинсы, такие же куртки, на женщинах — юбки из того же джинсового материала. Прошников даже не сообразил сперва, кто эти люди, может, адвокаты или свидетели; он никогда раньше не бывал в суде. Потом понял: адвокаты сидели за длинным рядом сдвинутых столов справа, под окнами у стены. А эти — преступники, их судить будут. Он разобрался окончательно лишь перед самым началом, когда солдаты ввели Андрея и тот сел на стул, в числе других, в огороженном центре зала; Андрей будто не заметил деда или сделал вид, что не заметил, хотя Прошников сидел с краю и Андрея провели рядом, в двух шагах. Те люди — преступники, воры... А как иначе назвать? Хищение, воровство... Деньги воровали не на улице у прохожих из карманов — у государства — какая разница. Все равно. Воровали — значит, воры. Андрюшка — вор...

Мысль снова, в который раз, обожгла стыдом. Прошников не ожидал, что будет так скверно. Дома дочь не хотела, чтобы он ехал сюда, твердила о его здоровье, о ее долге, о покойной матери. Прошников сам знал про здоровье. Но он сказал дочери: достукались — значит, платить надо; за все надо платить, поняла? Он даже захотел вдруг, чтоб и она поехала, пусть посмотрит на сына, полюбуется, и уже рот открыл, чтобы сказать, но сразу передумал: ни к чему женщине, тяжело, у нее — нервы, мало ли что. И отвернувшись к зеркалу, лишь буркнул сердито, зная, впрочем, ответ заранее: сама-то не поедешь? Не хочешь сына увидеть? Она не ответила и только посмотрела на него испуганно и сказала очень тихо, запинаясь: я потом, я потом, папа... увижу... И Прошников махнул рукой, а она не приставала к нему больше с уговорами и молча смотрела, как он повязывает галстук и зашнуровывает ботинки.

Дома, вдвоем с дочерью, Прошникову приходилось сдерживаться, скрывать подлинное, делать вид осуждающий: мать ведь как-никак. Здесь, в суде, сдерживаться тоже надо было, конечно, и Прошников держался спокойно — это для других людей, других родственников, сидевших рядом, и хмур, неодобрителен — для Андрея, на случай, если они встретились бы глазами. А по правде, внутри, Прошников не мог осуждать Андрея сейчас, здесь, и осуждал себя, а на внука смотрел как на больного в бреду; бред пройдет, и тогда можно будет разговаривать серьезно, а сейчас нельзя.

«Почему?» — спрашивал он себя. Что делал не так? Деньги? Никогда не давал много. Не баловал. И мать тоже. Не мог Андрюшка привыкнуть к легкой жизни. Наоборот. Так приучали, чтоб каждую копейку считал и жил, зная, что и ее, эту копейку, заработать надо, труд вложить. Дружки? Это объяснение было слишком простым. Легко сваливать всю вину на плохих друзей, и Прошников не хотел пользоваться удобным объяснением. Нет, сейчас Прошников искал свою ошибку, свою вину, и его лицо, видно, все-таки выдавало мучительные поиски. Он заметил, как немолодая накрашенная женщина в красивом синем платье — заграничном, наверно, — сидевшая на скамье рядом с ним, наклонила голову и посмотрела ему в лицо с тревогой, а потом значительно переглянулась с соседкой. Боится, подумал Прошников, как бы удар не хватил старика. Он усмехнулся. Вообще публика здесь была непривычная, странная, он не встречал такой раньше; Прошников обратил на это внимание еще в коридоре, когда вместе с другими дожидался начала суда перед закрытыми дверями зала. Одеты были

все очень хорошо, разговаривали умно. На него, седого старика, в черном «парадном», давнего образца костюме со старыми орденами и медалями, эти люди посматривали с любопытством и — ему казалось — чуть насмешливо. Разговоры там, в коридоре, перед началом суда велись разные; говорили об адвокатах, о судьях, о какой-то новой музыке, одежде, о предстоящей в следующем году Олимпиаде и вообще обо всех новостях. Поначалу Прошников стоял один, у стены, а когда кто-либо из вновь прибывших родственников обращался к нему с вопросом, терялся и отвечал невпопад, и люди отходили, улыбаясь, и переспрашивали у других. Отстал, конечно, думал он тогда, отвык от людей, от жизни, не понимаю... Кого он видит, пожилой человек, давнишний пенсионер, который ежегодно ложится в больницу на месячный курс лечения? Врачей, дочь, внука. Друзья перемерли, родных никого не осталось — одна молодежь. Да что, ученики — и тех единицы. Остались ученики учеников, которые приезжают к нему домой изредка, чтобы помочь разобраться в старых вопросах, имеющих отношение к их новым диссертациям: Прошников был крупным инженером-нефтяником в свое время. Работа, значит, осталась, но сколько ее осталось, сколько он может работать сейчас? Курам на смех... Эти же люди вокруг в курсе всех дел, держат руку на пульсе времени, как пишут в газетах, или раньше писали, или вообще не так, а как-то иначе? И вдруг его поразила простая и диковатая в то же время мысль: эти люди, хорошо одетые и гладко говорящие обо всем, на что они одевались так хорошо? На какие деньги ходили в театры и на разные специальные выставки, джазы, о которых толкуют сейчас? На какие шиши покупали машины? Прошников знал точно, что три по меньшей мере машины, стоявшие внизу у входа в здание, принадлежали людям, сидевшим здесь, в зале, среди зрителей; он приехал почти одновременно, слезал с троллейбуса напротив, на остановке, когда машины подъезжали. А перед самым началом машин внизу стало больше, он видел в окно. Так на что куплены красивые сумки и заграничные пакеты, в которых эти люди принесли сюда опять-таки купленные за деньги сигареты и продукты, чтобы передать их своим там, за барьером? Как передать, тоже было много разговору перед началом — возьмутся ли адвокаты, разрешит ли судья... Ведь на краденые денюжки все это было сделано. Поди оденешься, как они одеты, на зарплату — в трубу вылетит на одной одежде. Конечно, разоблачили, ясно — конфисковали, но ведь не все же до конца, нет. Остались денюжата, припасены. У родственников, у знакомых близких, просто припрятаны. И эти люди тоже, выходит, воры. Не прямо они воровали, понятно, а так пользовались. Косвенно, как говорили здесь, в суде.

И от этой мысли Прошникову вдруг сразу сделалось легче. Он уже не терялся, когда к нему обращались с вопросом. Он посматривал вокруг теперь с усмешкой отвечал на вопросы не спеша и так, будто ему не очень-то и хотелось отвечать. А позже, когда в зал вводили Андрея, Прошников чуть ли не с гордостью отметил, что Андрей одет хуже тех, кого вводили до него, и сел на стул как-то сбоку, чтобы не быть близко с теми — тоже нарочно, наверно.

Пользовались, подумал Прошников, и сейчас, перехватив взгляд расфуфыренной соседки. Это была мать одного из главных организаторов — Прошников понял раньше, из разговора ее с адвокатом. Он снова почувствовал удовлетворение. Нет, подумал он, как ты ни накрашивайся, в какие наряды ни наря-



жайся, мы с тобой не поймем друг друга. Разные мы. Ты — на другой стороне, а мы с Андриюшкой — на этой, на нашей. В конце концов, его понять можно: запутался парень, молодой еще, но не вор он, нутро у него не воровское. А у тебя воровское, ты привыкла жить на всем готовом, хорошо жить привыкла, это по всему выдать. И потому не нужна мне твоя жалость и не кругли глаза, не будет со мной ничего, не доставлю тебе такого развлечения...

Прошников улыбнулся впервые здесь, в зале, и посмотрел на соседку. Обернувшись, она шепталась о чем-то с женщиной, сидевшей позади нее. Ведь и так рассудить можно, думал Прошников: и вправду запутался парень. Когда у него деньги завелись свои? Месяца с два, может, меньше. Это после ссоры было, весной, когда Андрей привел домой эту... Крупно его тогда отругал. Вроде с тех пор он и перестал брать вовсе — и у меня и у матери. Тогда деньги и завелись. Сказал: устроился работать ночным сторожем, дескать, многие у них так работают студенты на дневном. И я уши развесил, обра-

довался, думал: нашел в парне нужные струны, зацепил; а гордость есть — значит, не пропадет, человеком станет. И он изменился, порассудительней стал, поспокойней, похолодней как-то. И этому радовались с дочкой, дураки, решили — взрослеет. А оно вон как все обернулось... Но все-таки не вор Андриюшка, нет, не вор. И сюда прийти стоило мне за одним тем, чтоб увидеть — не такой он, как они. Другой. А значит — помогать надо...

Прошников пожалел сейчас, что не согласился взять Андрею адвоката. Адвокат у Андрея был — всем обвиняемым положены адвокаты. Но адвокаты хорошие, пожилые, которые за деньги сидели здесь, им родственники деньги платили; и была молодежь, мальчишки и девчонки зеленые, которые защищали бесплатно — так про себя понимал Прошников. Домой звонил какой-то — мальчишеским голосом; говорил, что адвокат, что назначен на защиту Андрея Прошникова юридической консультацией. «Ладно, хорошо, здравствуй, адвокат, — сказал Прошников, он сам тогда подошел к телефону, — ну и что тебе надо, адвокат?» Мальчишеский голос от-

чеканил твердо и звонко, что процесс — то есть дело в суде — будет идти долго, может, даже год. И адвокат предлагает родственникам заключить соглашение, другими словами, внести деньги в кассу консультации, потому что иначе ему, адвокату, трудно будет уделять этому делу все свое время; просто-напросто сидеть каждый день в суде ему придется фактически бесплатно, а у него семья и дети, и зарабатывать тоже нужно, как всем. Прошников удивился, что у такого мальчишки может быть семья, а понял только насчет денег и спросил, сколько ж надо? Он, впрочем, еще раньше, только узнав обо всем, сказал дочери: никаких адвокатов; проворовался — значит, сидеть будет, это было бесповоротное решение... И голос ответил невозмутимо: ну, рублей восемьсот — тысячу... Прошников сказал язвительно: да-да, конечно, тысячу, — и спросил, между прочим, фамилию адвоката и откуда тот звонит; Прошников, разумеется, не поверил ни одному слову, не могло быть такого, просто не могло, чтоб столько надо было платить. Звонкий мальчишеский голос назвал свою фамилию и зачем-то имя-отчество и даже продиктовал адрес консультации и как туда ехать; в заключение добавил, что будет ждать до пяти часов. Прошников, не остыв, тотчас собрался и поехал по этому адресу, хотя неважно себя чувствовал, ныла спина. Но он был слегка озадачен легкостью, с которой этот проходимец сообщил, как его найти. Прошников знал, что адрес, конечно, выдуман, и рассчитывал на обратном пути, не найдя там ничего похожего, заехать в отделение и сообщить милиции об этом звонке-шантаже. Но дом стоял точно, где говорил этот мальчишка, и номер дома соответствовал, и был такой именно подъезд, как он объяснил, с вывеской «Юридическая консультация». А пройдя внутрь, Прошников узнал вовсе странные вещи, которые ему объяснил адвокат, тот самый, по фамилии Баркин, и вправду молодой, а главное — существующий. Прошников не поверил объяснениям Баркина, и тогда тот предложил ему пройти к заведующему консультацией. Прошников прошел к заведующему, и заведующий подтвердил, что сумма, названная адвокатом, не завышена, а, скорее, наоборот. Адвокату, выступающему по соглашению, оплачиваются рабочие дни и перерывы, чтобы он мог уделять долгому делу, требующему его постоянного присутствия в суде, все свое время, иными словами, не был связан финансовой стороной вопроса. Заведующий, впрочем, объяснил, что если у Прошникова нет такой возможности — заключить соглашение, — то и не надо его заключать, потому что адвокат все равно будет выступать, статья сорок девятая Уголовно-процессуального кодекса предусматривает это, и защиту тогда будет оплачивать консультация. Прошников ничего не мог сказать, кроме «до свидания», и вышел из консультации в растерянности. Он ехал домой и ощущал какую-то раздвоенность. Таких денег у них с дочерью не было, но неважно, не в деньгах дело. Раз все законно, можно и в долг взять на несколько лет, с рассрочкой, — еще остались все-таки знакомые кое-какие родственники. Дело было не в деньгах. Прошников ведь сам не хотел нанимать адвоката Андрею, вообще не хотел, но по другой причине, из принципа. А теперь выяснилось, что адвокат все равно будет, но — не оплаченный ими, родственниками Андрея, адвокат. Прошников не очень жаловал адвокатов и не очень верил им, но понимал хорошо, что адвокат, которому родные заплатили, «заключили соглашение», — ясное дело, будет защищать лучше такого адвоката, которому не заплатили. Выходит, вот в чем суть. Просто Андрея будут защищать хуже, чем других, и дело тут

вовсе не в его, Прошникова, принципе. Принцип-то оставался неизменным: вор, проворовался, значит, сидеть будет по закону, по суду... Дело, выходит, в деньгах. Защита всем положена, но денег у Прошникова нет заплатить адвокату, а потому будут защищать хуже. С такой постановкой вопроса Прошников согласиться не мог. Если б не надо было просить, одалживаться — он не любил одалживаться ни у кого, — если б лежали деньги вот здесь, под рукой, на комод, и он мог в любую минуту заплатить, отдать их тому Баркину в кассу, Прошников тотчас бы забыл обо всем этом, и принцип остался бы принципом, и сомнения не мучали бы его никакие. Но денег не было под рукой, и, вернувшись из консультации, Прошников накричал на дочь — попусту, зря, ни при чем она была, из-за другого накричал, из-за ерунды, — и лег спать, не поужинав. Он долго ворочался с боку на бок и не мог заснуть, а утром встал разбитый, присмиревший, каким себя не любил, и сказал дочери непривычно тихо: ладно, не сердись, я ведь тоже о нем думаю... Она не ответила и ушла на кухню, но к завтраку на столе в тарелке высились горькой блинчики — его любимое кушанье. За завтраком вдвоем и решили: если адвокат окажется толковым, они займут денег у Николая, племянника, — дочь этим будет заниматься, Прошников только по телефону позвонит, скажет, что заедет она по его просьбе, — и заплатят адвокату Баркину за соглашение. Дочь сама предложила и в консультацию потом ехать платить; видно, обрадовалась, обычно она не любила такие дела — вести материальные расчеты. Прошников согласился.

Он виделся с Баркиным утром в коридоре, минут за двадцать до того, как солдат распахнул двери в зал. Баркин прошел мимо Прошникова совсем близко, с черным красивым портфелем в руке, и поздоровался, глядя в глаза. Прошников смутился и отвел взгляд, а потом буркнул: здравствуйте... Прошников чувствовал себя лишним тогда, беспомощным и не знал, как себя вести, а адвокат, напротив, выглядел здесь к месту, очень своим, точно был составной частью суда — этих стен, коридора, лестницы, — личным знакомым девушек-секретарш, сновавших с бумагами туда-сюда, и строгого солдата, который, взглянув мельком на удостоверение Баркина, пропустил адвоката внутрь через эти двери, запертые для всех других — посторонних, и для постороннего Прошникова в том числе. Прошников почти сразу сообразил, что сделал ошибку; надо было разговориться с адвокатом, намеркнуть, чтоб тот понял: Прошников заплатит, внесет Баркину деньги в кассу, тем более что Николай согласился, даст деньги, в любой момент с книжки снимет, пусть только сам адвокат работает хорошо, старается, защищает. А Прошников своим поведением обидел Баркина, мог обидеть по крайней мере, и, вспоминая об этом, Прошников и сейчас морщился, ругал себя старым дураком и решил окончательно — поговорить с адвокатом в перерыве, обязательно подойти первым и поговорить.

Он вдруг увидел, как Андрей обернулся и посмотрел на большие круглые часы, висевшие над дверью. Лицо Андрея тоже было мокрым, и он вытирал пот рукой.

2.

Сидит, подумал Андрей Прошников, поворачиваясь лицом к судье. Красный, как помидор, а сидит...

Он люто ненавидел Слона в эти минуты. Мечтал

об одном — чтобы эта слепящая, застилающая глаза ненависть не помешала реализации плана. Рассчитано было точно — успел в камере обдумать один, и люди присоветовали кое-что, когда в общую перевели. Даже Лугаев одобрил в записке, представлялась такая возможность: после окончания следствия их возили в суд выполнять статью двести первую УПК — ознакомление обвиняемого с материалами дела. Лугаев написал в записке: правильно, давай, сам думаю то же... Андрей должен был скинуть тот, первый месяц своей работы на заводе, хотя бы три недели скинуть обязательно. Десять дней он болел — имелся бюллетень в бухгалтерии; Андрей, конечно, работал эти дни, но можно было выкрутиться, если другие не будут топить. Еще неделю — в самом начале — он официально не числился в штате: все сомневался, уходить из института или нет. Он уже работал, помогал Лугаеву в те дни и имел «зарботок», только зарплату не получал, но при таком «зарботке» смешно говорить о зарплате. Все равно и эту неделю хороший адвокат мог отстоять. И тогда сумма, инкриминируемая следствием лично Андрею Прошникову, позволит суду в приговоре в отношении него ограничиться одной «химией». И сидеть ему придется с учетом времени, проведенного в тюрьме в период расследования дела и суда — а суд, говорят, будет долгий, — вовсе ерунда. Вдобавок с «химией» обычно отпускают раньше, а у него первая судимость... В общем, это был вариант, на котором надо стоять мертво, кровь из носу. И само собой, иметь хорошего адвоката, и еще — чтобы вытянуть долгое время суда, необходим контакт со Слоном, добрые отношения с домашними. Больше ждать помощи неоткуда. Значит, нужно крепко держать себя в руках, никаких эмоций, ничего не выдавать наружу. Не так, как раньше бывало. Срывался раньше: ничего, а потом вдруг забывался и начинал разговаривать с ними, как с людьми, в открытую, будто они могли понять что-то. С матерью вообще нечего разговаривать, главный, конечно, Слон. Хотел недавнюю ссору взять, весной. Тоже сорвался. Не выдержал. Это, собственно, и подвело итог — стал искать свой «зарботок».

Андрей не жалел сейчас о последствиях той ссоры. Не жалел, что встретился с Лугаевым — искал работу, нужны были деньги, и бывший одноклассник, очень хорошо одетый и, судя по всему, преуспевающий, — Лугаев ушел после восьмого класса из школы в техникум, — предложил Андрею устроиться к нему на завод, рабочим для начала, на должность. Дел немного — ему, Лугаеву, помогать. Иногда, редко, командировки. И сумма, получаемая регулярно от Лугаева — тот был не рабочим, повыше, инженером недавно перевели, — сумма, которая давала возможность не работать, не учиться вообще, не заниматься ничем, кроме этой работы, а по вечерам ходить в ресторан. На заводе Андрей быстро разобрался, что к чему, и, когда после внезапной проверки ОБХСС стало ясно, что под них уже «копают», сказал как-то Лугаеву вечером в баре, за коктейлем: «Слушай, поговори с ними... Надо сократить хотя бы на время. Выждать. Зачем так много денег? Слишком много — нельзя, засыпемся, опасно...» Лугаев имел «зарботок» значительно больше Андрея, и он ответил, мечтательно прищурившись и глядя на Андрея сквозь бокал, который держал в руке: «Знаешь, это — как наркотик. Как алкоголь для алкоголика. Я умом понимаю, что много не надо и можно меньшим обойтись. Но уже не можешь меньшим обойтись, если один раз имел много...». Позже Андрей понял сам, что Лугаев сформулировал точно. Андрей долго колебался —

забирать документы из института или не забирать; он не мог официально оформиться на работу на завод, будучи студентом дневного отделения. Но к тому времени его уже сильно затянуло, и Лугаевская формулировка дала себя знать — Андрею стало казаться, что праздник будет длиться всегда.

И сейчас, сидя на жестком стуле в центре зала, огороженный скамейками и конвоем, Андрей не жалел о своей ошибке, приведшей его сюда, — ему казалось, не было ее, ошибки, — а жалел о том, что праздник закончился так быстро, слишком быстро, и теперь ему надо думать, как выйти из трудного положения с наименьшими потерями, чтобы после, с учетом приобретенного опыта, начать все сначала. И снова продолжить праздник.

А ошибка все-таки была — он понял это вскоре после того, как оказался под стражей. Была его, Андрея, ошибка. Хотя Лугаев тоже заблуждался, но дело не в нем. У Лугаева — свои дела, у Андрея — свои. Андрей жалел, что ушел из института и устроился работать на завод, на должность. Когда шло следствие и его без конца гоняли на допросы и очные ставки, понял внезапно: очень многие не были официально зачислены в штат, хотя тоже помогали Лугаеву и тоже имели «зарботок». И большинство из них проходило по делу свидетелями. Умные люди. Надо было и ему...

А все началось с той ссоры, весной. Слишком резко решил рубить концы, хотел старое перечеркнуть разом и начать по-новому. Из дома думал уходить, снять комнату — деньги уже позволяли. А надо было наоборот: потихоньку жить по-старому, учиться, а на работе оформить напарника и тянуть вдвоем, а самому не устраиваться официально. Денег, конечно, меньше, зато гарантии... А его «достали», и он не выдержал, не смог...

Дубина, думал он, оценивая свою ошибку. Ведь должен бы привыкнуть, знать, с кем дело имеешь. Не ребенок — давно пора разобраться, что к чему. Ведь вовсе из-за ерунды произошло. Раньше тоже бывало, потом — реже, успокоился, привык. Самое сильное, пожалуй, — в девятом классе, зимой. С матерью грызлись, Слон в больнице лежал, как всегда в феврале. Тогда для ссоры причина была: узнал про отца. Тоже обманывали. Разницы никакой: что умер, что в другом городе живет. Не показывался — нету его. Но с детства приучили, что умер, а оказалось — в другом городе, с другой женой, другим сыном. Случайно узнал, от посторонних. Спросил у нее — она в истерику... А отца простил не глядя. Все оптом, сразу, и даже что оставил Андрея здесь «на откуп» и не искал встреч — забыл ради собственного спокойствия. Простил, потому что понял главное, между строк, почему жизнь у них не ладилась, почему пил... Легко понял, ведь сам жил здесь и уже подрос; догадывался, как жилось взрослому человеку. И еще понял: тот — слабачок, безвольный в общем-то мужичник. Ничего не сделаешь, другого нету...

Слон, конечно, Слон выгнал. Слон — сейчас посмотришь — тоже вроде бы слабачок. Не таким был раньше, Андрей помнил. Сейчас как будто запутался, как будто не знает, что к чему, старенький... Артист, конечно, хороший. Играет... Отлично еще разбирается во всем, нос по ветру держит. Просто силы уже не те, возможности. Поэтому слабачок. А иногда в нем прорывается старое. И мать пляшет под его дудку, всю жизнь, наверно, плясала — на это у него силы хватает.

А кто был тот, которого Слон выгнал? Каким был? Временами, раньше, Андрей создавал для себя, внутри, образ героя — сильного человека, которым должен быть его отец. Позже, когда научился

анализировать происходящее, он не смог уже строить эти статуи из песка. Образ — статуя-мечта-песок — рассыпался под влиянием внешних факторов. Андрей вырос, и в конце концов от мечты остался слабый силуэт хорошего, доброго человека, который сначала пытался делать что-то — он предлагал матери уехать вместе, — позже, увидев бесперспективность борьбы, сжался в комок, стал пить, но еще огрызнулся в ответ, близоруко щурясь, а потом ушел, бросив все и затаив, наверно, в душе незаживающую рану — комплекс человека, понявшего, что слаб: «Я не могу...» Андрею было знакомо это чувство, которое ощущаешь после неудачной драки или если струсил. Он уже знал: в таких случаях главное — понять, что впереди еще будет драка и не одна, и не надо думать, что все кончено и «поезд ушел». В следующий раз сможешь. Но люди взрослые — Андрей заметил и это — преодолевали подобные преграды и препятствия внутри себя не так легко, как ребята его лет, которые должны были волей-неволей приспосабливаться, вовсе не имея выбора. Андрей тоже не имел выбора. И, пропустив отца, он не стал искать его сам, потому что слишком хорошо понял его заочно. Такой не нужен был Андрею, такой не мог дать сыну ничего, и Андрей начал «устраиваться на месте», приспособившись к жизни, которую вынужден был вести.

Он стал налаживать отношения дома, приняв первую заповедь не говорить правду, не объяснять свои истинные побуждения — говорить так, чтобы они поняли его по-своему, а как — он знал, потому что сам понимал их превосходно. Будто игра в шахматы с роботом, в которого заложена программа лишь на одну партию. Ведь играешь для того, чтобы выиграть, чтобы вышло так, как тебе выгодно. А зная наперед, как может ходить противник, ты провоцируешь его на выгодные тебе ходы. Игра довольно простая, но опасная, и Андрей преуспел в ней, но скоро начал замечать, что становится лживым не только когда это необходимо по делу — чтобы выиграть, но и в других ситуациях, не требующих лицемерия. Андрей был теперь веселым, общительным юношей с улыбкой на лице, — зачем плодить себе врагов зря, попусту, лучше плодить друзей, — но в глазах, в глубине, было упрямство что-то серьезное, по крайней мере драться он почти перестал, вернее, с ним перестали драться. Он легко ладил со Слоном и с матерью, а окончив школу, поступил учиться, куда советовали — в технологический институт, потому что там работала давнишняя подруга матери.

В общем, жизнь налаживалась. Туговато было лишь с деньгами: Слон и мать хотели, чтобы он учился на дневном, а с деньгами у самих было еле-еле. Андрей знал, есть у Слона пункт, когда на Слона нельзя ориентироваться серьезно: очень часто его объяснения, расчеты, простейшие планы на будущее находились в таком отрыве, несоответствии с настоящей жизнью, что даже очень наивные люди, такие, как мать, понимали это и видели, что благим помыслам Слона нельзя доверять полностью и нельзя руководствоваться ими в реальной жизни. Ему невозможно было объяснить это, он отказывался понимать, а сам, сталкиваясь с реальностью и видя несоответствие, злился на окружающих, будто они были виноваты, а не он.

Слон говорил: учись, Андрюшка, хорошо учись. Ты должен получить высшее образование. Мы ведь по-другому жили... Но для того и жили так трудно, чтоб ты теперь жил хорошо. А учебу твою мы с матерью как-нибудь осилим... Наверно, это говорило искренне, ну, во всяком случае, наполовину; скорее всего Слоноу и вправду хотелось, чтобы

Андрей жил лучше, чем он сам в свое время. Но это было неважно, потому что, как многое из желаний Слона, было невозможно. Пунктик. Андрей уже взрослый парень, у него есть девушка, само собой хочется сводить ее в кафе иной раз, купить подарок...

Андрей заговорил как-то о вечернем отделении, впрочем, не всерьез — к тому времени он уже ставил под вопрос целесообразность дальнейшей учебы вообще. Нет. Они и слышать не хотели о вечернем отделении. «Учиться по-человечески — значит на дневном учиться... (это — Слон). Успеет Андрей еще поработаться, а денег пока хватает, не нищие...» Здесь-то уж Андрей понимал отлично Слона, истинные его побуждения. Придумали теперь такое слово «престижность». Почему это Андрей Прошников не может учиться на дневном? Другие учатся на дневном, им родственники помогают, содержат их, а чем хуже родственники Андрея Прошниковых? Ничем не хуже, а значит, Андрей Прошников тоже должен учиться на дневном; это и была та, другая, половина истинных побуждений Слона.

Ну что ж? Нет так нет — Андрей не настолько глуп, чтобы спорить. В то время он уже начал подумывать о «заработке» и одновременно всерьез усомнился в необходимости своей учебы в вузе. Видел: денег это не приносит много, а большого интереса к учебе он не испытывал. И об этом, конечно, он не говорил им, не советовался. Зачем советоваться, если знаешь наизусть набор шаблонных фраз, которыми тебе ответят? Советоваться — тоже глупо. Понял кое-что: предпринимай шаги, действуй потихоньку, а сам помалкивай до поры до времени. А для денег институт не помеха, оказывается. И очень жаль, что эту простую истину он понял только сейчас. И еще Андрей жалел о той глупости, той ссоре весной. Ведь с нее и начался весь этот дурацкий «максимализм».

Ничего, ничего не показывать наружу, твердил себе Андрей. Если Слон подойдет в перерыве — а он подойдет как пить дать, — идти на контакт. Не сразу кидаться в объятия, а так, немного подаваясь вперед... Конечно, плохо, конечно, нужно их участие, и вообще многое передумал за это время... Но пусть Слон первым идет навстречу. Только ни в коем случае не выдавать истинное. Иначе все попусту. Если поймет мое истинное к ним — все пойдет насмарку. А потому взвешивать каждое слово. Не так, как тогда, весной...

В сотый раз вспоминая ту ссору, разбирая ее на составные части, как детали пылесоса, Андрей видел ясно, почему все произошло так, а не иначе; в чем он ошибся и как надо было поступить, чтобы не ошибиться. Ведь последствия ошибки оказались очень скверными для него — так он считал сейчас, — последствия именно той ошибки, а не жизни, которую он вел и которая подготовила его к этой «ошибке», сделала таким, что он должен был совершить не ее, так другую, подобную. Почему все произошло так? Потому что. Потому что — потому...

Потому что ярко светило солнце. Потому что была весна. Потому что зашли домой вместе с Натальей, впервые вместе зашли, в отличном настроении оба. Потому что завтра у нее день рождения и она пригласила его, Андрея, а Витку Смородникова не пригласила; потому что, наконец, еще кое-что стало у них ясно... Ни в коем случае нельзя было приводить ее домой, ни в коем; должен был сообщать, что Слон может оказаться дома...

Потому что Слон оказался дома, заинтересовался само собой, стал расспрашивать о том о сем, поглядывая на нее с любопытством. В присутствии Натальи Андрей не мог разговаривать со Слоном

привычно, «между строк», да и настроение было очень хорошим — расслабился, размяк, — стал говорить в открытую. Поначалу Слон вел себя доброжелательно, а у них было легко на душе и хотелось поделиться с кем-то радостью, и они, как глупые рыбы, заглатывали приманку, которую он им подкидывал. Они принимали все за чистую монету и даже намекнули Слону, что сегодня у них произошло что-то важное... Господи, олухи царя небесного — он, Андрей, олух!.. Он, олух, еще помог Слону взять нужный тон и, когда Наталья вышла из комнаты, попросил у него два рубля, чтобы вечером отправить ее домой на такси, — они были вместе почти сутки и истратили все наличные деньги. Слон сказал: потом, может вернется, поговорим; она уехала в поликлинику.

Выяснив все, что его интересовало, Слон стал говорить прямо. Он сказал для разгона — в этом-то и помог ему Андрей, обратившись с просьбой, — что в его время молодые мужчины умели обеспечивать свои потребности, любые. В первую очередь они умели обеспечить себя и свою семью, то есть законную жену и детей. И еще физиологические потребности. Но при этом молодые мужчины не водили девок домой, не проявляли свое половое влечение на людях — наоборот, делали это по возможности тихо, стараясь скрыть постыдное, и, уж конечно, не показывали родственникам, не расстраивали мать, слава богу, что ее еще нет дома... А два рубля он готов дать, — добавил Слон, растягивая карман пиджака, — но только в конце, перед тем как она уйдет...

Наталья не сразу поняла, о чем идет речь, и поглядывала на Слона удивленно, широко открыв глаза. Она часто переводила взгляд на Андрея, все еще не понимая, но когда Слон сказал, что платя девок в общем-то не изменились и что проститутки носили такие же платья, как у нее, — стремительно встала и ушла, даже не обернувшись на Андрея, который вскочил с места, опрокинув стул. Андрей, расвирепев, двинулся на Слона, но тот взял толстую палку с сучком, с которой ходил на прогулки, и сказал очень спокойно: «Давай, кобель...» — и прибавил какое-то слово, которое Андрей даже не знал, но догадался о смысле — старое, забытое совсем слово. И Андрей швырнул стул в стену, а сам ушел и несколько дней не показывался и не звонил, но Наталья так и не простила его, и в конце концов он «оставил ее в покое» и не приставал с извинениями, не пытался больше помириться, а напоследок, прощаясь, выдал ей примерно то же слово, которое слышал от Слона, то же по смыслу, но — современное и женского рода. А вскоре вернулся домой. Он вернулся уже другой, со своим «заработком»: встреча с Лугаевым состоялась.

3.

Людей, сидевших в большом зале на совсем разных местах, разморило. Родственники и близкие подсудимых давно перестали волноваться и сидели, вяло обмахиваясь газетами и платками. Адвокаты, изнывая от жары, обмахивались бумагами и лениво перешептывались между собой; изредка они склонялись к своим «досье» и делали пометки карандашом. Полный пожилой прокурор давно снял очки и без конца пил воду, и графин, стоявший на столе прокурора, был пуст на две трети. Даже подсудимые перестали слушать судью с прежним вниманием. Конюхова все читала обвинительное заключение.

Солдатам конвоя, прибывшим в суд в уставных кителях «пш» — из полушерстяной ткани, — было хуже всех, и старший лейтенант, начальник конвоя, решил чаще менять смены. Он регулярно выходил из зала через служебную дверь и возвращался несколько, прогуливаясь до «караулки» и до буфета и выкуривая две сигареты подряд. Его помощник, сержант, сидел на стуле, у двери общего выхода, рядом с конвойным, и редко поднимался со своего места.

Солдатам тоже тяжело, подумал Прошников, глядя на блестевшие от пота лица конвойных. Солдатам всегда нелегко приходится, служба у них... Когда ж судья перерыв сделает?..

Последние несколько минут Прошников чувствовал себя неважно. Внутреннее состояние, настроение, напротив, улучшилось от всех предыдущих мыслей; теперь он смотрел на дело более оптимистично. Но неподвижное, почти часовое сидение в душном зале сказывалось, покалывало в груди основательно. Хотелось дышать свежим воздухом и выпить свежей воды.

Ладно, подумал Прошников, если судья через пять минут не сделает перерыв, я сам его сделаю, для себя. Выйду и погуляю по коридору и постою у открытого окна на сквознячке... Наверно, выпустит меня солдат. А если обратно в дверь не пустит — не беда, с другими зайду, после перерыва. Перерыв все равно скоро будет. Должен быть. Интересно, о чем судья думает? Ведь не одному мне тяжело, может, еще у кого сердце слабое? О чем она думает?..

Конюхова сейчас не думала ни о чем. С трудом перелистывая сухие страницы и беспрерывно прихлебывая воду из стакана, который наполняла ей секретарь Валя, Конюхова полностью сосредоточила свое внимание на работе. Сейчас она выполняла обязательную, тяжелую, бессмысленную отчасти работу — читала толстый том, потому что обязана была его прочитать сама, одна, до конца и по возможности быстрее. Быстрее, чтобы, закончив процедуру, приступить к делу по существу. Бессмысленность процедуры была в том, что и подсудимые, и прокурор, и адвокаты имели точно такие же тома того же обвинительного заключения, только другие экземпляры и, в сущности, все заинтересованные в первую очередь лица могли ознакомиться с материалами дела раньше, а незаинтересованные в первую очередь, не имевшие их, все равно не успели бы ничего записать, потому что Конюхова читала быстро. Впрочем, она не задумывалась над этим сейчас: не было времени, да и бесполезно задумываться — таков порядок. Она просто знала, что ей надо читать полтора часа без перерыва и успеть сделать намеченное на сегодня, чтобы дело не затягивалось дальше. Оно затянулось с самого начала. Приступили к слушанию позже назначенного срока; болели два адвоката — нельзя было начинать без них, потом заболел подсудимый. Потом один адвокат выздоровел, а другого заменили, и подсудимый выздоровел, но заболел прокурор; вообще, Ларионов больной, старый, недавно перенес инфаркт. Конюхова не любила эти крупные процессы, потому что, когда нужно было собрать в суде многих людей сразу, в силу обязательно вступал закон больших чисел, — то один человек заболевает, то другой. А закон, которому служила Конюхова, юридический закон, требует их присутствия. Время идет. Сколько стоит, например, одна «пустая» доставка в суд подсудимых — скажем, бензин для грузовиков в оба конца? Ведь в каждый грузовик положено усаживать всего несколько человек, а еще конвой... Не будем считать, что подсудимых кормить

надо обедом здесь, в суде, и конвой кормить надо, и зал все это время простаивает пустую, и ей, Конюховой, государство зарплату платит, и Ларионову платит, и Вале платит, и многим еще... Сколько ж этого набирается, того, что «не будем считать?...».

Адвокаты не в счет, им клиенты оплачивают соглашения; государство вроде ни при чем...

Конюхова догадывалась, что процесс будет долгим и тяжелым. Но главное — обидно было, что трудности и сроки разбирательства фактически не зависели от сложности дела. Почти все обвиняемые признавали свою вину, и линия адвокатов, как и предполагала Конюхова, была одна: по возможности снизить общую сумму хищения. Перейти на другую статью, конечно, не удастся, но все-таки как-то снизить... А это значит: беспрерывные ходатайства о вызове дополнительных свидетелей, о повторных экспертизах, в основном бухгалтерских, а кроме того, среди подсудимых есть люди, которые будут играть под неменяемых, — все это Конюхова тоже предполагала. Ведь положила руку на сердце подсудимым очень выгодно, чтобы суд тянулся как можно дольше. Адвокаты, которые по соглашениям, понятно, хорошо зарабатывают в эти длинные-длинные процессы, но ведь подсудимые тоже не дураки и знают, что время, проведенное под стражей в период суда, идет им в общий зачет, и еще знают, что условия жизни большинства из них сейчас много легче тех, что будут после приговора. Словом, очень-очень многие заинтересованы в том, чтобы процесс был долгим. А не заинтересовано — государство, потому что оно оплачивает все это.

Конюхова была профессионалом и отдавала себе отчет, что дело и так сократили, отделив от него хищения на заводе-поставщике, выделили в отдельное производство и направили по подсудности в другой район. Будучи профессионалом, она знала еще кое-что о многом же догадывалась. Например, о том, как проводилось предварительное следствие, как «отсекались» свидетели. Ознакомившись с материалами, она уже поняла: если бы свидетели не «отсекались», если бы все замешанные в хищении были привлечены к уголовной ответственности, «дело ликеро-водочного завода» разрослось бы настолько, что теперь предварительное расследование не завершилось бы и наполовину. Если бы следствием были взяты под стражу все, кого следствие имело право взять под стражу, свидетелей не осталось бы вовсе, а были бы одни обвиняемые. И все-таки Конюхова собиралась привлечь к ответственности некоторых из тех, что проходили по делу пока свидетелями. Просто не могла не привлечь их. Но чтобы заняться наконец работой, которой — непочатый край, ей надо сначала закончить процедуру, а значит — читать и читать, и не задерживаться, не нарушать график, и делать перерывы, как она запланировала — через девяносто минут чтения...

«Она еще долго читать будет, — думал Прошников, глядя в спину Андрея. — У нее тоже начало, с нее спрашивают...» Рубашка Андрея на спине была мокрой и продолжала темнеть на глазах. «Лицо-то какое у него было... Устал сидеть — время посмотрел. Конечно — даже платка нет, утереться нечем. А меня снова вроде не заметил. Притворяется. Стыдно...»

Прошников в очередной раз опустил руку в карман, за платком, и ощутил прилипшие к пальцам крошки чего-то. Он поднес руку к глазам, потом снова опустил в карман и вынул маленькую белую пачку с голубой надписью: «Дымок». Он прочитал

название и кашлянул сердито, но не убрал пачку, а продолжал держать в руке.

Прошников бросил курить очень давно, врачи не позволяли; сказали прямо: или папиросы, или... Эту пачку он купил случайно, сегодня утром по дороге в суд. Остановился у ларька, возле метро, и подумалось: наверно, нету у Андрюшки сигарет, давно кончились... Купить?... И купил, не удержавшись, хотя потом, в метро, сердился на себя за эту проявленную слабость. Ведь сам решил: первые дни — никаких разговоров с Андрюшкой, никаких передач...

Но сейчас ему было приятно чувствовать в руке эту маленькую белую картонку, из которой немного высыпался табак при встряхивании. Пачка как-то приближала его к Андрею, была посредником между ними, и Прошников еще раз взглянул на нее и бережно убрал туда же, в правый карман брюк.

Неважные сигареты купил, подумал он, сыплются... Ничего, если все пойдет по-хорошему, правильно, мать ему еще принесет, получше сигарет. Тем вон, его соседям, заграничные приносят. Пусть и ему мать принесет, хороших...

Он вдруг понял, что заповеди были нарушены, все; Прошников чувствовал, что еще немного — и он решится сам передать сигареты Андрею, даже помолвиться с ним словечком, тоже успокоить, мол, не все так страшно, будем действовать с адвокатом, поможем... Полностью отменялись все запреты и ограничения, которые Прошников накладывал на себя, обдумывая дома свое поведение здесь. И еще чувствовал, что сам рад отмене этих запретов, рад, что может позволить себе разговаривать с Андреем нормально. Ведь в конце концов кто мог знать, что все так обернется, успокаивал, утешал и оправдывал себя Прошников. Ведь Андрей, может, вообще здесь ни при чем? Меньше всех виноватый...

Попробую передать, решил он. Только тогда мне нельзя сейчас выходить. К нему в перерыве могут пустить. Как перерыв объявят — сразу попробую подойти...

Судья наконец отложила в сторону том и сказала: — Объявляется перерыв на пятнадцать минут.

В этот момент Андрей снова обернулся, но уже не к часам, а к Прошникову, и они встретились глазами. На лице Андрея мелькнуло выражение очень многих чувств, разом, но Прошников не уловил этого. Прошников оказался не готов к этой заочной встрече глазами, он думал, судья закончит читать еще не скоро, и посмотрел на Андрея по инерции, как планировал раньше, — довольно хмуро. А тот, напротив, улыбнулся ему в ответ, и выражение застывшей улыбки осталось, когда Андрей поворачивался обратно. Прошников разобрал только эту улыбку и подумал: жалкий какой... надо идти, попробовать... В груди закололо сильнее. Прошников поднялся вместе с другими и стал пробираться к выходу, нащупывая пачку в кармане.

4.

«Н еотложка» приехала ночью, но забирать не стала; Прошникову сделали укол, и он заснул. Проснулся поздно, после двенадцати, и впервые не узнал Мюду, и она сначала повторяла тихо: папа, это я, твоя дочь, папа, я Мюда, Мюда я, папа, — твердила громче и громче, а потом просто стояла, молча, и слезы падали на ковер. А Прошников лежал мокрый от пота и не мог по-

нять, кто эта пожилая женщина в глухом темном платье, и что она делает у его кровати, и почему плачет и не может позвать его дочь Мюду. Он помнил события вчерашнего дня отчетливо, до малейших деталей, и как судья объявила перерыв, и как он встал и подошел к офицеру, начальнику, и, смущенно улыбаясь, попросил передать пачку сигарет внуку. И как офицер усмехнулся, и ощупал пачку, и, перегнувшись через барьер, протянул Андрею.

Андрей взял пачку и поблагодарил Прошникова с той же застывшей улыбкой: спасибо... А Прошников ласково погрозил ему пальцем и сказал с укоризной: «Паршивец...» Он сказал это мягко, и не для Андрея, а больше для офицера, начальника, который стоял рядом и оказал ему услугу. Но реакция Андрея оказалась неожиданной, видно, нервы сдали от жары: он весь затрясся и, рванувшись к Прошникову, швырнул в него пачку и крикнул, громко, на весь зал: «Что тебе надо, убирайся отсюда, что тебе еще от меня надо?..» И солдаты, схватив Андрея, вывели его из зала и, видимо, сделали больно рукам, потому что лицо Андрея кривилось, когда его выводили. А Прошников машинально вышел и машинально побрел на остановку, без мыслей, пустой, как автомат, и ехал в троллейбусе и в метро, как автомат, и пришел домой с этой непрекращавшейся, тупой ноющей болью в груди. Лег на кушетку, не сказав дочери ни слова, но потом отпустило, рассказал все, мучась сам и ничего не понимая; рассказал, потому что не мог не рассказать. И боль вроде утихла, а ночью стало совсем худо и вызывали врачей — он помнил это, — и врачи сделали укол, а дальше был полный провал... И сейчас, метаясь в кровати, он знал точно, что дома они вдвоем с Мюдой, потому что Андрея нету, он там... но вот дочери как раз — Мюды — не было, и он не подпустил близко эту седую старуху, а один раз крикнул: «Старуха, уходи!..» Показалось, что она хочет накрыть ему лицо чем-то белым. И старуха вправду исчезла, выскочила из комнаты, но тотчас вернулась, и он еще долго звал дочь, но старуха так и не привела Мюду, и в конце концов он устал звать и заснул обессиленным. Мюда Андреевна решила не переодевать отца — его почему-то напугала пижама — и, чтобы не будить, накрыла сверху вторым одеялом.

Прошников открыл глаза, когда окна были зашторены и в комнате снова горел ночник. Дочь сидела в кресле напротив и вязала.

Он улыбнулся и сказал:

— Долго я спал, Мюда?

Мюда Андреевна тоже улыбнулась отцу.

— Долго, папа. Почти сутки. Может быть, ты уже покусавшись?

— Пить хочу... — Прошников взял с тумбочки стакан с питьем и сделал несколько глотков. Потом продолжил с той же улыбкой: — А мне сон снился, Мюда. Хороший... Мне детство снилось...

Мюда Андреевна встала.

— Может быть, все-таки покушаешь?

— Сказал, не хочу... — Прошников поморщился. — Ты не перебивай, слушай. Я рассказываю...

Мюда Андреевна вздохнула и опять села в кресло. Лицо Прошникова постепенно прояснилось. Он смотрел в зашторенное окно, прямо перед собой.

— Я тогда в городе жил, на Терентьевской, у дяди своего Сергея Митрофановича. Меня из деревни в подмастерья отдали к сапожнику Комарову. На Терентьевской, на самом верху, на четвертом эта-

же квартира... А рядом в комнате жил городской Трохин с женой. Жена у него пила, она была купеческая дочь. Он бить ее боялся и только в комнату запирали на ключ. Как-то забыл запереть, и она пошла разгуливать по коридору. Я попался, мальчишка. Она затаскала меня к себе, а тут Трохин со службы вернулся, обедать. Так мне по шее наkostenяла... А я подстерег утром, когда он в участок шел мимо склада, и кирпичами его закидал с чердака. Он потом неделю отлеживался... — Прошников тихо засмеялся, и Мюда Андреевна тоже постаралась улыбнуться, чтобы сделать отцу приятное. А Прошников вдруг перестал улыбаться и сказал очень серьезно: — А может, ничего, Мюда? Может, пройдет у него это? Может, и я таким был?..

Мюда Андреевна отвернулась. Она поняла хорошо, о ком говорил отец. Но она не хотела сейчас сама думать о сыне, запрещала себе думать о нем. Ей хватало мыслей об отце. Она сказала без всякого выражения, просто, чтобы не молчать, а ответить ему:

— Может быть, папа. Может быть, ты прав...

Я не хочу, думала она, я не буду сейчас вспоминать об Андрее. Потом когда-нибудь, скоро, но не сейчас. Сейчас я должна думать только об отце. Обязана — только о нем. Я просто не могу думать еще о ком-то...

«Должна», «обязана» — это были «киты», на которых строилась жизнь Мюды Андреевны Прошниковой. Сейчас, впрочем, ей не удавалось забыть о сыне, и она не хотела признаться себе в этом. Но вместе с мыслями об Андрее к ней приходил страх. В глубине души она побаивалась и не понимала обоих, особенно последнее время, когда Андрей стал старше. Бывало, во время ссор дед и внук ругались и топтали друг на друга ногами — до чего похожие оба!.. Мюда Андреевна не уставала удивляться этой похожести двух мужчин, ее отца и ее сына, помыслами о которых была наполнена жизнь. Вернее, в помыслах об этих двоих состояла ее жизнь, потому что Мюда Андреевна была добросовестным инженером, исполнительным и обязательным работником, но — не более того. Работа никогда не занимала в ее жизни даже трети места, отведенного этим двум людям, молодому и уже совсем старому. Они, правда, в свою очередь, относились к ней по-другому, совсем не так, как она к ним, и уж, конечно, не так, как хотелось бы ей самой. Мюда Андреевна обладала достаточно трезвым умом, чтобы понимать это и не переживать, не расстраиваться, принимая вещи такими, какие они есть, как данность. Да, все это правда, к сожалению, но многие женщины были лишены того, что имела она, и поэтому нельзя считать, что ее жизнь сложилась неудачно, плохо, — нет, вовсе не плохо, отнюдь... И даже в худшие минуты, когда все вокруг казалось унылым, будничным, серым, как старая кофейная плитка над раковиной в кухне, Прошниковой не приходило в голову хоть как-то изменить свою жизнь. Она привыкла жить с отцом, сильным человеком, у которого, конечно, тоже есть свои слабости — у кого их нет? — она привыкла жить вместе с ним, с детства прислушиваться к советам и поступать, как советовали, — привыкла жить с ним, как за каменной стеной. Конечно, последние дни он сильно сдал, но возраст — что поделаешь? — это естественно, надо делать скидку на годы. А вообще с ним просто и легко, потому что он прав всегда, во всем, и не надо думать самой, потому что он думает и за нее и оказывается всегда правым. И даже тогда, очень давно, в том разговоре отца с мужем — а разговор-то и послужил толчком к разво-

ду,—тоже был прав отец, хотя ей поначалу было трудно понять это, и оставалось очень тяжело на душе, и показалось в какой-то момент, что каменная стена, за которой она жила всю жизнь, дала трещину. И, между прочим, не надо думать о сыне сейчас, расстраивать себя мыслями о нем, именно потому, что отец уже как-то объяснил происшедшее с Андреем, точнее, делает пока попытку объяснить это и, наверно, правильно объяснит со временем, как всегда. Хотя опять-таки сейчас он уже стар и порой объясняет все не так верно, как раньше. Но усомниться нельзя, тогда слишком во многом можно усомниться, в целой жизни можно усомниться, в правильности ее, прожитой, а это невозможно, нет, нет, нельзя... Нет, нет, нельзя, и об Андрее думать нельзя, вот к чему приводят эти мысли, сейчас — только об отце, только о нем, главное, чтобы поправился, тогда все будет в порядке; у него уже бывали приступы и проходили, и на этот раз должно обойтись, обязательно, надо убедить себя, обязательно должно обойтись и на этот раз, иначе я не знаю, что будет, не знаю, как потом, ничего не знаю...

— Что, папа, что ты? — Мюда Андреевна склонилась над кроватью, испуганная каким-то неясным выкриком.

Прошников лежал на спине, прикрыв глаза, и не пошевелился, услышав слова дочери.

— Что, папа?..

— Ничего, думаю... — отчетливо сказал Прошников, не открывая глаз, и Мюде Андреевне опять стало страшно.

...Он давно уже вспоминал что-то и не мог вспомнить, а потом забыл, что именно хотел вспомнить. Затем его прихватило, очень сильно, и снова отпустило, и делалось легче, легче, и наконец отпустило совсем, только тогда он вспомнил.

Сейчас он видел себя молоденьким парнем, уже не мальчишкой, а крепким пареньком в старых отцовских сапогах, которые промокали даже от снега, и, входя в дом — в любой, к товарищам или на работу, — он первым делом разувался и ставил сушить сапоги к печке и вешал портянки, а если печки не было, просто разувался и грел ноги в тепле. Он недавно вернулся опять в город из деревни и хорошо знал, чего хочет, и желаемое было достижимым и очень-очень легким: вот оно, твое, бери его и учись, работай, живи. И была сила внутри, даже избыток ее, острого молодого желания, чувства, возможности, своей способности, которую ощущаешь: «могу все...» Да-да, это он тот вечер вспоминает... Последнюю встречу с отцом... Только то раньше было; назад-назад, на несколько дней... Отъезд из деревни... Да, вот оно... Последний раз виделись с Сергеем Митрофановичем... Сидели за бутылкой самогонки, и отец пьяно бубнил, ударяя по столу кулаком: если уедешь, Андрюха, если не порвешь с ними, знай — нету у тебя отца. И матери нету и дома. И дорогу сюда забудь... Потому что ты к ним хочешь, с ними быть, а они бога не боятся... Я боюсь бога, и мать боится, и все люди бояться должны... А ты молодой еще, дурак, чего понимаешь-то?.. И они ругались, и в конце он все-таки ушел, и они вдвоем с Митькой Захаровым, вторым комсомольцем их деревни, пешком добрались до станции и уехали в город, а потом, через два месяца, он узнал случайно от односельчанина, что кулаки спалили их хаты, его и Захарова, а отца, Семена Митрофановича, который не давал палить, зарубили топором...

Прошников открыл глаза.

— Мюда, принеси телефон.

Мюда Андреевна стремительно поднялась и нагнулась к отцу.

— Как ты себя чувствуешь, папа?

Прошников повторил громче:

— Принеси телефон. Надо позвонить, узнать.

— Кому позвонить, папа?

— Телефон давай, поняла? Адвокату буду звонить...

Мюда Андреевна вышла из комнаты. Когда она вернулась, Прошников уже сидел в кровати. Он дышал глубоко, будто запыхавшись от долгого бега, потом дыхание выровнялось. В открытую дверь на балкон было слышно, как соседка по этажу призывает своего кота:

— Федюра-Федюра-Федюра-Федюра... — мелодично пел голос.

— Закрой эту дверь, — сказал Прошников, ставя телефон себе на колени.

Мюда Андреевна улыбнулась, вздохнула и подумала с облегчением: «Слава богу...»

— И поесть сделай, пожалуйста. Я проголодался...

Она пошла на кухню спокойно, но ей хотелось плясать. Стало ясно наконец, она поняла все правильно: Прошников выздоравливал.

БЕЛЛА
АХМАДУЛИНА



☆☆☆

Сирень, сирень,— не кончилась бы худом
моя сирень.

Боюсь, что не к добру
в лесу нашла я разоренный хутор
и у него последнее беру.

Какое место уготовил дому
разумный финн!

Блеск озера слезил
зрачок, когда спускалась за водою
красавица, а он за ней следил.

Как он любил жены златоволосой
податливый и плодоносный стан!
Она, в невестах, корень приворотный
заваривала — он о том не знал.

Уже сынок играл то в дровосека,
то в плотника, и здраво взгляд синел,—
все мать с отцом шептались до рассвета,
и все цвела и сыпалась сирень.

В пять лепестков она им колдовала
жить-поживать и наживать добра.
Сама собой слагалась Калевала
во мраке хвой, вокруг светлого двора.

Не упасет неустрашимый Калев
добротной, животворной простоты.
Все в бездну огнедышащую канет.
Пройдет полвека. Устоят цветы.

Душа сирени скорбная витает —
по недосмотру бывших здесь гостей.
Кто предпочел строению — фундамент,
румяной плоти — хрупкий хруст костей!

Нашла я доску, на которой режут
хозяйки снедь на ужинной заре,—
и заболел какой-то серый скрежет
в сплетенье солнц, в дыхательном ребре.

Зачем мой ход в чужой цветник вломился!
Ужель, чтоб на кладбище пировать
и языка чужого здравомысль
возлюбленную речью попить?

Нет, не затем сирени я добытчик,
что я сирень без памяти люблю,
и многоголосен стал ее девичник
в сырой пристройке, в северном углу.

Все я смотрю в сиреневые очи,
в серебряные воды тишины.
Кто помышлял: пожалуй, белой ночи
достаточно — и дал лишь пол-луны!

Пред-северно, продольно, сыровато.
Залив стоит отвесным серебром.
Дождит, и отзовется Сортавала,
коли ее окликнешь: Сердоболь.

Есть у меня будильник, полномочный
не относиться к бдению иль сну.
Коль зазвенит — автобус белонощный
я стану ждать в двенадцатом часу.

Он появляться стал в канун сирени.
Он начал до потопа, до войны
свой бег. Давно сносились, устарели
его крыла, и лица в нем бледны.

Когда будильник полночи добьется
по усмотрению только своему,
автобус белонощный пронесется —
назад, через потоп, через войну.

В обратность дней, вспять времени и смысла
гремит его брезентовый шатер.
Погони опасаясь или сыска,
тревожно озирается шофер.

Вдоль берега скалистого, лесного
летит автобус — смутен, никаких.
Одна я слышу жуткий смех клаксона,
хочу взглянуть в лица седоков.

Но вижу лишь бескровный и зловещий
туман обличий и не вижу лиц.
Все это как-то связано с зацветшей
сиренью возле старых пепелищ.

Ужель спешат к владениям отцовским,
к пригожим женам, к милым сыновьям!
Конец июня: обоняньем острым
о сенокосе грезит сеновал.

Там — дом смолист, нарядна черепица.
Красавица ведро воды несла —
так донесла ли! О скалу разбиться
автобусу бы надо, да нельзя.

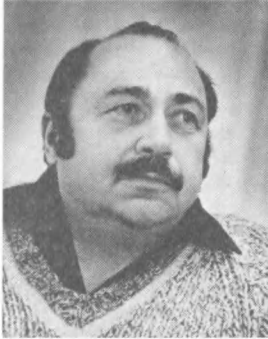
Должна ль я снова ждать их на дороге
на Питкяранту! (Славный городок,
но как-то грустно, и озябли ноги,
я ныне странный и плохой ходок.)

Успею ль сунуть им букет заветный
и прокричать: возьми, несчастный друг! —
в обмен на скользь и склизь прикосновений
их призрачных и благодарных рук.

Легко ль так ночи проводить, а утром,
чей загода в ночи содеян свет,
опять брести на одинокий хутор
и уносить сирени ветвь и весть.

Мой с диким механизмом поединок
надолго ли! Хочу чернил, пера
или заснуть. Но вновь блажит будильник.
Беру сирень. Хоть страшно — но пора.

ГРИГОРИЙ ПОЖЕНЯН



☆☆☆

Е. Ф.

Хотелось бы, чтоб кровь моя
была не вязкой.
Еще бы мне хоть раз в моря
перед завязкой.

Не океанская волна,
и не Бермуды,
не служба жесткая страшна,
а пересуды.

И страшен не лесоповал:
нет выше счастья
сурово знать, за что ты пал.
К чему причастен.

Хотелось бы вернуть свой круг
избытых судеб.
Чтоб рядом — друг.
Напротив — друг.
И будь что будет!

Мы прожили свое не зря.
Не все боялись.
Хотелось бы, чтоб лекаря
не ошибались.

Хотелось бы, чтоб ты пришла,
открыла двери.
И я, как крошки со стола,
смахну потери.

☆☆☆

Р. Ольшевскому

И груб, и не сдержан, и грешен,
и резок, и на руку скор.
И все ж не бываю неспешен,
чтоб чей-то смягчить приговор.
Не брошу подранка, дворнягу
приблудшую не оттолкну.

Чужую беду под присягой
возьму на себя, как вину.
И жизни тяжелую ношу
с немим постоянством бойца
не переложу и не брошу,
а буду нести до конца.
На гребне последнего боя
земной и небесной черты,
легко расставаясь с собою,
я рад, что останешься ты.
Как перед отплытием — сушу,
как море, забвенье свое —
тебе завещаю, как душу,
святое дыханье ее.

☆☆☆

Куда запропастился соловей!
Его братва и в дни войны певала.
А нынче соловья как не бывало,
Хоть сам садись на куст и кольца вей.

И петухам уже не до греха.
Не те харчи, не те, видать, амурь.
Увяли инкубаторские куры,
не топтаны султанством петуха.

И только с незапамятных времен
[ее обычной меркою не мерьте],
одна свинья, с рожденья и до смерти,
являет постоянства эталон.

Ей даже качка в море не страшна.
Слоны режут, закинув хобот яро.
В кровь разрывают морды ягуары.
Свинье — корма. От качки жрет она.

Ужель и здесь божественной рукой
заложена частица состраданья
и за недолговечность и закланье —
даны и постоянство и покой!

На перевале

И никаких дилижансов,
и ни данайских даров.
Нет и не может быть шансов
у отпылавших костров.

Нынче не в моде, не в силе
ни реставратор, ни плут.
Много голов накопили
в паре: Иуда и Брут.

Время по высшему праву
больше не может прощать.
Горькая память и славу
вправе уже очищать.

Мертвых с погоста не несут.
Но, закрепив перевал,
пересекается просо,
чтобы живой оживал.

ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВА



☆☆☆

Вижу все, что будет — ржавый обод
ореол величья моего.
Это не предчувствие, а опыт,
знание жизни — боле ничего.

Ты не удивляйся, дорогая,
видя, как сбываются слова.
Так, в костре вечернем догорая,
в пепел превращаются дрова.

Но неповторимая минута:
все спалив и все предвидя, встать
на ошибке, развернувшись круто,
поскользнуться, как на льду, упасть,

встать и вновь в неведение высоко
рисовать развесистый мираж,
и поить надежду вешним соком,
превращая ветку в карандаш.

Две песни

Идут дожди, волнует воды,
лист клена стынет на волне,
и облаков седые своды
причудливы, как сон во сне.

Цветок сиреневый сияет
и звон прозрачный издает,
но человек не понимает,
о чем цветок ему поет —

свою заводит песню лета
и посылает в облака,
где непонятна песня эта
или не понята пока.

Ничто вокруг не замечает,
собой прожигая дни,
как песня песнь во тьме встречает
и как сливаются они.

☆☆☆

Мы боль, мы не врачи
А. И. ГЕРЦЕН

На рану сыплешь соль,
и раненый не чувствует...
Мы не врачи, мы боль,
которая врачует:
так вывернем себя
в открытом разговоре,
что, наше полюбя,
свое забудешь горе,
иль с ласковым словом,
добытым тяжелой кровью,
перед твоим лицом
прошлестим любовью,
или дадим совет,
советов не давая,
в чем истины секрет,
секретов не зная.
Но кто поможет нам?
Ужели не поможет,
когда нас по ночам
сухая мука гложет!
Мы боль, мы не врачи,
мы не цари, мы царства.
Живи, терпи, молчи —
никто не даст лекарства.

Неспетое стихотворенье

Петру Анастасову

Лежит невыплеснутой чашей
непредсказуемых надежд
не Лондон и не Будапешт,
а Пловдив молодости нашей.
О чем мечтали мы когда-то,
пусть вполнину не сбылось,
но в позднем пламени заката
по небу облаком прошло
неспетое стихотворенье
и за собою позвало,
как молодости повторенье,
предначертаниям назло.
Оно крылом судьбы коснулось,
и стала мне земля тесна,
и я от зрелости очнулась,
как от назойливого сна.

Комета Галлея

Елизавете Багряне

Она кометою стоит
над нами, глаз не опуская,
и хочется сказать сквозь стыд:
— Заря, откуда вы такая!
Когда высокий дух живет
в таком прекрасном смелом теле,
мне кажется, что небосвод
достиг своей желанной цели.

РЕЗО
АМАШУКЕЛИ



Сентябрь

Г. Б.

Каким ты славным был, сентябрь, как длился —
Свисал, как винограда гроздь, тяжел и спел.
И запах лета надо мной все лился, лился,
И догонял, и вот догнал, схватил, успел.
Вот клавиши твои опять в ладонь запали,
И давний тихий нежный звук ответил мне.
Припоминаю я напев, затерянный вначале,
Но проступающий потом в сердечной глубине.
Гляжу, гляжу, не наглажусь, внимаю всей

душою:

Как грива сентября пышна и пышет багрецом!
И музыку, и этот цвет я уношу с собою,
И горы, что позолотил закат косым лучом.

Вот и кончилось...

Вот и кончилось долгое лето,
отсчитав свое время
на солнечном диске.
Скоро я к старым тетрадям уеду,
поезд меня поджидает тбилисский.
Ночь зажигает зеленые звезды,
к лицу приникает
всей громадой лиловой,
тенью за мною повсюду по-свойски
ходит томленье
по жизни той, новой...
На берегу этом жили поэты,
нежные сны положив в изголовье;
я ж перемазался солнечным светом
и переполнился жаркой любовью.
Шторм начинается, море колышет
землю, и волны режут ураганно.
О, наконец-то!
Под пальцами дышит
клавиатура такого органа...

Тициану Табидзе

Дым апрельский окутал сады,
над Орпири
душа потеплела...
И хрустальная льдина стиха
раскололась на сердце моем,
льет и льет золотая капель,
низвергается с водораздела.
Над восторженным детством моим
твое слово взметнулось клинком.
Белых яблонь цветы над ручьем опадают,
весна из теснины,
босонога, в прозрачных лучах
пробегает по теплой земле...
Снова думаю я о тебе,
и, прорвавшись сквозь все карантин,
зааляли гвоздики твои
в белых вазах на нашем столе.
Сколько ты не успел досказать,
докричать, доглядеть, досмеяться...
Все равно благороднейший лавр
на века тебе Грузией дан.
Всем гвоздикам на нашей земле
твои руки прекрасные снятся,
ты вдеваешь в петлицу цветов,
он бессмертен с тобой, Тициан.

☆☆☆

Однообразие города —
толпы автобусов,
автомобилей стада,
потoki людей —
все это душу мою истомило...
О, если бы мне в Имерети сейчас очутиться,
где-нибудь в тени орешника
послушать кудахтанье курицы...
И увидеть солнечно-желтые побеги тыквы,
вьющиеся вокруг деревянной подпорки!..

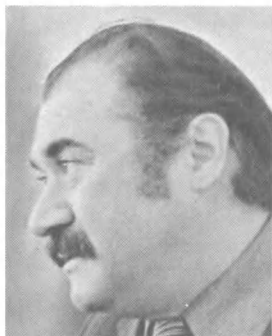
☆☆☆

Цвет серый земной переходит спокойно
в цвет обжига солнечного, в цвет загара.
Здесь начинается Картли¹,
и Грузию здесь ощущаешь сильнее всего.
На выжженном поле
каждая горсть земли меня окликает,
как душа свою плоть.
Красота печальная эта
не спеша наполняет глаза...
...Здесь начинается Картли,
медленно тянется поезд...

Перевел с грузинского
Е. ЧИСТЯКОВ

¹ Картли (Карталиния) — историческая часть восточной Грузии, сердце всей республики

ДЖАНСУГ ЧАРКВИАНИ



Иверия

«Иверия, Иверия», — гранит поет веками,
Но до сих пор, Иверия, так не певали камни!
Стена вершин Иверии полнеба охватила.
Полна такой же синевой мерцающая нива.

Вот Руставели к нам идет и славит Автандила:
— О, чья десница так быстра!
Быстра и не ленива
Она, взрастившая сады.

Вовек во тьму не канет
Народ — создатель красоты,
Запечатлевший в камне
Любовь свою и широту
У вечности в преддверии.
Даруй, создатель, высоту
Иверии, Иверии!

Весна

— Земная
или облачною бездной
Порождена смешливая игривость!
Боготворю и образ твой небесный
И юности твоей неповторимость.

На землю столько родников вернула!
Где раздобыла это многоцветье!
Что спеть тебе, весна!

— Спой «Апа-ула»¹.
Грусть убежала, грусти нет на свете.
— До января тебе какое дело!
Февральским днем не лучше ли встретиться!

Веснушчатая, ты затяжелела,
Сосцы твои набухшие сочатся.
Весною ранней ждал тебя, не скрою,
Но ты еще зимой ко мне прильнула.

— Так думал бы! Студеною порою
Не ты ли напевал мне «Апа-ула»!!

Желание

Довольно. Всё. Не внемлю никому:
Годами слушал — надоели как вы!
Пожить бы напоследок одному
В тиши предгорий, у реки Арагвы.

Иметь бы клочок земли на берегу,
Дышать бы тишиной необходимой...
Что говорил! Что завтра изреку!
Лишь то, что знаю о земле родимой.
Чего не знаю — того не знаю.

Вардзия

Раб, но слышится голос,
Преисполненный силищи, —
Рати Эристави
Вновь преподносит дар:

«Постарался и росписью
Изукрасил святилище —
Этот храм величия
Твоего, Тамар»¹.

Клянусь братством...

Пронесется года,
Но устали и лени
Не знают, как тогда,
Ни плечи, ни колени.

Стяг веры посвятил
Полям, родным навеки.
Что кровью оплатил —
Спустил за три копейки.

Немел. И отмерял
Добро золотниками.
В строку вливал металл,
Считая сталь стихами.

Но — братством поклянусь! —
Предчувствую заране:
Уйду — не оглянусь,
Не расскажу о ране.

Но, горы — отчий дом,
Я не расстанусь с нею.
...О чем скорблю — о том
Скорблю, а не жалею!

Перевел с грузинского
Я. ГОЛЬЦМАН

¹ «Апа-ула» — «Пошли-поехали» — грузинская народная песня

¹ Царица Тамара.

ЮРИЙ
ЯКОВЛЕВ



ФАНТАЗИЯ-БЫЛЬ

САМАНТА

Глава первая

Ж

ила-была девочка.

Сколько необыкновенных историй начинается этими обыкновенными словами: жила-была девочка. Была похожа на своих подруг и мало чем отличалась от других девочек, живущих на свете. Но вот девочка совершила поступок, на который решится не каждая, и ее жизнь вызвала общий интерес.

Всем вдруг стало интересно, кто ее родители, как выглядит ее дом, кто ее любимый писатель и кем она собирается быть, когда вырастет, умеет ли плавать, как зовут ее лучшую подругу, есть ли у нее собака.

Потом люди захотят узнать ход ее мыслей, захотят понять, что привело ее к поступку, который поразил всех. И не отступила ли она, когда жизнь неожиданно стала сложной и у нее так рано появилась ответственность перед людьми. Ведь оттого, что жила-была такая девочка, что-то изменилось в жизни людей...

1.

Кончалось лето. Августовское утро было свежим. И маленькие паучки-связисты от дерева к дереву тянули свои провода-паутинки, словно спешили передать по телефону известие о том, что лето кончается.

Серо-голубое небо было высоким, многоярусным, оно притягивало к себе, как на высоте притягивает земля. Когда задувал ветер — теплый, вполсилы, — шуршал сухой дождь пожелтевших листьев. И казалось, листья сыпались не с деревьев, а из глубин неба.

И вдруг — удар.

Принесли газеты. Среди множества сообщений — маленькая заметка. Ее вполне можно было не увидеть, пропустить. Но она попала в глаза:

«Нью-Йорк, 26. (ТАСС). В аэропорту Оберн-Льюистон (штат Мэн) при заходе на посадку потерпел катастрофу самолет американской авиакомпании «Бар харбор эйрлайнз». Как сообщило агентство ЮПИ, находившиеся на борту восемь пассажиров и членов экипажа погибли. В их числе — 13-летняя американская школьница Саманта Смит и ее отец Артур Смит...»

Я прочел эти строки — и сердце похолодело.

Фотографии из книги
Саманты Смит
«Путешествие
в Советский Союз».

Журнальный вариант

Кончилось лето. Небо сделалось низким и скучным, как потолок. Паутинки повисли, словно сорванные провода... Мне показалось, что произошло стихийное бедствие вроде землетрясения или цунами. От Оберн-Льюистона, как от эпицентра беды, начали расходиться разрушительные волны — по всей земле, во времени и пространстве. Они мчались в будущее и возвращались в прошлое.

Самолет летел из Бостона в Огасту, но был по неизвестным причинам направлен в аэропорт Льюистона, где взорвался при посадке в ночное время. Что это за неизвестные причины? Почему изменили маршрут? Почему самый надежный самолет вдруг взорвался? Сколько времени эти вопросы будут мучить людей? И найдут ли они на них ответы? Когда случается беда, люди всегда ищут виновных.

Саманта. Сэмми. Она улыбалась мне с экрана телевизора, а я в ответ улыбался, я разговаривал с ней, я рассказывал о своих маленьких друзьях, о Насте, о собаке (у Саманты были собака и кошка). Я забывал, что мы по разные стороны экрана и по разные стороны океана и обратной связи не было.

Была обратная связь! Известно, что читатели тянутся к полюбившимся писателям. Но никто не знает о том, как мучительно и вечно писатель тянется к своему читателю, к своему герою. Это влечение напоминает вечную любовь Петrarки. Я тянулся к Саманте, хотя она наверняка не была моей читательницей, но неожиданно стала моим героем.

Ах, тонкие провода-паутинки не выдержали страшного извещения, сгорели.

Теперь мысль о Саманте неотступно следует за мной. Я иду по ее следам. Они еще не остыли, я чувствую их тепло. Я собираю все, что известно о ней. Я пытаюсь мысленно поставить себя на ее место и пережить то, что пережила она. Образ Саманты живет во мне, и я передам его людям, чтобы каждый добавил к нему хоть толику своего тепла, ведь жизнь Саманты может быть продолжена только жизнью миллионов.

«И еще я боюсь», — говорила Саманта, — что следующий день будет последним днем Земли».

Земля осталась на месте — не стало Саманты.

2.

Я представляю себе, как Саманта бежит по лужку и высокая трава, словно собака, трется о ее ноги. Каштановые, пахнущие солнцем волосы разметались от бега и закрывают лицо, и девочка встряхивает головой, чтобы отбросить их назад. Большие глаза наполнены небом, длинные реснички вздрагивают, как веточки. От частого дыхания рот полуоткрыт, два верхних зубика чуть крупнее остальных.

На девочке белая майка с пеликаном на груди и потерянные замшевые шорты. На коленках ссадины едва зажили, покрылись корочкой, будто сургучом.

Девочка гонится за стрекозой.

Стрекоза то взмывала вверх, то стремительно падала, и ее слюдянистые крылышки блестели на солнце. И тут за рощей послышался дробный звук, похожий на шум мотоцикла, и из-за зеленой кущи вместо стрекозы выскользнул легкий спортивный самолетик. Глаза Саманты сразу загорелись. Девочка вспомнила, что у нее в руке сачок, и замахала им, словно хотела накрыть желтым колпаком огромную стрекозу. Ей вообще часто приходили в голову разные фантазии.

А тем временем самолет снизился, и по траве пошли зеленые волны. Он летел так близко к земле,

что были видны блестящие крышки, ручки, разные винтики. Девочка решила — с самолетом что-то приключилось, он вот-вот выпадет из своей стихии и врежется в землю.

Но шасси благополучно коснулись травы, и самолет, неловко прыгая по кочкам, побежал по лужку. Его прерывистый грохот заглушил птиц и кузнечиков. Наконец он остановился, замер. Только крылья слегка покачивались.

Цветы перестали пахнуть медом, влажная трава утратила соленый дух морской воды. Все поглотил резкий, инородный запах бензина. А на крыле самолета появился худой кривоногий парень в велосипедной кепке с большим козырьком. Он осмотрелся, потер ладонью нос и тут заметил девочку.

— Хелло, герл! — крикнул он.

— Хелло! — Девочка рукой помахала незнакомцу.

Она сделала несколько шагов в сторону самолета и смогла получше рассмотреть пилота. Он был молод, почти мальчик, но под губой у него, как приклеенная, росла жидкая, бесцветная борода.

— Я заблудился, — сказал парень и потрогал бороду.

— Разве в небе можно заблудиться? — удивилась девочка. — Ведь сверху все-все видно.

— Только на земле не написаны названия, — усмехнулся парень.

— Но у тебя есть карта!

— Я не смотрел на карту. Я гнался за рыжим! — ответил он и прыгнул на землю. В красных кроссовках он напоминал девочке гуся.

— За каким рыжим? — спросила девочка. — Он бежал по земле, а ты гнался?

— Нет! Я воображал, что гонюсь за ним! И со злости не заметил, куда залетел. У меня кончается горючее. Где здесь поблизости колонка?

— В двух милях отсюда, — отозвалась девочка. — Только там самолеты не заправляют.

— За деньги и подводную лодку заправят, — ответил бородатый.

Сперва парень, свалившийся с неба, заинтересовал девочку. Но тут он стал неприятен ей. Уже не хотелось помогать. Напротив, появилось желание чинить ему препятствия.

— У нас на колонке работают одни рыжие, — сказала она. — Они не дадут тебе бензина, даже за деньги.

— Откуда они узнают, что я гонялся за рыжим? — воскликнул парень, и голос его сорвался, как бы дал петуха.

— Я им скажу! — Девочка с вызовом посмотрела на бородатого.

Коричневые глаза парня округлились.

— Это почему?

— Потому что мой лучший друг — рыжий. Мы сидим с ним за одной партой. Дуг — самый сильный парень в школе.

Девочка повернулась на одном каблучке и зашагала прочь, размахивая сачком. Сачок ловил ветер и раздувался.

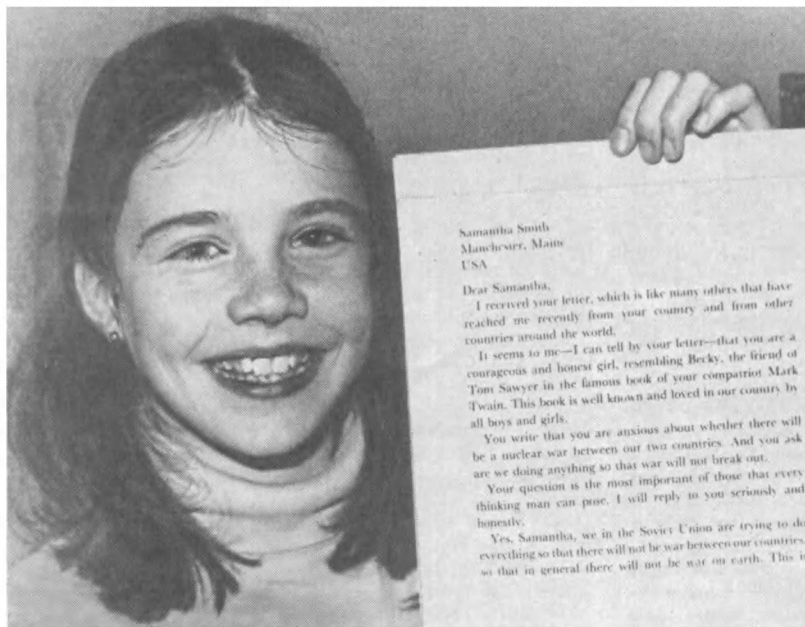
И тогда парень в велосипедной кепке вскопчил на крыло своего самолета и закричал вслед девочке:

— Этот рыжий на моих глазах обнимал мою сестру за плечи! У него и лицо рыжее, все в веснушках, и руки рыжие.

— Ей это не понравилось? — заинтересовалась девочка.

— В том-то и дело, что понравилось! А тебе бы понравилось?!

— Не знаю, — призналась девочка. — Может быть, она любит его?



Саманта с письмом
Советского Президента

Она произнесла эти слова и покраснела... И отвернулась, чтобы он не видел, как она покраснела. А парень продолжал:

— Да! Да! Любит! Но она не должна любить такого рыжего!

Некоторое время девочка молчала, думала, как бы покрепче ответить. И, глядя через плечо, сказала:

— А может быть, я тоже когда-нибудь полюблю рыжего!

И тут парень взорвался:

— Все девчонки дуры! Все девчонки не знают, что делают. Мне не нужна твоя колонка! Мне не нужен твой бензин. Долечу как-нибудь и так! — И вдруг: — Как тебя зовут?

— Саманта! — ответила девочка.

— Я запомню твое имя! Я навсегда запомню твое имя! — закричал парень. — А меня зовут Руди. Рудольф Броннер.

Девочка так и не поняла, зачем этот Рудольф Броннер собирается навсегда запомнить ее имя. Чтобы гоняться за ней по небу до тех пор, пока не кончится бензин?

А Руди уже нырнул в кабину, с шумом задвинул прозрачный плексигласовый колпак. Затрещал мотор. Завертелся пропеллер. И самолетик, переваливаясь с боку на бок, как бы нехотя побежал по буристому полю. А потом плавно отделился от земли и по невидимой лестнице стал взбираться в небо.

И в это время со стороны городка потянулся странный тревожный вой, словно множество сирен старались перекричать друг друга.

3.

Когда усталая девочка вошла в город, он был пуст, как бывает пустым ночью — на улицах нет прохожих, а по мостовой не мчатся машины.

Саманта прижималась к стенам домов, чтобы быть незаметной. Ее охватил страх. Всегда страшно бывает в темноте — сегодня ей стало страшно днем. Она боялась, сама не зная чего. Пустоты.

Саманта шла, вернее, кралась, по пустому городу, и страх все сильнее овладевал ею. Вдруг она увидела, как рядом приоткрылась дверь. Оттуда высунулась рука и мгновенно втащила ее в подъезд. Дверь захлопнулась.

— Это я, — слышался в темноте приглушенный голос, но Саманта не узнала его, потому что когда говорят шепотом, то все голоса становятся похожими.

Неожиданно она почувствовала знакомый, аппетитный запах свежих хамбургеров — булочек с вложенными в них котлетами. У нее потекли слюнки, и она узнала Дуга. После школы он разносил по городу хамбургеры — подрабатывал.

— Это ты, Дуг? — спросила Саманта.

— Это я, Саманта. На, поешь! — И маленький продавец в темноте протянул девочке хамбургер.

— У меня нет с собой денег, — призналась она.

— Ничего, — отозвался мальчик. — Ешь так! Бери!

— Откуда ты знаешь, что я голодна? — спросила девочка и с удовольствием принялась жевать хрустящую булочку с теплой ароматной котлетой. — Скажи, Дуг, что здесь происходит?

— Взрослые играют в войну. Они объявили: «Русские летят!» — и стали всех силой загонять в бомбоубежища. Я-то спрятался.

— Что этим русским надо? — вздохнула девочка.

— Не знаю...

В замочную скважину проник луч солнца, разрезая тьму на две части. Некоторое время дети молчали и наблюдали, как в луче кружатся пылинки.

— Послушай, Дуг, — тихо произнесла Саманта, — я устала от этих взрослых игр. Уж лучше бы началась война: ты бы стал морским пехотинцем, а я санитаркой. И мы бы победили.

— У меня дядя ушел на войну. Он был в командос. Дядя не вернулся. Но нам прислали его зеленый берет. И никто не победил.

— Но если война, кто-то должен победить?
— Зачем?
— Не знаю,— призналась девочка.— Но лучше по-
беждать.

— Лучше не воевать,— ответил рыжий Дуг.— У дяди остались три дочки, мои кузины. Они не виноваты, что кто-то хотел воевать. Им живется плохо. Так плохо, словно их победили!

Дуг замолчал. Ребята стали наблюдать за улицей в щелку приоткрытой двери. Пробежала собака. По камням прыгали воробышки — состязались в беге в мешке. И тут в поле зрения показалась инвалидная кресло-каталка. Она с независимым видом двигалась по самой середине мостовой.

— Смотри, старый солдат Ральф! — воскликнул Дуг.

— Он не боится войны,— заметила Саманта.

— Тем более что война ненастоящая,— усмехнулся Дуг.

— Он и настоящей не боится. Давай позовем его! — Саманта распахнула дверь и крикнула: — Дядя Ральф! Подгребайте к нам!

Каталка остановилась, сделала крутой поворот и оказалась рядом с детьми.

— О! Сэми! — улыбнулся Ральф.— И ты, Дуг! Хорошая подобралась компания. Играете в войну?

— Весь город играет. А мы спрятались.

— От войны не спрячешься.

Дядя Ральф был одет в неизменную, изрядно поношенную куртку. Он казался молодым, но его редкие волосы, усы и короткая щетина-борода отливали серебром. Словно он намылился, но забыл побриться. У него не было ног. Вернее, они были, но не действовали.

«Ноги мне заменили на войне,— обычно горько усмехался он.— Взяли крепкие, а вернули бывшие в употреблении, неподвижные».

Когда же ему говорили: «Вы рано поселились!» — он отвечал: «Потому что поздно поумнел».

Он действительно на всю округу слыл мудрецом.

Но дети любили его не за мудрость, а за то, что он рассказывал сказки и дружил с ребятами на равных. Это взрослым людям редко удается.

И тут Саманта внимательно посмотрела в глаза дяди Ральфа и спросила:

— Почему никто не хочет войны и все готовится к войне?

Дядя Ральф не спеша раскурил свою трубку, которую ему на Эльбе подарил русский друг Иван, и задумчиво сказал:

— Война! Война! Я помню, как было страшно, когда я не узнал лес. Вчера это был прекрасный лес. А на другой день после обстрела лес стал калеккой. Сломанные деревья, обгоревшие ветви, корни черными спрутами застыли над головой. Онемели птицы. Ослепли цветы.

— А люди? — спросила Саманта.

— Люди как лес,— ответил старый солдат.— Я дерево из того леса.— Дядя Ральф любил рассуждать, и никто не мог определить заранее, к какому выводу приведут его рассуждения.— Человек, если делает добро другому, непременно хочет, чтобы об этом знали все. Люди тщеславны. А вы, друзья мои, слышали притчу о солдатской фляге? — спросил он и, не дожидаясь ответа, стал рассказывать: — Семеро солдат тэмились от жажды. И была у одного из них фляга с тремя глотками воды. Он пустил флягу по кругу. И все подносили флягу ко рту. Но когда фляга вернулась к хозяину, оказалось, что вода не тронута. Каждый хотел уступить эти три бесценных глотка товарищу... Настанет вре-



На крыльце родного дома.

мя, когда старая солдатская фляга пойдет по всему миру. И вернется нетронутой. Вот тогда и наступит вечный мир... Эй, Сэми! Как твоя собака? Не принесла щенков? Я куплю у тебя щенка...

4.

Я вглядываюсь вдаль и вижу деревянное крылечко Самантиного дома. Сюда донесут ветры с залива Мэн и с Великих озер, а рядом шумят сосны, словно рассказывают, что когда-то на этом месте стоял вигвам индейцев, горел костер и дымок ввинчивался высоко в серое небо.

А возле первой ступеньки, совсем близко, растет елочка. И когда Саманта была маленькой, раз в году, зимней ночью, Санта-Клаус наряжал эту елочку и клал прямо на снег рождественский подарок.

Я вглядываюсь и вижу: на крыльце появился Артур — отец Саманты. Он высоченный, как баскетболист, и нога у него будь здоров. Глаза у папы глубоко посажены, и кажется, что он щурится, словно от солнца. Черты лица крупные, грубоватые и располагающие. Ветер, тот, что дует с Великих озер, растрепал ему прическу, и на макушке появилось два мальчишеских вихра. И папа старательно приглаживает их, но ничего не получается: они как пружинки. Кроме вихров, в папе сохранилось еще что-то от мальчишки. Саманта это чувствует, и ей

легко находить с папой общий язык. Он кажется ей очень, очень высоким мальчишкой. А для других папа — мистер Смит, почтенный преподаватель Брудон Колледжа.

Когда папа бывает строг, Саманта думает, что он играет в строгого. Она улыбается, а папа сердится.

Папа постоял на крылечке. Потом, как спортсмен, развел руки в стороны и глубоко вздохнул. Он повторил это несколько раз, затем спустился и сел на вторую ступеньку.

— Посмотрим, что пишут в газетах, — сказал папа и, как парус, развернул свежую газету.

И тут из дома вышла мама — Джейн. Она на целую голову ниже папы. С ее коротко постриженными волосами ветер ничего не может поделать. Мама очень аккуратная и, прежде чем сесть, долго поправляет юбку. Она улыбается. Но сдержанно, с достоинством, как истинная хозяйка дома. Казалось, весь вид ее говорит: мы должны поступать разумно.

— А где Сэми? — спрашивает мама.

— А я здесь!

Саманта выбегает на крыльцо, осматривается, и на лице ее появляется та неповторимая заразительная улыбка, которая все время стоит перед моими глазами.

И вот вся семья в сборе.

— Мы будем фотографироваться? — спрашивает Саманта. — А где фотограф?

Фотограф этот я. Я смотрю сквозь время, отыскиваю маленький городок на севере Соединенных Штатов, дом на окраине, крылечко с четырьмя ступеньками. Моя мысль, вернее, мое чувство напряженно работает: ведь я должен запечатлеть не на пленке, а в своем воображении маленькую, обыкновенную, типичную американскую семью. Которой суждено стать необыкновенной и нетипичной благодаря девочке, больше всего любившей собак и игру в бейсбол.

И еще мне известно, что она была великой фангазержкой.

5.

В этот вечер Саманта рано сделала уроки и прилегла на любимый диван, у которого, кстати, было еще одно достоинство — напротив стоял телевизор, «черный ящик», как называл его папа.

Саманта включила телевизор — и на экране появился ее старый знакомый, маленький инопланетянин Ити. У него были большой рот и выпуклые глаза, что делало странного Ити похожим на лягушонка. Но он не имел к лягушкам никакого отношения — он был сам по себе, лягушки сами по себе.

Ити выделял разные трюки и смешил Саманту. Он не хотел никого смешить, но у него, видимо, все получалось смешно.

В конце передачи Ити — житель неизвестной сказной планеты — улыбнулся, помахал рукой. И Саманта тоже улыбнулась и тоже помахала рукой...

И тогда началась война. Пляшущее пламя охватило экран телевизора, раздался грохот и вой. И в дыму, как призраки, возникали фигуры в комбинезонах, забрызганных темными пятнами камуфляжа. Казалось, это было не обмундирование, а их собственная кожа — пятнистая и шершавая. В их глазах застыла яростная пустота — они ничего не видели, шли напролом, вслепую, не разбирая дороги. Их рты были перекошены в крике. От них пахло дымом и огнем, и девочка почувствовала этот запах.

Маленький смешной инопланетянин затерялся в

сознании, а его голос замер в реве солдат, которые тоже напоминали выходцев с другой планеты, только не с доброй и забавной, а с чуждой и дикой.

Они шли прямо на Саманту, наставив на нее черные глазки автоматов. Девочка глубже вдавилась в спинку старого дивана, словно отступила под натиском этих солдат-чудовищ.

Под потолком с ревом промчались самолеты с красными звездами. И с нарастающим холодным гулом завывали бомбы. Вой вырывался из телевизора, и девочке чудилось, что бомбы приближаются, что они нацелены прямо в ее дом, ближе, ближе — еще мгновение, и они пробьют крышу, второй этаж, потолок и взорвутся в комнате с зеленым ковром.

Саманта втянула в плечи голову и закрыла глаза.

А когда снова открыла, то увидела танки. Они ползли тяжелой грохочущей лавиной, а длинные стволы орудий мерно покачивались. Танки тоже двигались на Саманту. Они становились все больше, от их грохота гудела голова. Он уже заполнил всю комнату, и девочке показалось, что она чувствует душный запах пережженной солянки, похожий на запах походного примуса. От их железной поступи в буфете звенела посуда, стенные часы раскачивались вместе с маятником. Лицо обжигало пламя... Вот-вот танки разобьют стекло телевизора и ввалятся в комнату, все круша и ломая, оставляя на зеленом ковре глубокие рубчатые следы...

— Мама! — вырвалось у девочки. Но она не услышала собственного голоса. — Мама! — Призыв о помощи так и остался на губах.

И тут Саманте, моей маленькой умной Саманте, пришла спасительная мысль. Преодолевая страх, заслоняя рукой от танков, девочка соскользнула с дивана и нащупала выключатель. Раздался щелчок — и сразу исчезли танки, утих грохот, перестало пахнуть дымом: экран телевизора погас. В комнате установилась звонкая тишина. Девочка облегченно вздохнула.

Она опустилась на диван и некоторое время сидела с закрытыми глазами, тяжело дыша, и лицо ее горело, словно она только что бежала сквозь огонь и вот нашла наконец островок безопасности в своем доме.

Вдруг Саманта подумала: а может быть, существует такой выключатель, который навсегда выключит атомные заряды, двигатели подводных лодок и летающих крепостей, сделает безобидными снаряды, остановит танки?.. Может быть, найдется такой прекрасный выключатель, который выключит войну, как только что выключил телевизор?!

...Саманта лежала на диване, зажав коленками озябшие руки. Волосы спадали на лицо. Папа бесшумно вошел в комнату и остановился перед спящей дочерью. Она лежала на боку, маленькая, хрупкая, нежная, а он стоял над ней, как великан — рослый, плечистый, большеногий. Он был вечным стражем, который охранял дочь от тревог и опасностей.

6.

Четыре ступеньки Самантиного дома.

Эти ступеньки вели в удивительный мир, в котором сосны шумели, как море, и горько пахло шишками; они вели то в глубокие снежные сугробы, то в ворох опавших листьев, то к ручьям весеннего снеготала. И тогда Саманте казалось, что ее дом постоянно движется, а четыре ступеньки — ступеньки вагона, который целыми но-

чами едет, едет по разным странам, холодным и жарким. И как было бы скучно, если бы дом стоял на одном месте.

Нет, это не дом, это наша планета в постоянном движении, и все люди — путешественники.

И однажды Саманта подумала: поезд может остановиться. Кто-то рванет на себя красную ручку стоп-крана, и движение кончится. Жизнь кончится.

Эта мысль все чаще и чаще приходила к девочке, смущала ее покой, отравляла жизнь.

Я представляю себе Саманту среди ночи.

Она соскочила с постели на пол и подошла к окну. Ночь была туманной. Не видно ни звезд, ни неба, ни голубоватых крон сосен.

И тут тревога стала проявляться — так проявляются дома, деревья, небо, когда туман рассеивается и наступает рассвет. Саманта вдруг вспомнила, как русский танк разбил стекло телевизора и ввалился в дом, оставляя на ковре рубчатые следы.

Может быть, эта ночь последняя? Может быть, именно сейчас случится непоправимое, и уже не будет разговорчивого утра, болтливого дня, молчаливой ночи?.. Почему русские хотят завоевать весь мир, хотя завоевать Америку?

Почему? Почему? Почему?

Девочка подошла к столу. Зажгла свет. Вырвала из тетрадки листок, достала ручку. Она села на краешек стула и вывела первые слова: «Мистер Советский Президент...»

И дальше строка полилась за строкой. Девочка писала:

«Мне 10 лет. Я обеспокоена, будет ли война... Вы за войну или нет? Если Вы против, пожалуйста, скажите, как Вы собираетесь не допустить войну».

Саманта остановилась. Она тяжело дышала, словно не писала слова, а совершала большую пробежку. Но задерживаться было нельзя, каждое мгновение это могло произойти, и она, крепче сжав ручку, вывела на бумаге самый страшный вопрос: «Почему вы хотите завоевать весь мир или по крайней мере Соединенные Штаты?»

Она так погрузилась в свою трудную работу, что не заметила, как дверь отворилась и в комнате появился папа, а за ним, кутаясь в халатик, маленькими шажками бесшумно вошла мама. Саманта не почувствовала, что они стоят за ее спиной и внимательно читают каждое слово, выходившее из-под ее пера. Только когда Саманта поставила точку и отложила ручку, то обнаружила, что она не одна в комнате.

— Ты правильно поступила, дочь, — сказал папа. — Хотя неизвестно, чем это кончится.

— Не слишком ли опрометчиво? — спросила мама. — Впрочем, скорее всего ты не дождешься ответа. Но пусть в Москве по крайней мере знают, что даже дети не хотят войны... А теперь спать!

— Хорошо, что вы здесь, — тихо сказала Саманта. — Хорошо, что вы знаете. Я завтра отправлю письмо. Если русский президент честный человек, он ответит, он напишет правду.

7.

Потом, когда пробегут недели и Саманта будет вспоминать этот теплый день, ее фантазия нарисует его совсем не таким, каким он был.

Разноцветные гроздьи фейерверка взлетят в небо и превратятся в огромный фантастический букет.

Отблески этих небесных красок будут отражаться во всех окнах города. Зазвучит музыка, и десятки оркестров в ярких униформах, пританцовывая, пройдут по улицам, состязаясь в своем искусстве. Далеко за полночь еще будет звучать музыка, люди будут танцевать и смеяться. А старый солдат Ральф Пастер, их сосед, появится на своей кресло-каталке в отглаженной форме и с орденами и прочими знаками воинской доблести...

На самом деле день был как день. Саманта возвращалась из школы. И вдруг издали увидела на крылечке своего дома папу. Он стоял, размахивал руками и звал ее:

— Сэми! Сэми! Ты только подумай, Сэми!

Когда девочка подошла к дому, она сразу заметила, что лицо папы сияло, и он, как в минуты высшего возбуждения, был похож, ей казалось, на себя в детстве.

— Что случилось, папа?

— Произошло невероятное! Он ответил! Вот письмо с его ответом.

— Кто ответил, папа?

— Русский президент.

— Ты шутишь, Арт! Ты неудачно шутишь! — сказала девочка и стала подниматься по ступенькам.

Папа преградил ей путь.

— Я шучу... всегда, но не сейчас! — почти закричал Артур.

Но тут терпение девочки лопнуло. Она подпрыгнула и выхватила из руки отца письмо. Затем бросила сумку, уселась на ступеньку и начала быстро, перескакивая со строки на строку, читать:

«Здравствуй, дорогая Саманта!.. Мне кажется, ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подругу Тома Сойера... Саманта глотнула воздуха и продолжала читать: — Твой вопрос — самый главный... Отвечу тебе на него серьезно и честно... Советские люди хорошо знают, сколько ужасна и разрушительна война... И у Америки, и у нас есть ядерное оружие — страшное оружие, которое может в один миг убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно когда-либо было пущено в ход... мы предлагаем... уничтожить его... Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта...»

Папа стоял над Самантой, огромный и сильный, и терпеливо ждал, когда письмо из Москвы будет дочитано. Саманта поднялась со ступеньки. Она должна была бы закричать «ура!». И запрыгать. Но девочка молчала. Она вопросительно смотрела на отца. В небе еще не расцветали огни фейерверка, и в городе не заиграли оркестры, и люди еще не закружились в танце.

Мама вышла из дома и спросила:

— Что случилось?

— У нас ничего не случилось, — как можно спокойнее ответил папа. — Саманта получила ответ от русского президента. Он приглашает ее и нас... посетить... в удобное время... Сэми, когда у нас удобное время? — И тут он заметил, что Саманта молчит, не улыбается, а брови домиком поднялись над глазами. — Сэми, можешь считать себя гостьей короля!.. Ты не рада?

— Мне страшно, — призналась девочка. — Когда все было далеко, не было страшно. А теперь все так резко приблизилось...

— Но ты... мы все будем гостями президента! — воскликнул папа. — Помнишь, как он улыбался на фотографии?

— Президенты всегда улыбаются. А люди чаще бывают мрачными. Я для них американка. А они там, за океаном, ненавидят нас.

— Кто это тебе сказал? — спросил папа.
— По телевизору... — начала было девочка, но папа перебил ее:

— Когда-то телевизор был признаком цивилизации. Теперь умные люди выбрасывают из дома... ящики. — Папа протянул маме листок с письмом президента. — Прочти. Мы выиграли по автобусному билету.

Саманта молча сидела на ступеньке. Что скажет мама?

— Тебе, Артур, не кажется, в этом есть что-то авантюрное? — спросила мама.

— Удача не всегда результат авантюры, — сдержанно ответил папа, — иногда везет и не авантюристам. Надо только быть на высоте.

— Ты считаешь, что нам повезло? Ты подумал, что это не просто приглашение от друга или от дальней родственницы, которая неожиданно объявилась в России? Об этом приглашении завтра узнает мир. А послезавтра каждый наш шаг будет очень ответственным. Надо твердо знать, что мы хотим. Мы должны поступить разумно. А что на этот счет думает Сэми?

— Я во всем виновата, — сказала девочка и поднялась со ступеньки. — Я очень хотела знать: будет ли завтра на месте наш дом, наш город, наша Земля? Я хочу не бояться жить. Но для этого надо своими глазами увидеть, что это за Россия... Узнать, почему русские не любят Америку. Очень страшно, но придется ехать.

Саманта быстро скрылась в доме, словно хотела немедленно собраться в путь.

— Ты молодец, дочка! — воскликнул папа, входя следом в дом.

— Я еще не знаю, кто я. Но я хочу узнать, на что я способна.

— Теперь вся наша жизнь переменится, — тихо произнес папа. — Теперь вся наша жизнь будет другой. Только какой — я не знаю точно.

— Я боюсь перемен. Ведь они не всегда бывают счастливыми, — сказала мама, стоя в дверях.

— Надо быть на высоте, — сама не замечая того, повторила папины слова Саманта.

— Да хоть зеленой. Лишь бы не было войны! А вечером к дому на краю леса подрулила каталка старого солдата. И, попыхивая трубочкой, которую ему подарил русский Иван на Эльбе, Ральф крикнул:

— Мисс Саманта! Не соблаговолите ли вы выйти на крыльцо?

И когда Саманта, возбужденная и встревоженная, появилась на крыльце, Ральф Пастер воскликнул:

— Сэми! Уезжаешь? Позволь пожелать тебе счастливой дороги. — И энергично потер свою колючую бороду ладонью.

— Я очень рада, — призналась Саманта, — но мне немного боязно.

— Ты сделала смелый шаг, теперь уже нельзя отступать. Только не ошибись, Сэми!

Девочка вопросительно поглядела на гостя.

— Помнишь, я рассказывал тебе про военный лес? Так у этой истории есть продолжение. Прошли годы. Смола затянула раны, появилась свежая зелень. Лес стали пилить на доски, чтобы построить дома. И тогда у пил начали ломаться зубья. Ты думаешь, почему? В теле деревьев было столько осколков и пуль! Ты видишь, как глубоко в мир заходит война? Я тоже дерево из того леса. И в моем теле тоже сидит осколок, и поэтому я не могу ходить, бегать, плавать, играть в бейсбол... Сэми, ты разведчик, которого наш народ посылает в Россию. Нет, тебе не придется пересчитывать русские ракеты! Ты должна узнать нечто более важное. Нужна ли русским новая война, хотя ли они войны? Ты должна серьезно сыграть в «горячо-холодно» и найти истину. Запомни, весь мир поверит тебе. Только не ошибись, Сэми. Только не подведи, Саманта.

И он внимательно посмотрел на девочку своими светлыми, выгоревшими от огня глазами.

Глава вторая

1.

8.

Как быстро по городу разносятся вести! Особенно если город маленький, а весть большая, необыкновенная.

В магазинах, в аптеках, в барах, в котлетных и возле игровых автоматов люди обсуждали феноменальное событие: юную жительницу их города пригласил сам мистер президент Советов.

Одни голоса перекрывали другие. Город гудел:

— Слышали? Девчонка выиграла по автобусному билету!

— Еще неизвестно, может быть, проиграла.

— Но она гостью президента!

— Ничего хорошего из этого не получится. Это пропаганда!

— А может быть, именно наша девочка поможет понять людям нечто очень важное.

— С каких это пор дети стали заниматься брльской политикой?!

— Со времен голого короля. Все взрослые, умудренные опытом люди расхваливали новое платье короля. И только ребенок честно сказал, что никакого платья нет. Король голый!

— Не рассказывайте сказки!

— Она вернется из Москвы красной!

Я представляю себе Саманту, летящую в самолете. Она сидит в глубоком мягком кресле, скинув туфли и поджав под себя ноги. Она прижалась к холодному стеклу иллюминатора. И если бы кто-нибудь взглянул на нее снаружи, то увидел бы приплюснутый нос и два горящих глаза, которые хотят вобрать в себя мир заоблачной высоты.

За бортом лайнера, сколько хватает глаз — белая изнанка облаков. Нет, это не легкие, воздушные облака, какими мы их видим с земли. Здесь, на высоте десять тысяч метров, облака похожи на спрессованный снег, который скрипит под ногами. Кажется, что самолет летит над Арктикой и вот-вот из-за сугроба выглянет белая медведица.

И тут, над Атлантическим океаном, Саманта вспомнила о доме: родной дом с крыльцом и с елочкой у крыльца сорвался с места, бросился вслед за своей хозяйкой и настиг ее в заоблачной дали. И девочку сразу обступили знакомые вещи — старый диван, часы, стол с книжками и тетрадка-ми...

Потом ее нагнал кривоногий Руди в велосипедной кепке с огромным козырьком. Он летел рядом с лайнером на своем спортивном самолете и грозил кулаком. Кому он грозил?

И тогда в иллюминаторе, как в портретной раме, появилось лицо Дуга. Его короткие рыжие волосы топорщились от ветра, а он не обращал внимания, щурил глаза и говорил: «Почему люди обязательно кого-то недолюбливают? Одни — рыжих, другие — черных, третьи — картавых, четвертые — всех вместе взятых? Эти маленькие ненависти складываются, и получается большая ненависть. А большая ненависть — это война. Я так думаю».

«Значит, война начинается с таких, как Руди Броннер, — подумала Саманта. — Но такие, как Дуг, должны уметь постоять за себя. Чтобы руди броннеры не очень распоясывались!»

Самолет плавно парил над облаками. Папа листал газету. Мама дремала. Саманте захотелось домой. Куда она летит? Зачем? Что ждет ее впереди? А что если письмо русскому президенту было ошибкой?

И тут летящий со скоростью тысяча километров в час лайнер нагнал старый солдат на своей каталке. Саманта вспомнила и его. Она увидела лицо Ральфа Пастера с серебристой колючей бородой, увидела его натруженные руки — они лежали на плече прикрывающем колени, — услышала его голос: «Всю жизнь ищи людей, которым можно верить. Потому что именно в них заключена правда... Правда не бывает русской, американской — она везде одинакова. Это ложь бывает всякой. Желтой, синей, зеленой. Но разве имеет значение, какого цвета ложь? Ложь очень живуча. Она прорастает сквозь землю, даже когда лгун лежит в земле... — И старый мудрец Ральф сказал: — Люди стареют от лжи. А кто говорит правду — всегда молодой...»

Саманта повернулась к папе и спросила:

— Тебе не страшно?

— Почему мне должно быть страшно, Саманта? — Мы же летим в Москву... В одном справочнике я прочитала, что там по улицам ходят медведи.

— Чувь, — ответил папа.

— Но ведь это напечатано.

— Значит, напечатана чувь. А написал ее невежда.

— Конечно, дело не в медведях, я в них тоже не очень-то верю. Но нас могут обидеть.

— Девочка, ты забываешь, что мы гости президента. И мы должны быть на высоте.

— Но играть-то я там буду не с президентом, а с детьми.

— Дети есть дети, — глубокомысленно ответил папа.

— Дети бывают разные, — горячо возразила девочка. — Я знаю одного, который все время гоняется за рыжими. Не нравятся ему рыжие, и все тут.

— Во-первых, — сказал папа, — ты, насколько мне известно, не рыжая. А во-вторых, среди детей тоже есть дураки.

— Ты думаешь, меня не будут считать американской шпионкой? — спросила Саманта, наклоняясь к папе. — Мы же разные.

И тогда папа усмехнулся. Положил газеты на колени и повернулся к Саманте.

— В каждой стране по-своему слышат петуха. Нам кажется, он поет — «кок-э-дудл-ду», а французам слышится индеец — «ко-ко-рику». Шведам слышится — «ку-ке-лику», португальцам — «кэ-ко-ро-ко». А русские уверены, что петух поет — «ку-ка-реку». На самом деле петухи во всем мире поют одинаково. — И тут папа, забыв, что он в самолете, запел: — Кок-э-дудл-ду!

Так пропел, что все пассажиры оглянулись.

— Артур, что с тобой? Мы не одни, — тревожно пропела удивленная мама. — Мы должны поступать разумно.

— Ничего, мэм, — сказала Саманта. — Людям приятно на высоте десять тысяч метров услышать пение петуха.

— Петухи поют одинаково, — задумчиво произнес папа. — Просто люди слышат их по-разному. Вот тебе и «ку-ка-реку».

И папа снова погрузился в чтение.

2.

Впервые Москву Саманта увидела с неба. Она возникла из лесов, полей белыми квадратами микрорайонов, и в этой белизне была удивительная, почти снежная свежесть. И привлекательность. Это было так необычно для жительницы маленького Манчестера, что она почувствовала себя Алисой, парящей над сказочной страной Зазеркалья. Сейчас мелькнет Черная Королева или на облачке пролетит надутый Шалтай-Болтай. Какая-то жутковатая радость охватила Саманту. Она прижалась лбом и носом к холодному стеклу иллюминатора и смотрела на проплывавшую внизу Москву.

«Прежде всего, — считала Алиса, — нужно внимательно изучить страну, по которой собираешься путешествовать». Саманта готовилась к поездке в Союз, как Алиса к путешествию в страну Зазеркалья. Девочке казалось, что там, за океаном, все наоборот. То, что дома хорошо там считается плохим. И напротив, то, что дома плохо, за океаном будет хорошим. И часы там ходят в обратную сторону. Настоящее Зазеркалье!

А потом лайнер наклонился и начал стремительно снижаться, и Саманте почудилось, что она смотрит вниз через большое увеличительное стекло: дома, деревья, бегущие машины стали сразу крупнее.

И вот первый глоток свежего воздуха, первый шаг со ступеньки трапа на бетон аэродрома.

«Что меня ждет? Кто меня ждет? Что будет в следующее мгновение?» — думала Саманта.

И в это время, словно из-под земли, перед ней вырос невысокий полный человек в клетчатой кепке. У него на плече, как маленькая обезьянка, приютилась кинокамера. Его лицо было улыбаемое и вместе с тем лукавое. А светло-голубые глаза казались прозрачными.

— Хелло, Саманта! Я Пол Бертинг. Телевизионная компания Эй-Би-Си! Будем вместе работать. — Все это он произнес быстро, как скороговорку, и подмигнул Саманте.

— А что надо делать? — растерянно спросила девочка.

— Шутить! Улыбаться! И не заниматься политикой. Нашим зрителям и без того вот как хватает политики. — При этом Пол протер ребром ладони по горлу и доверительно сказал: — Политику мы будем делать сами. Можешь называть меня просто Пол.

Потом Саманта узнает, что Пол Бертинг — один из самых ловких и удачливых телерепортеров и что коллеги называют его Попрыгунчик Пол. Оказывается, взрослые тоже дают друг другу прозвища.

— Итак, Сэмми, первое интервью в Советах. Как тебе понравилась Москва? — Маленькая обезьянка с плеча смотрела на Саманту.



На велотреке в Крылатском

— Но я еще не видела Москвы,— пролепетала девочка.

— Тогда я передам, что встреча с Москвой озадачила тебя.

Попрыгунчик Пол куда-то ускорился, а Саманта почувствовала себя слегка одураченной.

И вот тогда к ней подошла хрупкая женщина. У нее была легкая походка и серые доверчивые глаза. Она напоминала девочку, но что-то выдавало в ней взрослого человека. Что именно, Саманта не сразу поняла. Но потом американская гостья опустила глаза и увидела на ногах Наташи туфли на высоких каблуках. Вот секрет ее взрослости!

— Здравствуй, Саманта! — Голос у женщины был мягкий и располагающий. — Меня зовут Наталья Павловна. Но ты можешь называть меня Наташа. Так тебе легче. Я буду сопровождать тебя.

— Будем вместе работать? — вспомнив Попрыгунчика Пола, спросила Саманта.

Наташа улыбнулась.

— Разве гости работают? Работают дома.

Она положила руку на плечо Саманте, и девочка сразу почувствовала себя иначе, словно неожиданно встретила добрую знакомую. И улыбнулась. И в это время маленькая американская гостья увидела, что окружена множеством репортеров. Десятки камер, нацеленных на нее, заверещали, как кузнечики, хлопнули затворами, заработали, чтобы показать всему миру прекрасную Самантину улыбку — улыбку доверия и надежды.

Первого медведя в Москве Саманта встретила в театре зверей Натальи Дуровой.

У медведя были маленькие поблескивающие глазки и неестественная пританцовывающая походка. При этом передние лапы он держал на весу, словно нащупывал опору. Увидев Саманту, он остановился и внимательно посмотрел на девочку.

— У нас гостя! — воскликнула Наталья Дурова. — Поклонись. Ты же воспитанный медведь.

Но медведь оказался не таким уж воспитанным. И только когда Саманта сказала: «Гуд афтенун!» — медведь поклонился. Создавалось впечатление, что он, хоть и не такой уж воспитанный, зато знает английский язык.

— Я слышала, ты собираешься стать ветеринаром? — спросила гостья Наталья Дурова.

— Да. Мой папа работает в Бюдон Колледже, где готовят ветеринаров, — сказала Саманта. — Их эмблема — белый медведь.

— Это прекрасно! — Наталья Дурова ослепительно улыбнулась.

А Саманта подумала: «Еще одна Наташа. Может быть, в России каждая вторая — Наташа?» Она не догадывалась, что судьба готовит ей встречу с еще одной Наташей. Но это произойдет позже.

— А можно медведя погладить? — осмелела Саманта.

— Тебе можно, — сказала Наталья Дурова.

— Это потому, что я гость президента?

— Нет, потому, что ты гость нашего театра. Наши звери очень любят гостей.

— Кам хиз! — позвала Саманта.

Медведь вскинул голову и, пританцовывая, двинулся к ней. Казалось, он идет по льду и боится поскользнуться.

— Он понимает по-английски! — воскликнула Саманта.

— Нет, — улыбнулась Наталья Дурова, — он понимает добрый голос. А на каком языке говорит человек — не имеет значения.

— Значит, у меня добрый голос?

— Не только. У тебя наверняка есть собака!

— Откуда вы знаете?! — удивилась девочка.

— Только собака может научить человека интонации, понятной зверям. Ведь ты разговариваешь со своей собакой?

— Разговариваю!

— И она тебя понимает?

— Еще как!

Наташа Дурова тихо засмеялась.

— Вы угадываете мысли? — спросила Саманта. — Вы все можете отгадать?

— Нет не все, — призналась Наталья Дурова, — я могу отгадать, когда у зверя болит живот, когда он очень опечален чем-то, когда ему позарез хочется вкусенького и когда он соскучился по ласке. Идем, я покажу тебе одного моего друга, которого спешно надо приласкать. Иначе он из бегемота превратится в лягушку...

Велотрек в Крылатском был похож на громадную кадку с деревянными боками. Саманта стояла внизу — на дне кадки — и наблюдала, как легкие и стремительные велосипедисты, согнувшись вдвое, мчались с огромной скоростью и неожиданно оказывались на стене кадки. По

невидимой спирали они поднимались все выше, и казалось, сейчас, достигнув верхнего края, продолжат свои спирали в небе, в бесконечности.

С замиранием сердца Саманта следила за страшными велосипедистами. И вдруг родилась дерзкая мысль.

— Можно мне попробовать?

Москва отличалась еще и тем, что здесь выполнялись любые желания юной американки.

И вот уже к ней подкатили легкий блестящий аппарат на двух колесах с изогнутым, как рога буйвола, рулем.

— Попробуй, девочка. Только осторожно! — предупредил ее тренер, приветливо улыбаясь.

Но Саманта почувствовала: он думает, что у нее ничего не выйдет. Это мы еще посмотрим!

Девочка крепко вцепилась в ручки руля и поставила ногу на педаль. И вот она уже в седле, медленно катит по кругу.

Но трек есть трек. Он создан не для простых велосипедных прогулок. Он тягивает человека во властное движение, отрывает его от земли и превращает в снаряд, который несется по спиральной орбите. И человеку нельзя остановиться — без движения он упадет.

Сперва Саманта изо всех сил жала на педали. Потом ей показалось, что не она приводит в движение велосипед, а тот мчит сам по себе, высоко подбрасывая ее коленки.

Помимо своей воли девочка вдруг повернула руль — и велосипед очутился на стенке гигантской кадки. Все выше, все выше с каждым витком забирался велосипед. Отступать было уже невозможно. Она оказалась во власти какого-то влекущего движения. Вперед и выше! И уже нельзя затормозить, нельзя остановиться. Ведь остановка — падение.

Как вернуться на землю из этого отчаянного полета?

Девочка сжала губы. Прищурила глаза. Только устоять. Только не сдаться. Не смалодушничать, не закричать. К ней вернулось самообладание. Ее мысль заработала четко и ясно. Она стала легонько поворачивать руль в обратную сторону и виток за витком начала опускаться вниз.

Саманта и не заметила, что уже едет по дорожке. Из головокружительного полета возвратилась на землю. Еще велосипед катился, еще педали подбрасывали коленки. Теперь можно было прыгнуть и отдышаться.

— Саманта, ты такая бледная! — воскликнула Наташа.

— Я немного устала, — пролепетала девочка.

— Молодец! — К дочери подошел папа. — Не трусила, не отступила.

— Это занятие не для детей, — вмешалась в разговор мама и облегченно вздохнула.

5.

Каждый день в Москве дарил Саманте неожиданности. Ее мир, мир маленького американского городка, оказывается, вмещал так мало!

В Москве Саманта впервые услышала имя «Ленин».

— Сегодня мы поедем к Ленину, — сообщила Наташа.

— А где он живет? — любопытствовала Саманта.

От этого внезапного вопроса даже Наташа растерялась. Но, посмотрев в глаза девочке, сказала:



С новыми друзьями в «Артеке»

— Мы поедем на Красную площадь, где стоит Мавзолей Ленина.

— Ленин — как наш Вашингтон, — тихо объяснил папа Саманте. — Его знает каждый.

Красная площадь оказалась не красной. Красными были стены Кремля и звезды на башнях.

Саманта со своей маленькой свитой шла по брусчатке и прислушивалась, как стучали каблучки Наташи.

Они подошли к гранитному сооружению, у входа в который замерли два часовых.

— Это Мавзолей Ленина, — сказала Наташа.

Папа положил к стене Мавзолея букет гвоздик. После этого они направились к распахнутым дверям. Саманта подумала, что часовые сейчас скрестят винтовки и преградят им путь. Но два воина не шелохнулись.

В полутьме в прозрачном саркофаге лежал человек. У него было спокойное, усталое лицо. Словно он уснул после трудного рабочего дня. Небольшая борода, усы, выпуклый лоб, сомкнутые веки. Это не было лицо героя и не было лицо властелина. И Саманте он показался знакомым. Ей почудилось, что Ленин бывал в доме на окраине Манчестера, сидел на ступеньках крыльца...

Саманта стояла перед Лениным и почему-то представляла себе, как собака трется о его ногу, а он гладит ее. И улыбается. Саманте было очень легко представить себе его улыбку. Главное же заключалось в том, что Саманта сознавала — Ленин мертв,

но в глубине души не могла согласиться с этим. Она вообще никогда в жизни не видела мертвого человека.

Ленин спал. Глаза его были сомкнуты.

Саманте не хотелось уходить. Хотелось дожидаться, пока он проснется, откроет глаза, улыбнется, заговорит.

Когда по каменным ступеням тихо, стараясь не шуметь, Саманта вышла наружу, солнце стояло высоко и над площадью плыли мелодичные неторопливые удары часов — кремлевских курантов.

Гостей пригласили посетить квартиру и рабочий кабинет Ленина.

Саманта шла по кремлевскому двору, и перед ее глазами стояло лицо спящего Ленина. И она думала: пусть поспит, пусть немного отдохнет. Он слишком много недосыпал.

Квартира Ленина поразила Саманту удивительной скромностью. Девочка слушала рассказ экскурсовода, разглядывала вещи Ленина, и они как бы оживали. Вспыхнуло и затрепетало маленькое пламя свечи — в трудные годы часто гасло электричество, и тогда зажигали свечи. А белая кафельная печь не запылала — она и при жизни Ленина нередко стояла нетопленной: не хватало дров. От печки даже теперь, в летний день, тянуло холодком.

Саманта представила себе, как Ленин входит в свой дом, снимает в тесной прихожей пальто и вешает его на крючок, моет руки над умывальником, садится на венский стул с гнутой спинкой. Девочка потрогала спинку стула.

Ленин жил, как жили в те далекие трудные годы все люди. Недосыпал, недоедал, замерзал.

Саманта задержалась у кровати Ленина. Кровать скорее напоминала простую походную койку. Когда враги ранили Ленина — в плечо и в грудь, — он пожелал, чтобы его привезли домой. Сам поднялся по лестнице и лег на свою жесткую кровать.

Может быть, Ленин так ненавидел войну потому, что от нее одни страдания?

Девочка задумалась. А потом осторожно погладила рукой белое покрывало.

В кабинете Ленина Саманта долго рассматривала шкафы с книгами, пальму в кадке (Ленин сам поливал ее и сам влажной тряпкой протирал жесткие листья), настенные часы, старинный телефонный аппарат. К этому телефону сходились все нити страны, охваченной революционной борьбой. Сколько горьких известий передавал этот телефон Ленину! Сколько раз радостно сообщал о победах! А вдруг телефон сейчас зазвонит и Ленин торопливой походкой войдет в кабинет? Войдет и увидит неожиданную гостью — маленькую американку?

Но телефон так и не зазвонил.

Саманта нехотя уходила от Ленина. И все, что она узнала о нем, ей казалось — она узнала от него самого, всматриваясь в его лицо, изучая его дом, вещи, рабочее место.

Только один вопрос задала она:

— А у Ленина была собака?

Вместо ответа ей показали старую фотографию, на которой Ленин сидел в плетеном кресле, у его ноги стоял ирландский сеттер и терся мордой о колени, а Ленин гладил его шелковистый загривок.

— У меня точно такой же! — тихо воскликнула девочка: ирландские сеттеры все похожи друг на друга.

Позднее, в Ленинграде, Саманта узнает, что в первую ночь после революции был принят Декрет о мире. И это было делом Ленина.

Мир для России начинался с Ленина.

Глава третья

1.

— 3 автра мы вылетаем в «Артек»! — прямо с порога объявила Большая Наташа.

Еще никто не знал, что завтра в судьбе Саманты появится новая Наташа, которую будут называть Маленькая Наташа, а взрослую спутницу американских гостей переименуют в Большую Наташу.

— Что же ты не радуешься, Сэми? Это так интересно — «Артек»! — удивилась Большая Наташа, закрывая за собой тяжелую гостиничную дверь.

— Мне жаль уезжать из Москвы.

Когда лайнер приземлился и Саманта ступила на трап, в лицо ударило яркое крымское солнце, и девочка невольно подняла руку, чтобы защититься от резких лучей.

И спускаясь по трапу, она ничего не видела, кроме собственной ладошки.

Лишь только Саманта прыгнула с последней ступеньки и очутилась на крымской земле, ее оглушил многоголосый хор ребят, которые громко выкрикивали:

— Са-ман-та! Са-ман-та!

Саманта отняла руку от глаз и увидела детей с красными косынками, повязанными вокруг шеи. Все они были одинаково загорелыми, одинаково хлопали в ладоши и скандировали:

— Са-ман-та! Са-ман-та!

Девочке почудилось, что это маленькие Шалтай-Болтай дразнят ее и про себя думают: «А с таким именем, как у тебя, можно быть какой хочешь формы, даже самой уродливой».

Но Саманта не смелодушнича, не бросилась к маме, не прижалась к ее плечу.

Я представляю себе Саманту идущей по обожженной земле, навстречу незнакомым ребятам, для которых все кажется простым и веселым. И которые не догадываются, что происходит в душе девочки. А она, подавляя в себе чувство неуверенности, идет прямо на них и улыбается — через силу, но улыбается!

Она не знает, что будет в следующий миг. Может быть, эти кричащие и улыбающиеся на один манер чужие и непонятные дети сейчас набросятся на нее?!

И вдруг Саманта почувствовала, что кто-то крепко сжал ее руку и в самое ухо прошептал на родном английском:

— Саманта! Меня зовут Наташа. Давай дружить!

Снова Наташа!

Саманта оглянулась и увидела девочку, одетую, как все, — белая блузка, алая косынка, завязанная на груди узлом. Большие карие глаза излучали тепло и дружелюбие.

— Давай дружить! — согласилась Саманта, и сразу отлегло от сердца.

Она держала руку девочки, улыбалась и что-то говорила, говорила. А ребята хотя и не понимали ее, кивали и тоже что-то говорили. И стало легко и радостно.

С той минуты Саманта уже не отпускала руку Наташи — Маленькой Наташи.

2.

— Б удешь жить с родителями или с девочками? — спросила американскую гостью вожатая, стройная блондинка, похожая на манекенщицу.

— С Наташей, — ответила Саманта.

— Значит, с девочками. Идем.

И они пошли по дорожке, посыпанной галькой и ракушками, которые аппетитно похрустывали под ногами.

Чем дальше девочки углублялись в артековский парк, тем явственней все вокруг дышало, шуршало, пахло — жило. Пели цикады, начинали свой концерт скрипучие древесные лягушки. Над головой девочка, как маленький черный самолет с выключенным моторчиком, пролетела летучая мышь.

Сгустились сумерки.

Саманта вошла в палату и осмотрелась.

— Эта постель свободна, — сказала вожатая, указывая на кровать, стоящую у выхода на лоджию. — Можешь занять ее.

Вожатая была строгая и, как показалось Саманте, суховатая. И она плохо говорила по-английски — это тоже не нравилось Саманте. И вместо того чтобы улыбнуться и поблагодарить, американская гостья промолчала. А когда вожатая ушла, Саманта спросила Наташу:

— Из какого окна видна луна?

— Ты занимаешься астрономией? — удивилась Наташа.

— Я привыкла из своей постели видеть луну.

Наташа повернула голову к окну и сказала:

— Луна видна отсюда. Но эта постель занята.

— Я хочу спать там, откуда видно луну, — упрямо повторила гостья.

Потом ей станет стыдно за свое упрямство. Потом вообще многое переменится в Саманте. А пока она поджала губы и ждала, как поступят ее новые друзья.

— Хорошо, — сказала Наташа. — Я поговорю с девочкой, которая спит здесь.

— И с этой девочкой тоже поговори. — Саманта указала на соседнюю постель. — Я хочу, чтобы ты спала рядом со мной. У меня с собой мировая жвачка. Я подарю им.

— Им не надо жвачки. Они и так уступят тебе место.

Саманта непонимающе посмотрела на Наташу. Готовность выполнить ее желания удивила маленькую гостью. Ей захотелось понять причину этой готовности.

— Это потому, что я дорого стою? — спросила она.

— Что значит «дорого стоишь»? Почему ты дорого стоишь?

— Потому что в меня вложили большие деньги, — доверительно сообщила Саманта.

— Что же ты теперь — денежный мешок? — в сердцах воскликнула Наташа.

— Какая ты странная, Наташа, — терпеливо сказала Саманта. — Ты говоришь так, словно хочешь обидеть меня. Но я не обижаюсь. У нас очень почетно, если в тебя вкладывают большие деньги. У вас разве иначе?

— У нас иначе, — ответила Наташа. — У нас вкладывают деньги во всех детей сразу... А кто тебе сказал, что ты дорого стоишь?

— Попрыгунчик Пол, телевизионщик. У него на плече камера как маленькая обезьяна.

— Сам он обезьяна! — сказала Наташа, и подружки рассмеялись.

3.

Откуда только берется столько тьмы, чтобы закрыть ею всю землю, все небо, все море? И лишь луна — ночное солнце — взошла, и проложила в море золотистую дорожку, и стоит в окне, словно подслушивает ночные разговоры подруг.

— Ты спишь?

— Нет. А ты?

— И я не сплю. Давай думать об одном и том же — и нам приснится один сон. Тебе никогда не хотелось убежать?

— Куда убежать?

— На другую планету.

И снова тихо. И снова голос в темноте:

— У нашего крыльца две белые березки.

— Русские?

— Нет, американские.

— А чем они отличаются от наших? — интересуется Маленькая Наташа.

— Не знаю. Мы же с тобой не отличаемся?

— Мы с тобой не отличаемся, — шепчет Маленькая Наташа, — может быть, только чуть-чуть. Ты не можешь при всех раздеваться и считаешь, что за добро надо платить.

— Надо, конечно.

— Добром. А не жвачкой.

Но Саманта уже думает о другом. И до Наташи доносится ее приглушенный взволнованный голос:

— Ты знаешь, Наташа, что самое страшное в мире? Это когда космонавт выходит в открытый космос и вдруг отрывается от корабля. Он превращается в спутник и оказывается один во всей вселенной. И все время движется вокруг Земли. Не имеет значения, живой он или мертвый. Я об этом иногда думаю. Лежу с закрытыми глазами, не сплю — думаю.

— Я никогда не думала об этом, Сэми. Но это действительно страшно... Как всадник без головы.

— А между прочим, мне кажется... вернее казалось, когда я собиралась в Союз, что я выхожу в открытый космос... Никто меня не понимает, никто меня не принимает, все считают, что я американская шпионка...

— Ну, что ты, Сэми...

Никогда еще Саманте не приходилось жить среди такого множества детей. Их было так много, словно взрослые вообще покинули этот чудный уголок земли и полностью отдали его детям.

Русский язык Саманта учила по песням. Одни слова давались ей легко, другие трудно. Девочка долго не могла научиться произносить слово «молодцы». Ей очень хотелось выучить речевку: «Артековцы сегодня — артековцы всегда». Но этот простой стишок оказался для нее крепким орешком.

Если на завтрак давали манную кашу, Саманта говорила по-русски: «Можно я... ее... не буду?» Она не любила манную кашу. Зато ей по вкусу пришлось вареники. И само слово «вареники» она произносила без труда.

У Саманты открылась удивительная способность понимать по губам, по глазам, по выражению лица. Когда вокруг были ребята, незнание русского языка не заводило ее в тупик.

В «Артеке» звучала разноязыкая речь, и Саманте приходила мысль, что «Артек» — великолепная модель устройства общества. «Если люди всего мира станут жить так, как живут в «Артеке» дети, — рассуждала девочка, — тогда не будет вражды, не будет войны. Пусть все президенты и другие правители приезжают сюда учиться управлять миром».

Но когда девочка поделилась своими мыслями с Маленькой Наташей, та покачала головой

— Думаешь, не приедут? — спросила Саманта.

— Они здесь были. Они все время приезжают. Но ничему не могут научиться.

— Такие неспособные?

— Когда ты побываешь в Ленинграде, многое поймешь, — задумчиво произнесла Наташа. — Пойдем купаться!

Ах, это ласковое, теплое море! Кто сказал, что оно черное? Оно лазурное! Нет, изумрудное! Его веселое беспокойство передается людям. Оно поднимает тебя на волну, и начинает казаться, что ты его частица, частица стихии. И в тебе от дружбы с морем крепнет бесстрашие.

Может быть, это оттого, что вода в море горьковатая?

Две подружки перешагнули через белый гребень прибоя и замерли в ожидании новой волны.

Я представляю себе, как Саманта наклонилась и, сложив ладони ковшиком, зачерпнула воду.

— Кто сказал, что это море черное? Разве эта прозрачная вода похожа на чернила?..

4.

Ночь была таинственна и прекрасна. Где-то совсем близко дышало море, и от его дыхания веяло свежестью. Небо было таким темным, что звезды становились ярче и крупнее. И ближе к земле.

Эта ночь была создана не для сна.

Никто и не спал. Все затаились в большом амфитеатре, построенном на склоне горы. А внизу, в огромной чаше, плескалось жаркое веселое пламя костра. Клубы дыма поднимались высоко в небо, и в дыму, как золотые рыбки, плавали звезды. Лица детей были озарены пламенем, глаза блестели. Неожиданно амфитеатр запел. Со стороны казалось, что поют не дети, а природа участвует в таинственном могучем хоре.

Все, что происходило вокруг, было так прекрасно и непривычно, что Саманте чудилось, будто она попала в сказочный мир.

Заиграл оркестр, и дети повскакивали с мест и в одно мгновение образовали большой хоровод, который закружился вокруг костра. Кто-то схватил Саманту за руку, и она сразу стала частицей огромной живой карусели.

А потом карусель остановилась. И Саманта отошла в сторону, чтобы отдышаться. И тут она увидела Попрыгунчика Пола. Телевизионщик с обезьяной на плече снимал праздник и что-то возбужденно говорил в маленький микрофон.

Саманта сделала несколько шагов и очутилась рядом с Полом. Он узнал ее, помахал рукой, в которой был зажат микрофон. И вдруг повернулся к морю, где неподалеку от берега стоял корабль, освещенный прожекторами. И Саманта услышала комментарий Пола.

— Да, все прекрасно на этом празднике, — говорил Пол, обращаясь к Америке, — но, дорогие зрители, у медали есть обратная сторона. — Он ближе поднес ко рту маленький микрофон. — Вот она, обо-

ротная сторона. Рядом с поющими детьми на рейде замер военный корабль. Зловещая тень войны. Притаились орудия. Готовы к пуску боевые ракеты. Вы видите его грозный силуэт. И возникает вопрос: чему верить? Улыбкам детей или военной машине, которая в России присутствует всюду, даже на детском празднике? И, может быть, праздник-то не настоящий, а камуфляж, который прикрывает боевую мощь?..

Саманта слушала Пола, и ее сердце наполнялось болью. Значит, этот праздник ненастоящий? И радость ненастоящая? И костер, и деревья, и музыка, и улыбки детей?

В это время на корабле раздался залп. И над морем взлетел огромный фейерверк, рассыпаясь по всему небу сотнями разноцветных звездочек. И такой же фейерверк появился на поверхности моря, словно веселое подводное судно повторило праздничный залп.

Саманта почувствовала себя обиженной и обманутой. Она пошла по берегу, в темноте села на камень. И заплакала.

С корабля взлетали все новые и новые грозды фейерверка. «А может быть, с этими веселыми огнями взлетают настоящие боевые ракеты, — думала девочка, — они летят над морями и океанами, чтобы с сокрушающей силой упасть где-то между Великими озерами и заливом Мэн?» И на память пришли слова старого солдата Ральфа Пастера: «Не подведи, Саманта». А что делать, чтобы не подвести?

— ...Наташа, ты спишь?

— Нет, а ты, Сэми?

— Не сплю... Пол Попрыгунчик не дает уснуть. Мне кажется, он притаился в кустах, и я слышу, как стрекочет его камера. Слышишь?

— Это цикады.

— Цикады? Здесь есть цикады?

И опять тихо. Но через некоторое время:

— Наташа! Ты лежишь?

— Лежу.

— А я сижу. Ты видишь? Хотя так темно, что ничего не видно. Слушай, Наташа, нас решили обмануть. Весь этот чудесный праздник ненастоящий.

— Как ненастоящий?

— Ну, он не для нас... И все песни, танцы, костер не для нас.

— А для кого же?

— Для прикрытия. Пол говорит, что под прикрытием детского праздника стоят боевые корабли с ракетами.

— Я не понимаю тебя, Сэми. Что ты такое говоришь?

— Я тоже не понимаю. Но Пол старый, он весь седой. Он-то знает, где правда, где ложь.

— Он знает, — согласилась Наташа и надолго замолчала.

И вдруг, не спрашивая Саманту, спит она или не спит, заговорила:

— На этом корабле есть ракеты — ты видела, сколько разноцветных ракет улетало с его борта в небо. А сегодня днем он высадил в «Артеке» десант — Нептуна и его свиту русалок. И одна из русалок сидит перед тобой. Может быть, по мнению Пола, я — солдат морской пехоты? Ты спроси своего Попрыгунчика. Понимаешь, Сэми, правда очень чуткая, стоит ее чуть-чуть замутить — и она перестанет быть правдой.

Саманта ничего не ответила. Она легла в постель и с головой закрылась одеялом. Ей мучительно хотелось домой.

5.

Саманта проснулась, когда брезжил рассвет. Она быстро оделась и на носочках, чтобы не разбудить подруг, направилась к двери.

Утро было пасмурным. От моря тянуло свежестью. И то ли от этой свежести, то ли от волнения Саманта познабливало. Она скрестила на груди руки и ладошками стала греть плечи. Девочка прошла мимо кипарисов, которые в неясном свете были синими. От них пахло смолой. Саманта вошла на костровую площадку. Здесь было тихо и пустынно, как в зрительном зале после спектакля. От лежащей в центре груды головешек тянуло горечью пожара. И Саманте почудилось, что это не погасший костер, а пепелище. Что-то красивое, важное, вечное возвышалось на этом месте. И вот сгорело.

Над морем стоял туман. Он поднимался от воды и спускался с неба. Сквозь серую завесу тумана светлыми пятнами пробивались лучи приближающегося солнца.

Саманта не сразу увидела военный корабль. Она даже решила, что он отошел от берега. Но, приглядевшись, девочка обнаружила строгие очертания судна. Корабль стоял неподвижно на прежнем месте, словно вросший в воды утреннего моря.

Саманта пристально смотрела на корабль, и ей казалось, что судно притаилось, слилось с туманом, но не спит. А может быть, на самом деле корабль бесшумно плывет или летит над волнами? И чайки с широкими надломленными крыльями с криком сопровождают его.

И вдруг Саманта услышала рядом тихий, мягкий голос:

— Девочка, ты что не спишь?

Саманта оглянулась. За ее спиной стояла невысокая женщина в спортивном костюме, но при этом голова ее была белой, а на глазах поблескивали толстые стеклышки очков.

Саманта подняла брови домиком и произнесла короткое слово:

— Ноу... Нет...

— Ду ю спик инглиш?

— Йес ай ду!

Эта странная маленькая женщина вызвала доверие, и Саманта улыбнулась ей.

— Я пришла посмотреть корабль, — объяснила она.

— И я... пришла посмотреть корабль, — сказала женщина по-английски и улыбнулась. — Этот корабль очень дорог мне.

— Почему? — Лицо девочки выразило удивление.

— На этом транспорте, — незнакомка почему-то назвала корабль транспортом, — нас во время войны вывозили из окруженного Севастополя. Нас было много — женщин, детей, раненых моряков.

Женщина рассказывала, и ее слова оживали, становились реальностью.

Саманта перевела взгляд с незнакомки на море. Туман немного рассеялся и от близкой зари порозовел, словно в его глубинах что-то горело.

— Я стояла на палубе и держала на руках Мишутку. Он прижался ко мне и затих. А в это время из-за туч вынырнул фашистский штурмовик. Он стал расстреливать транспорт... Так мы стояли под пулями, и спрятаться было некуда — все палубы и трюмы были забиты беженцами. Мишутка рядом со мной был спокоен, а меня поддерживало то, что он прижался ко мне и дышал мне в щеку. Потом фашист улетел. Стало тихо, только слышались голоса людей, крики, плач... И вдруг я почувствовала, что Мишутка похолодел. «Замерз на ветру», — подумала я и закутала его в свой шерстяной платок.

Крепче прижала к себе, хотела согреть. Но он так и не согрелся. Я так никогда его и не отогрела...

Саманте показалось, что корабль с беженцами приблизился к берегу, то есть к ней. Он плыл и не мог уплыть. А вдоль всего берега стояли ребята, пионеры, артековцы. Они молча смотрели на плывущий из далекого времени военный корабль... Корабль страданий... Он двигался вдоль строя пионеров, словно принимал парад.

Саманта оглянулась — женщина стояла неподвижно. Только очки ее стали мутными... от слез.

— Где Мишутка? — одними губами спросила девочка.

Но женщина молчала, глядела перед собой невидящими глазами. Она не расслышала вопроса Саманты.

— Не спрашивай ее о Мишутке, — тихо сказала Наташа, которая очутилась рядом с ними. — Он остался на том... на этом транспорте.

— На военном? — спросила Саманта.

— Тогда все было военным, — ответила подруга.

И тут Саманта вспомнила слова из репортажа Пола: «Праздник не настоящий, а камуфляж, который прикрывает боевую мощь...». Боевую мощь... Эти слова, как удар, причинили боль. И девочке стало стыдно, что она поверила им. Ей захотелось спрятаться от женщины, потерявшей своего Мишутку, от Наташи, от всех ребят.

Взошло солнце. Туман развеялся. Море начало легонько накатываться на берег. Транспорт военных лет снова стоял на месте.

В это время вдалеке раздался ритмичный приглушенный стук мотора, и из-за мыса выплыл небольшой буксир. Он пересек бухту и замедлил ход около старого корабля. Послышались обрывки команд, похожие на крик морских птиц, что-то загрохотало, заскрежетало. И вот буксир уже плывет в обратном направлении, а за ним на длинном тресе следует старый корабль. У корабля-ветерана, инвалида войны, даже не было своего хода — отказал. Палуба пустовала. Флаги расцветивания были спущены. Сперва за мысом скрылся буксир, потом военный корабль...

Какая-то горечь осталась на сердце.

Саманта огляделась. Вокруг никого не было. Только Наташа, верная неизменная Наташа стояла рядом.

— Прости меня, Наташа, — вырвалось у Саманты.

— За что, Сэми?! — Наташа удивленно смотрела на подругу. — За что «прости»? За то, что ты без меня ушла на море? Ты, наверное, думала, что я сплю, да? Не захотела меня будить, да? А я проснулась и за тобой!

— Кто эта женщина... в спортивном костюме?

— Учительница артековской школы. Нина Сергеевна. Она преподает английский... У нее сын погиб на этом корабле.

6.

В Ливадийском дворце даже в жаркую погоду прохладно. Здесь дышится легко, словно свежий воздух попадает сюда прямо с заснеженных гор.

За окном крымское солнце, пылающие цветы иудиного дерева, нежные олеандры и зеленое море виноградников. А за виноградниками настоящее море — живое, дышащее и тоже зеленое.

В большом зале высокие окна и колонны. И круглый стол, покрытый светлой скатертью.

Саманта медленно шла по залу, и паркет поскрипывал под ее шагами, как морозный снег.

А потом ее подвели к креслу, стоящему у круглого стола, и сказали:

— В этом кресле сидел президент Рузвельт.

Девочка внимательно осмотрела кресло, с опаской коснулась его рукой и погладила спинку.

— Можно мне посидеть в этом кресле? — неожиданно спросила она.

Ей разрешили.

Саманта осторожно отодвинула кресло, уселась поудобнее и задумалась. Никто не прерывал ее мыслей.

А в мыслях Саманта увидела президента Рузвельта. Она сразу узнала его седые мягкие волосы, тонкие черты благородного лица, глаза, вопросительно смотрящие из-под стеклышек пенсне. На плечах у президента была темная накидка. Саманта узнала его, потому что портрет Рузвельта висел у папы в кабинете.

Когда Саманта была маленькой, она спросила папу: «Это дедушка?» «Это президент Франклин Рузвельт», — многозначительно ответил папа. «Дедушка Рузвельт?» Папа засмеялся и промолчал.

И вот теперь президент возник перед ней, как старый знакомый. И, как знакомый, он знал ее имя.

— Хелло, Сэм!

— Здравствуйте, мистер президент! Я села в ваше кресло. Простите. Я сейчас встану.

— Подожди. — Президент жестом руки остановил Саманту, и она заметила, что у него длинные, тонкие, музыкальные пальцы. — У меня есть другое кресло.

И тут девочка обратила внимание, что президент сидит в кресло-каталке, точно такой же, как у старого солдата Ральфа Пастера, и его ноги закрыты пледом.

— А тебе нравится кресло, на котором ты сидишь? — спросил президент.

— Хорошее, только ноги не достают до пола. Но я немного сползла и носочками дотянулась.

— Зачем? — удивился президент.

— Чтобы чувствовать себя взрослой. Все взрослые достают ногами до пола.

— Ты хочешь сказать, что сидеть в президентском кресле не так просто?

— Если сидеть каждый день, можно привыкнуть. Президент мягко засмеялся.

— Привыкнуть можно даже к такому креслу, — сказал он и похлопал рукой по колесу кресло-каталки. — Но от этого не легче. Ты из какого штата?

— Штат Мэн.

— О! Там прошло мое детство. В заливе Мэн стояла наша яхта «Хаф-мун». Когда мне было, как тебе, десять лет, я мечтал стать моряком. Да вот не получилось... У меня еще был шотландский пони. Безумно трудно было за ним ухаживать.

— С собакой тоже непросто, — сказала Саманта. — Я собираюсь стать ветеринаром. Лечить зверей.

— Это хорошо, Сэм! — похвалил девочку президент. — А то все американцы мечтают непременно стать президентами. Хоть в детстве, а мечтают.

И тут Саманта задумалась и сказала:

— Я бы тоже хотела стать президентом. Только немедленно.

— О! Почему так быстро? — удивился Рузвельт.

— Потом может быть поздно. Ведь каждый день может стать последним днем Земли. Президент в силах спасти мир...

И в это время произошло странное: президент вдруг исчез. Перед Самантой стоял Попрыгунчик Пол.

Саманта резко закрыла лицо руками:

— Не буду сниматься. Не хочу, чтобы вы меня снимали.

— Почему, дитя? — спокойно спросил Пол. — Прекрасные кадры: Саманта сидит в кресле президента Рузвельта.

— Вы говорите людям неправду, вы снимаете неправду.

— Саманта, ты еще дитя. Ты дитя! Тебе не понять меня. Я снимаю то, что мне заказывают. Если не буду, меня прогонят. И мне придется ночевать на скамейке в Центральном парке, под шум листвы. Тебе не жалко меня?

Саманта внимательно посмотрела на Пола, впервые заметила, какой на самом деле он старый. Его глаза ввалились, а под ними появились желтоватые мешки. Был он небритым, и щетина на его подбородке походила на маленькие ржавые гвоздики...

— Но кто-то должен говорить правду. Ведь если будет одна ложь...

— Кто-то должен, — прервал ее Пол и с силой потер ладонью свой колючий подбородок. — Но не я... Сэм! Я слабый человек! Я буду врать, буду! Буду! Буду! Но ты другая, ты не будешь. Я знаю точно, ты не будешь. Только подожди немного.

— Ждать нельзя. Если я сойду теперь, мне никто не будет верить. Пол, это страшно, когда тебе не верят. Нельзя ждать.

— Послушай старого Пола! Они ни перед чем не остановятся. Для них президент, старик, ребенок — все одно! В Америке я бы тебе не сказал этого... Послушай, девочка! — вдруг с энтузиазмом воскликнул Пол. — Сейчас я сниму свой самый интересный репортаж! И самый правдивый. Я задаю вопрос: что сделала бы ты, простая американская девочка, если бы на самом деле стала президентом?

Саманта удивленно поглядела на Пола. А тот уже, прищурив один глаз, другим припал к окуляру. Кузнечик застрекотал. И девочка почувствовала, что на нее смотрит вся Америка. И у нее есть возможность сказать самое главное миллионам людей. «Что сделала бы ты, простая американская девочка, если бы на самом деле стала президентом?»

— Я бы поверила, — неожиданно произнесла Саманта. — Я бы поверила... Я бы научила всех верить друг другу... Только правда спасет Землю... Я, как президент Рузвельт, поехала в Россию, чтобы узнать правду о ее народе...

Уже перестала стрекотать кинокамера Пола. Те, кто был в зале, тихо вышли в распахнутые белые двери. А Саманта все сидела в кресле президента и сжимала руками подлокотники.

Глава четвертая

1.

Когда подруги прощались, Саманта сказала: — Давай поменяемся туфлями!

— Давай, — согласилась Маленькая Наташа, — только мои туфли будут тебе тесноваты.

— Ничего, я разношу их. Зато буду чаще вспоминать тебя.

— Я буду вспоминать тебя и без туфель. Мы встретимся в Ленинграде.

— Мы встретимся в Ленинграде, — подтвердила Саманта. — Я выучила наизусть номер твоего телефона.

Колокол мира «Артек»



...Саманта ехала по Ленинграду, и ей казалось, что этот прекрасный город создан для праздников, что, едва наступит вечер, во дворцах загорятся огни, из открытых окон на улицу вырвется музыка и весь город заполнится весельем.

Поэтому в первый день по приезде в Ленинград Саманта ждала вечера. Ждала с нетерпением, но вечер не наступал. Часы пробили девять, десять, одиннадцать раз, а на улице было светло, ночь не приходила. Саманта лежала в постели и, время от времени просыпаясь, смотрела на окно. Оно было светлым, словно стекла залили молоком.

Саманта зажмурилась и попробовала уснуть. Но сон не шел к девочке. Перед ее глазами, как на экране телевизора, снова и снова возникали дворцы, арки, чугунные ограды, дремлющие каменные львы и удивительный памятник, который все называли Медным Всадником. Медный Всадник на медном коне взлетел на гранитную скалу и замер. У него было строгое волевое лицо, а на голове венок из веток лавра. А в ногах у коня лежала змея величиной с анаконду, и конь занес над ней копыта. Саманте казалось, что сейчас сильный конь сделает прыжок и перенесет бесстрашного всадника на другой берег Невы.

И конь прыгнул. И Медный Всадник очутился на другом берегу. А на гранитной скале осталась только змея, но она лежала без движения: видимо, конь успел опустить на нее копыто. Но это был уже сон.

А рано утром девочку снова охватило ощущение близкого праздника. Ей захотелось выйти на улицу, поделиться с кем-то своей радостью. И тогда Саманта взяла телефон, спряталась с ним под одеяло и набрала номер.

Через некоторое время сонный голос отозвался в трубке:

— Алло!

— Это ты, Наташа?

— Я... Сэми? Ты приехала? Ты в Ленинграде? Как хорошо, что ты позвонила.

— Твои туфли так жмут, — сказала Саманта. — Может быть, поменяемся обратно?

— Согласна. У меня нога плавает в твоих туфлях. И две подружки на разных концах провода тихо рассмеялись.

— Наташа, ты можешь меня похитить?

— Как похитить? — удивилась девочка.

— Ну, не знаешь, что ли? Приходят люди в масках с пистолетами. Хватают тебя. И под угрозой смерти заставляют написать письмо родителям: «Дорогие папа и мама, меня похитили. Не покупайте на выкуп».

— Но у меня нет маски, пистолета, и мне не надо выкупа! — засмеялась подруга. — И не могу же я похитить собственную подругу!

— Но если подруга просит тебя об этом!

— Тогда скажи, зачем тебе это понадобилось?

— Хочу отдохнуть от взрослых, — ответила Саманта. — Они все так усложняют, что ничего не поймешь. Словом, в семь утра...

Саманта встала с постели. Быстро привела себя в порядок. И стала ждать. Ровно в семь часов кто-то тихо поскребся в дверь. Саманта вышла в коридор. Перед ней стояла Наташа — без маски, без пистолета, с расстроенным лицом.

— Что-нибудь случилось? — спросила Саманта.

— Случилось. Гостиницу осадили корреспонденты. Они ждут тебя. Мы не сможем выйти.

Саманта задумалась. Но только на минуту.

— Идем! — скомандовала она и зашагала по коридору в другую сторону.

— Ты куда? — окликнула ее Наташа.

— Кто кого похищает? — усмехнулась Саманта. — Идем! В каждой гостинице есть служебный выход.

И вот уже две подружки спускались по черной лестнице, ведущей во двор. Снизу доносились громкие голоса и пахло кухни.

Двор был узким и тесным. В нем стояли машины-фургоны, в каких развозят продукты.

— Раз есть машина, значит, есть ворота, — шепнула подруге Саманта. — А теперь представь себе, что мы с тобой узники и совершаем побег из замка.

Наташа только улыбнулась в ответ.

Одна машина тронулась с места и медленно дви-

нулась к воротам. Две беглянки последовали за ней. Машина въехала в похожую на тоннель темную подворотню. Прижимаясь к стене тоннеля, девочки зашагали рядом. Тут створки ворот распахнулись, и тоннель сразу наполнился светом. Пока пожилой вахтер проверял у шофера документы, девочки протиснулись к воротам.

И вот желанная свобода!

Подруги выбежали на улицу и оглянулись. У входа в гостиницу, направив на дверь-вертушку объективы, стояли репортеры и операторы. Осада гостиницы «Европейская» продолжалась.

Когда девочки отошли подальше от гостиницы, Наташа спросила:

— Что мы будем делать? Зачем я тебя похитила?

— Ты должна показать мне, Наташа, то, что почему-то от меня скрывают взрослые... Я хочу увидеть войну. Я хочу узнать, какой она была. Я хочу пережить блокаду.

Наташа крепко сжала руку подруги и сказала:

— Идем.

И она пошла следом за подругой, в чужое далекое, как в свое.

Очень трудно заставить машину времени завернуть колеса в обратном направлении. Очень трудно из настоящего шагнуть в прошлое — все пути в минувший день кажутся перекрытыми. Но тупик не должен останавливать тех, кто полон решимости.

2.

— Этот дом был ранен на войне. Но выжил... — говорила Наташа, словно она очевидец далеких событий. — И соседний дом был на войне. И вся эта улица... И весь город был на войне и вернулся. Не сдался в плен. Встоял.

Саманта вдруг вспомнила соседа Ральфа Пастера.

— Я слышала про лес, который был на войне. Когда его стали пилить — пилы ломались: так много военного железа застряло в каждом дереве.

— В этих стенах тоже много военного железа. Только снаружи не видно, — отозвалась Наташа.

— Покажи мне хоть один осколок войны, — вдруг попросила подругу Саманта, — чтобы легче было поверить.

Наташа задумалась. Потом она сказала:

— Идем ко мне домой, я покажу тебе... осколочек.

И они зашагали в сторону Васильевского острова.

...Девочки сели за стол, и Наташа положила перед Самантой листок бумаги. Он был серый и, если провести по нему пальцами, шершавый. На этом военном листке было что-то напечатано и что-то написано от руки чернилами. Чернила выгорели и как бы поржавели.

— Что это? — недоверчиво спросила Саманта.

— Осколок войны, — был ответ.

— Где осколок? — удивилась Саманта. — Он должен быть железным и тяжелым.

— Этот осколок войны тоже тяжелый, очень тяжелый, — сказала Наташа.

— Это донесение разведки? Шифр, добытый во вражеском штабе? — допытывалась Саманта.

— Нет. Это школьный табель моей бабушки. А цифры — отметки. Все пятерки. Только одна четверочка.

— Я тоже учусь хорошо, — ничего не понимая, сказала Саманта.

— Но ты не знаешь, как училась моя бабушка. Рядом горели дома. Рвались снаряды...

Я представляю себе, как подруги сидели одна против другой, а между ними на столе лежал листок серой оберточной бумаги с пятерками, заработанными бабушкой в огне и холоде блокадного города. За стихи, выученные под бомбежкой. За задачки, решенные во время мучительного приступа голода. За сочинения, написанные при свете коптилки...

— ...Сэми, я должна познакомить тебя со своей подругой Таней Савичевой. Мы с ней соседки. Она со Второй линии, а я с Четвертой. Только жила она в другое время.

— Как же вы подружились, если она в другое время?

— У нас с ней много общего... И потом всегда хочется дружить с человеком, которым восторгаешься.

— Но если этого человека нет? Нельзя с ним побегать по саду. Или сыграть на рояле в четыре руки.

— В четыре руки нельзя. Но можно думать о нем. Разговаривать с ним. Я покажу тебе дневник Тани Савичевой.

И Наташа достала из ящика стола обыкновенную школьную тетрадку, в которую был переписан дневник ленинградской школьницы, ставший известным всему миру.

«Женя умерла 28 декабря в 12.00 час. утра 1941 г.» «Бабушка умерла 25 янв. 3 ч. дня 1942 г.» «Лёха умер 17 марта в 5 часов утра 1942».

Наташа читала и переводила на английский эти слова с таким трудом, словно они были только русскими, непереводаемыми. Но Наташа старалась, и Саманта шла ей навстречу — понимала. Эти слова обладали какой-то странной силой. Они переносили девочек в глубь далекого и трагического времени, когда оконечившая рука ленинградской девочки писала эти строки.

Нет, они не читали. Они шли по улицам окруженного врагами города, и леденящий ветер обжигал им лица. Их качало из стороны в сторону, ноги упали в снег, но они шли. По городу, как по ледяной пустыне.

«Дядя Вася умер 13 апр. 2 ч. ночь 1942». «Дядя Леша 10 мая в 4 ч. дня 1942».

Слух девочек потрясла новая ожившая запись из дневника: «Мама 13 мая в 7.30 утра 1942». И хотя слово «умерла» не прозвучало, не прогремело, не перевернуло, как взрывом, всю землю, оно ударило в сердце. Прямо в сердце. «Мама? Там же не сказано, чья мама. Может быть, моя мама?» — так странно и страшно работала мысль Саманты.

А потом тихо-тихо прозвучала последняя строка дневника: «Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня».

«Осталась одна Таня... Осталась одна Наташа... Наташа... Наташа...» — шептала Саманта и сильнее прижималась к подруге. — Осталась одна Саманта, одна Саманта... Одна».

3.

Накануне отъезда Саманта вошла в лифт и лицом к лицу столкнулась с Попрыгунчиком Полом.

— Хелло, Пол!

Она выдохнула привычное приветствие и тут только заметила, что с Полом произошли перемены. Он осунулся, похудел, а его веселые, живые глаза потухли и смотрели как-то печально.

— Вы больны, Пол? — спросила Саманта. — Где ваша маленькая обезьянка?

Пол потер свободное плечо ладонью и через силу улыбнулся:

— Упакована. Я уезжаю.

Лифт остановился. Девочка и репортер вышли и вместе направились к двери-вертушке.

— Давай пройдемся, — сказал Пол. — Когда еще увидимся! Ты предполагаешь временем?... Я хочу тебе что-то сказать.

— Пойдемте, Пол, — согласилась девочка.

Они свернули на Невский и некоторое время шли молча. Им надо было сказать друг другу что-то очень важное. Но они никак не могли решиться.

И вдруг они очутились у дома с надписью: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Слова были написаны по-русски, но Саманта и Пол уже научились читать их.

— Послушайте, Пол, у нас в Америке есть сторона, опасная при артобстреле? Вы объездили все Штаты, вам попадалась такая сторона? — Саманта посмотрела на своего седого спутника. Тот молчал. — Скажите, наши бабушки умирали от голода и отогревали дыханием чернила, когда делали уроки? Ведь нет, Пол? Поэтому для нас война не была, а что-то другое? Сказка?

— Эта сказка у нас называется политикой, — тихо произнес Пол.

— Тогда политика эта страшная, как война!

— Советский лидер Ленин говорил, что война — это продолжение политики.

— Пол! Значит, это очень плохая политика. Значит, нужна политика, у которой другое продолжение. Любое другое, только не война... Мы с Наташей посмотрели войну... Ее здесь все помнят, будто все пережили ее... И старые люди по привычке переходят здесь на другую сторону. Идемте!

Она торопилась, словно боялась, что начнется артобстрел.

Пол все молчал. Все никак не мог сказать то, что собирался сказать своей маленькой спутнице. Они вышли на широкую Дворцовую площадь, и им в лицо пахнул свежий невский ветер.

Так они дошли до набережной и остановились возле гранитного спуска, который охраняли два бронзовых льва.

— Почему вы уезжаете сегодня? Я думала, мы полетим вместе, — сказала Саманта и, мотнув головой, откинула назад растрепанные речным ветром волосы.

— Меня срочно отзывают в Штаты. Они там считают, что я поддался советской пропаганде. Что за чушь! Они что-то здорово недопонимают. Я поддался твоей пропаганде, Саманта! Я поверил тебе... Наступает такое время, когда старики должны безраздельно верить молодым. Иначе они погибнут.

— Почему? — с недоумением спросила Саманта.

— Потому что старики сами никогда так остро не почувствуют будущее, как молодые. Молодые учат нас жить. И надо учиться, а не упрямиться.

По Неве, оставляя похожий на дорогу след, промчался «Метеор», в нем сидели дети, они махали руками. Густо пробасил буксир, маленький, он тащил две длинные баржи. И над водой кружили чайки, поджав, как шасси, лапки.

4.

На прощание Наташа привезла подругу на ромашковое поле. Увидев ромашку, Саманта удивленно оглянулась на подругу и наклонилась к цветку. Она внимательно рассматрива-

ла его, словно изучала. На самом деле она узнавала свой родной цветок. Он был сейчас посланником ее родных мест.

А Наташа следила за Самантой и думала, что Саманта впервые видит ромашку: с таким изумлением американская подруга смотрела на цветы. Наташе и в голову не приходило, что ромашки растут не только у нас и что там, за океаном, люди тоже считают ромашку родным цветком. Но называют его не «ромашка», а «дэйзи».

И вдруг улыбка озарила лицо маленькой американки, ее глаза загорелись, и она сорвалась с места, побежала по ромашковому полю.

Она бежала по полю и кричала:

— Дэйзи! Дэйзи!

Она задевала цветы коленками, гладила их рукой. Казалось, поле оживило и тысячи маленьких солнц с белыми лучами завертелись, пришли в движение.

Родные цветы перелетели за ней океан и на белых парашютиках опустились на русскую землю. И вот они окружили ее — и, если наклониться и понюхать, кончик носа станет желтым. И захочется лизнуть золотую сердцевинку, словно она из меда. Недаром она пахнет медом.

Саманта упала на землю. Перевернулась на спину и смотрела в небо, а рядом с ее лицом, рядом с глазами, касаясь щеки, покачивались цветы ромашки. И ей казалось, что она дома.

— Ромашка! — сказала Наташа.

— Дэйзи, — отозвалась Саманта.

— Ты должна выучить, как будет «дэйзи» по-русски, — настаивала подруга. — Ро-маш-ка!

— Ро-маш-ка! — по складам повторила Саманта и засмеялась.

И Наташа тоже засмеялась.

Ромашка! Дэйзи!

В этот момент Саманта сделала важное открытие, что есть вещи, которые даже в Зазеркалье остаются неизменными. Например, ромашка. И если левая рука в зеркале кажется правой, то она все равно остается рукой. Глаза остаются глазами. Сердце — сердцем.

— Наташа, мы с тобой как сестры, правда? — спросила Саманта.

— Как сестры, — охотно согласилась Наташа.

Там, на ромашковом поле, где русская и американская девочки вдруг почувствовали себя сестрами, ни одна из них не помышляла о том, что эта встреча последняя. Они еще не наигрались, не наговорились, не набегались, не натащивались и еще много-много «не на». Им не хватило времени. Им для дружбы нужна была целая жизнь. Они не понимали, что жизнь — мера времени ненадежная, она может оказаться очень маленькой.

Я представляю себе их последний разговор. Они не знали, что он последний, и говорили об обычных вещах.

— Знаешь, Сэмми, я куплю карту Америки и повешу ее над кроватью, — сказала бы Маленькая Наташа. — Я найду город Манчестер и воткну в него флажок. И буду всегда знать, где ты. Где твой дом, откуда ты бежишь в школу или на детский утренник. Это будет флажок моей памяти, моей любви.

— А когда ты приедешь ко мне в гости, я позвоню тебе с Дугом и со старым Ральфом и с другими хорошими людьми, — сказала бы Саманта. — А потом папа свозит нас на Великие озера. Ты никогда не была на Великих озерах?..

Моя фантазия — ненаписанный дневник Саманты. Фантазия — инструмент для прорыва в будущее. Фантазия может приблизить к нам и прошлое.

Универсальный инструмент.

Только в настоящем времени трудно живется фантазерам.

Саманте и жилось трудно. Судьба подарила ей сказку — девочка выиграла по автобусному билету! — и она употребила ее не для собственной лишь радости, а чтобы пробиться к истине.

Американская девочка поставила перед собой не детскую задачу — избавить миллионы людей от ежедневного, неотступного страха перед тем, что сегодняшний день может стать последним днем Земли.

«Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта» — эти слова Саманта прочла, сумела прочесть в сердцах всех, с кем ей довелось встретиться в Советском Союзе.

Подожди, Сэми, не уходи, останься с нами!

Но Саманта смотрит на меня с какой-то странной печальной надеждой. Брови поднялись, образовав над глазами домик, веточки ресничек вздрагивают, рот полуоткрыт, прядка волос сползла на щеку. И во всем ее милом облике предчувствие расставания.

Я представляю себе Саманту на последней пресс-конференции перед отлетом на родину.

Она подходит к дверям зала, где ее ждут журналисты и телевизионщики всех газет и компаний, и останавливается. До ее сознания вдруг доходит, что сегодня ст. нее ждут не улыбки и шутки, а нечто более важное. И если Попрыгунчик Пол или кто-то из его коллег спросят: «Ваши впечатления о Москве», то сказать: «Оказывается, в Москве по улицам не ходят медведи. А живут они в театре зверей Натальи Дуровой», — сказать лишь это недостаточно.

— Пора, Сэми, — слышен за спиной голос папы. — Мы с тобой, Сэми.

«Пора!» — про себя повторяет девочка и открывает дверь. И входит в зал. Она идет по проходу и кивает знакомым — вместе работали! — и улыбается. Только улыбка у нее грустная и глаза стали темней. Так всегда бывает перед разлукой.

Саманта садится за стол, и сразу десяток шершавых кулачков микрофонов потянулся к ней. И поблескивающие объективы множества камер нацелились на маленькую американку, словно лучами рентгена хотят проникнуть внутрь, узнать самое сокровенное.

Но «самое сокровенное» девочка и не прячет, и для того чтобы узнать ее мысли, не нужны рентгеновские аппараты и детекторы лжи. В девочке все открыто, все ее мысли можно прочесть по глазам.

Саманта заговорила не сразу. Она вдруг почувствовала, что судьба подняла ее над всем миром и у нее есть счастливая возможность громко, на весь мир обнародовать свою, найденную в России правду. Она была девочкой и осталась сама собой даже на прощальной пресс-конференции.

Саманта заговорила о петухах:

— Нам в Штатах кажется, что петух поет «кок-э-дудя-ду», французам слышится иное — «ко-ко-ри-ку». Шведы считают, что петух поет «ку-ке-лику», а португальцы — «ко-ко-роко». Русские убеждены, что петух поет «ку-ка-реку». На самом деле все петухи

в мире поют одинаково... Русские дети очень похожи на американских. Только имена у них другие. Ну и что из этого? Я здесь открыла столько сходства, что мне кажется — наши страны совсем рядом. И между нами нет океана.

Саманта замолчала и услышала стук собственного сердца. И еще она услышала стрекот, похожий на голос кузнечиков на летней лужайке. Это работали кинокамеры. Саманта отыскала глазами папу. Он стоял, прислонясь к стене, и одобритительно кивал.

— У нас в Штатах говорят, что русские хотят войны. Они или ничего не знают о русских или ничего не знают о войне. Ведь в Штатах нет стороны, наиболее опасной при артобстреле. И наши бабушки не делали уроки, отогревая дыханием пузырек с замерзшими чернилами. Может ли такой народ хотеть войны?

И в этом требовательном вопросе уже был заложен ответ.

Саманта посмотрела на папу. Папа глядел куда-то вдаль, сквозь стены зала. Потом он как бы очнулся. Повернул лицо к дочери. Но Саманта уже не видела его.

— Когда я была в Ливадии, меня привели во дворец и показали кресло, в котором за круглым столом когда-то сидел наш президент Рузвельт. Я спросила: «Можно мне посидеть в этом кресле?» Мне разрешили. Кресло было высоким. Я села, но у меня болтались ноги. Тогда я сползла на самый краешек и дотянулась носочками до пола. И я почувствовала себя чуть-чуть взрослой. «Вот я — президент!» — подумала я. Я сидела и улыбалась как дурочка. Играла в президента. Но потом я на минутку по-настоящему почувствовала себя президентом. И тогда мне показалось, что от меня, понимаете, от меня зависит, будет ли завтра Земля живой и зеленой или превратится в холодную планету пепла, как Луна. И я почувствовала, что не должна этого допустить. Пусть в меня стреляют, как в Кеннеди, — не должна! И эта мысль — «Я не должна этого допустить» — была со мной, когда мы на «рафике» ехали домой в «Артек». И когда вечером я сидела у костра, и когда легла в постель. Эта мысль будила меня ночью — не должна! И я вдруг поняла, что это и есть моя главная цель жизни, кем я ни стану: буду лечить зверей или буду, как Попрыгунчик Пол, бегать с камерой за знаменитыми, — я не должна допустить! Нигде, никогда, ни за что! Не должна! Не должна!

МУЖЕСТВО

Мне легко вспомнить, когда именно мы познакомились с Ириной Триус: ровко двадцать три года назад. В ту пору у меня только что родился сын. А теперь уже этот сын носит к Ирине в гости своего годовалого сына...

Помню, когда впервые шла к ней, на улице моросил дождь, а я намеренно замедляла шаги. Потом, в коридоре, хотелось отряхнуть вместе с каплями влаги неуместную очевидность своего здоровья. Вот сейчас я войду, а она будет лежать, пройдуся по ее комнате, а она не встанет навстречу. Прикована к постели... Эти страшные слова знакомы каждому по книге о Павке Корчагине, они звучат как героический символ, но когда такого человека предстоит увидеть, прикоснуться к его горю, впервые понимаешь, какая безжалостная точность заключена в этой привычной метафоре: прикована! На лицо невольно наплывает выражение трагического сочувствия... Но вдруг, еще не войдя в комнату, я услышала звонкий, по-детски радостный смех. То был смех — искренность, смех — состояние души. То был ее смех.

За минувшие годы я видела Ирину разной, чаще — в страдании, в боли, но какое бы испытание ни посылала ей судьба, до какой бы черты отчаяния ни доводила, она, Ирина, продолжает любить свою, казалось бы, невыносимую жизнь. И уже одно это можно назвать подвигом.

Она выросла в хорошей большой семье. Мать — учительница, отец всю жизнь занимался статистикой сельского хозяйства. У Ирины было два брата, и всегда толпились в доме мамы ученики. Старший брат Миша и двоюродный Митя погибли на фронте. Но и после этой тяжелой потери дом на Пушкинской площади оставался многонаселенным и шумным — сюда приходили невесты погибших братьев, ставшие теперь Ирине сестрами, появилась семья у младшего брата Жени. Он, талантливый ученый-математик, которому в тридцать восемь лет предстояло стать доктором наук и одним из ведущих специалистов в своей области, был для Ирины главной духовной опорой. Отец был ее вторым «я». А мать, поразительной мудрости женщина, была как солнце в доме, согревала каждого, кто ступал на порог.

И вот всех их не стало. За какие-нибудь десять лет ушли из жизни: отец, младший брат Женя (ему было чуть за сорок), мать. Каждый из нас, теряя родных, переживает ощущение пустоты мира и собственного сиротства, но что же должна была пережить Ирина, оставшись одна в доме на своих опостылевших досках — постели...

Страшно сказать: она прикована к постели уже тридцать четвертый год. До болезни успела окончить Институт инженеров транспорта. С детства благодаря братьям пристрастилась к технике. Успела пройти практику на Кавказе (сама водила поезд!), два года проработала в депо «Москва-1». Успела полюбить большие скорости, вся жизнь

представлялась как непрерывное движение. И вдруг на ее пути загорелся красный светофор...

Какие роковые совпадения устраивает порою жизнь! Мы помним, что болезнь Павки Корчагина началась на строительстве узкоколейки. Болезнь Ирины Триус, как определили потом врачи, тоже начиналась с тяжелой простуды, полученной в эвакуации, на строительстве Томской окружной дороги. Ирина была бригадиром студенческого отряда. Работали по ночам, в любой мороз и слякоть — городу была очень нужна эта дорога.

Ее болезнь относится к числу тех, перед которыми медицина пока бессильна. Две сложнейшие и безрезультатные операции на позвоночнике, десятки опровергнутых диагнозов. Первые годы она еще жила надеждой на выздоровление, теперь знает суровую правду: никогда... Теперь надежды другого ранга: отпустила бы хоть на время гнетущая боль. С годами появляются все новые осложнения.

Можно ли привыкнуть к боли? Не знаю. Но то, что можно научиться душевным усилием превозмогать боль, знаю по Ирине.

«...Мы с ученической скамьи усваиваем, что труд создал человека. И не задумываемся над этим особенно. Мне пришлось испытать на себе, как труд, именно труд способен буквально вернуть к жизни», — пишет Ирина Триус в своей книге «Жить стоит».

Эта книга, можно сказать, создавалась у меня на глазах. И вообще писательницей Ирина становилась у меня на глазах. Могу свидетельствовать: это как раз тот случай, когда человек берется за перо не из праздного желания что-то эдакое сочинить, а из настоятельной потребности поделиться с людьми главными выстраданными истинами, ради которых стоит жить.

Итак, мысль о том, что труд спасает. Ирина, инвалид первой группы, могла бы, конечно, не работать, могла сосредоточиться на своем здоровье, как это делают многие в положении куда более легком. У нее были заботливые любящие родители, которые никогда бы не попрекнули ее бездельем. Но кем бы тогда стала она сама!

Сразу после неудачной операции, осознав, что в депо возврата нет, поступает на заочное отделение экономического института. Изучает языки. Имея два диплома и пять языков, с помощью поверивших в нее людей Ирина добивается в общепит невероятного в ее положении: штатной работы. Все годы, которые ее знаю, она весьма успешно работает научным сотрудником ЦНИИ информации Министерства путей сообщения СССР. Дружью привозят ей работу на дом, потом увозят, качество сделанного всегда оправдывает эти сложности. Ирина удостоена звания «Почетный железнодорожник». Награждена орденом «Знак Почета». Ее книга «Жить стоит» удостоена премии Николая Островского. Но главная ее победа все-таки не в том, что она «осталась в строю, несмотря на...». Этим она всего лишь уравнила себя с другими, со здоровыми. Она сумела пойти дальше других. Говорю не просто о знании пяти языков, о двух дипломах и книгах. Можно достичь и большего, но остаться сумрачным человеком. Своим неустанным

душевым трудом Ирина сумела сохранить в себе такую юношескую радость жизни, что в пору позавидовать.

Любовь к жизни. Радость жизни. На уровне констатации эти слова звучат всего лишь как красивые лозунги. А откуда, мол, весь этот оптимизм, если человека тридцать пятый год терзает болезнь и еще сплошное одиночество в родном доме! Бывает, оставишь ее вечером в смятении — ну, просто раздавленный страданием человек, — а утром вдруг звонит, и голос уже светлый, живой. Что случилось! Прошел приступ! Нет, получила письмо. И рассказывает историю, которая с ее участием успешно завершилась: человеку дали квартиру или приняли на работу.

А может, дело в том, что она, Ирина, не только любит жизнь, но еще и доверяет ей! Доверять жизни — это убежденно знать, что в конечном счете жизнь все-таки справедлива: что-то отбирает, но что-то и дарит взамен. И нужно с благодарным вниманием принимать и ценить ее дары. «...Я перестала считать, чего в моей жизни нет. Считаю то, что в ней есть».

Мы говорили про одиночество в ее когда-то шумном доме. Оно по всем законам должно было наступить с утратой близких. «Приходящие» друзья, сколько б их ни было, не могут заменить одного-единственного, живущего рядом человека. Но — не наступило. У Ирины появился сын, взрослый сын Валерий. Он служил в армии, прочел об Ирине статью в газете, написал ей письмо, она ответила... Вскоре он стал называть ее в письмах «мамой». Это казалось странным. Мы, друзья Ирины, опасались приезда Валерия: не будет ли эта встреча очередным крушением ее надежд! Она перенесла уже столько крушений! Валерий приехал и остался, седьмой год живет рядом с ней. Никто из самых давних друзей Ирины не сделал для нее больше, чем этот упрямый темно-волосый юноша, исповедующий философию стои-

цизма в отношении ко всем невзгодам. Может, потому Ирина с детской отвагой верит в чудеса!

Сколько раз я поражалась ее безрассудному «авантюризму». Чуть сжалится болезнь и появится возможность сделать несколько шагов по земле — она не упустит случая полнее глотнуть жизни! Откликалась на предложение школьников (они ее шефы или она их воспитатель — трудно понять!) и провела неделю в зимнем туристском лагере. Решилась поехать с друзьями на Кавказ (в дорогу отправился и ее щит для лежания, костыли, килограммы лекарств). А потом мучительно и долго расплавлялась обострением болезни. Но никогда не жалела, что пошла на риск. «Плохое приходит само, выбирать мы вольны только хорошее. Так стоит ли думать о цене!»

Сколько темных минут и совсем уж черных дней сумела она превозмочь исключительно потому, что не теряла веры в завтрашнюю радость. Мой сын носит к Ирине в гости своего сына. Это нужно, конечно, ей — она воскресает в присутствии детей. Но еще больше нужно, наверное, тому, кто приходит. Люди приходят к Ирине Триус за уроками оптимизма.

Если мне так и не удалось ответить на вопрос об истоках этого оптимизма, надеюсь, читатель получит ответ из первоисточника — прочитав публикуемые ниже Ирины мысли вслух. Все «вечные» истины давно известны. Мы их слышим с детства. Но задумываемся ли над ними! А над смыслом собственной жизни часто ли решаемся думать! Ирина Триус в силу особенностей своей судьбы вынуждена делать это постоянно. Со свойственной ей щедростью она пускает нас в свои сокровенные думы. Не сочиненные. Выстраданные. Тем они и драгоценны. Так что отнесемся с бережностью. Может быть, не только ее, удивительного человека, лучше пойдем, но и в себе что-то откроем.

Лидия ГРАФОВА

ИРИНА ТРИУС: Я ВСЮ ЖИЗНЬ БОГАТА



т тех далеких пяти дней осталась игрушечная яхта из рога. Да еще память. Яхту подарили мне пограничники в городе моей первой любви. Она состоялась тогда, когда тысячи молоточков стучали болью по всему телу: «Как жить дальше?» Состоялась. Спасла. Потом умерла (умер). Но это было совсем давно. Остался город, осталось море. В это море мы с пограничниками вышли не на яхте — на простом курортном катере. Море сильно штормило, казалось свинцовым. Ребята испытующе смотрели на меня: не страшно ли? Но душа ликовала. Я видела ответный свет радости на лицах ребят-пограничников, пригласивших меня в гости.

Подаривших мне море, яхту и возвращение в память...

Пришло письмо, которое я так долго и терпеливо ждала. Открыла конверт — из него полетели открытки с розами всех возможных оттенков. «Иринушке» — прочла я на каждой. Других слов не было, их досказало счастливое воображение.

На книжном шкафу стоит орел — символ гор. Его подарили мне на Кавказе, когда я, приговоренная к неподвижности, со смелостью отчаяния ринулась из постели в неизвестность. Под стук колес неслась я в свою незабытую юность. Ступила на землю, покрытую выгоревшей, пожухлой травой. На землю, воспетую Пушкиным, Лермонтовым, Толстым — властелинами духа, которые давно населили мой бедный всамделишный мир богатством своих чувств и мыслей. Оттого я всю жизнь богата...

С тех пор как помню себя, видела под своим окном почерневшую крышу соседнего дома. Дом загорался. Летом крыша раскалялась на солнце, отдавая жар и мешая уснуть в душные июльские

вечера. Дом врос в жизнь. И вот в несколько дней его снесли. Открылись небо, земля, снег.

Я радовалась, что снесли дом, но долго не могла понять, что же ушло вместе с ним. И вот вспомнила! Под крышей в кирпичных выемках жили голуби. Они будили меня ранним утром своим воркованием, а днем нередко усаживались на мой подоконник. Теперь я перестала видеть птиц. Так понемногу уходит из жизни все, что мы любим. И даже порой не сразу замечаем это.

Снова письмо: «...болезнь перешла в кризисное состояние. Я не жалею, что учился. Сознание того, что боролся, успокаивает душу». Это слова, написанные карандашом, зажатым в зубах. Мужество этого мальчика возвышает его над смертью.

Сколько их — признанных и непризнанных корчагинцев — прошло через мое сердце. Нет, не уйти мне от них, от своей совести.

В Свердловске подростки-инвалиды организовали свой клуб. У них три девиза:

1. Ты — не один.
2. Если не можешь развиваться физически, развивайся духовно.
3. Если тебе плохо, найди человека, которому еще хуже, и помоги ему!

В окно ярко светит солнце. И летит пух от раннего майского цветения тополя. Завтра — отъезд. За многие годы впервые. А там и лес, и речка, и все другие чудеса. И дорога — дальняя, дивная. Трава на полях всколыхнется, и мне покажется, что вздыхает море.

Иногда одиночество даже полезно. Оно укрепляет волю человека и дает свободу для раздумий, для осознания себя и мира.

Всю жизнь я клала беду, но не подставляла ей плечи, тем, наверно, и воспрянула. Сохранила в себе жизнь и себя для жизни.

Горе есть горе. Болит сердце. Сдавлено горло. Но истинное горе приходит тихо — оно не шумит, не вопиет, только сама жизнь бунтует против него. Главное, что победит: горе или Жизнь? Может быть, горе пронесется, как ураган, ударит, истерзает, но потом отпустит, и останется от него только далекий отзвук... А может случиться, что поселится оно в душе надолго, вырастет глубокими корнями и измучает без сна и покоя. Но все равно должна возродиться Жизнь во всей ее яркости! Для чего-то она ведь дана человеку!

Я всегда живу с чувством вины: кому-то еще не помогла — десятки читательских писем остаются без ответа. А люди ждут не только волшебного слова, но и дела. Какими силами не обмануть их, если у самой осталось так мало сил?

Боль нельзя преувеличивать мыслью о ней. Страшна не столько боль, сколько подвластность ей, страшна не бессонница, а ожидание и бессилие перед ней. Прочь страх!

О, эта бессонница, когда человек остается наедине с тяжелым грузом собственных мыслей. Тогда бесполезно искать смысл жизни. Но я ведь знаю, что у каждого человека есть свой смысл, пусть даже он сам и не думает об этом. Так в чем же заключается для меня смысл жизни? Она, жизнь, отняла у меня все: здоровье, возможность ходить по земле, любовь, близких. Осталось одно: выполнить свой долг. Ведь знаю я, вижу, как нужно то, что я делаю, по-настоящему несчастным людям. На своем примере я показываю многим, что можно противостоять страданиям! И если, прочтя мою книгу, или статью, или письмо, кто-то станет чуточку счастливее, значит, я выполняю свой долг. И, значит, у моей мучительной жизни есть смысл.

Доброту надо беречь. Это не такой уж частый дар. И коль он тебе дан, его нельзя гасить. Доброта порождает доброту. Доброта — великая сила, ею можно лечить даже зло.

Моя знакомая, рассказывая, что отправляется в отпуск, сладко зевнула: «Люблю спать под стук колес!» Ну, а мне под стук колес никогда не спалось. Днем неотрывно притягивало окно. Леса, реки, озера, степи — каждую минуту все разное. Вечером — волшебный свет фонарей на полустанках, мерцание огней больших городов. Но время спать. Задвигаются шторы, и в купе гаснет свет. И тогда... прилетала синяя птица. Я всегда знала, что не буду жить легко. Понимала, что за исполнением каждой мечты, за которую придется дерзко бороться, придет другая. Но рядом со мной была синяя птица, и поэтому не было причин бояться, что какая-то мечта не сбудется. Она, эта никем не видимая синяя птица, была со мной всю ночь, а под утро улетала, оставляя мне синие перышки, как залог счастья. Перышки тоже были грезами.

Дорога, дорога, сколько надежд переполняло и без того переполненное красотой жизни сердце! Но отчего же вдруг, так сразу оборвалась дорога, умолк стук колес, лишив меня всего, чем жив и богат человек? Может быть, потому, что я не сумела сбросить синие перышки?

Мне кажется, от такой боли можно взорваться. Но я всего лишь плачу глухими, беззвучными слезами, не приносящими облегчения. Стоит гнетущая тишина. Только рано поутру надеваю слуховой аппарат, и, как праздник жизни, врывается в окно ликующее многоголосое пение птиц.

Отчаяние может привести человека к бездействию. И тогда парализуется сила воли — единственное, что может вывести его из этого состояния. Если что-либо сильнее судьбы, так это мужество, которое противостоит ей. Сносить страдания без жалоб — самое мудрое, на что способен человек.

Спасти от одиночества могут только труд и обилие интересов. Ведь каждую минуту можно что-то увидеть, услышать, узнать. Пусть я не выхожу на улицу, не вижу мир, но ведь у меня есть многое, что связывает меня с миром: книги, газеты, телевизор, приемник, магнитофон. Уплотнить свой день до такой занятости, что одиночества не будешь чувствовать из-за нехватки времени! И не будешь зависеть

от людей. Но как этого добиться, если тебя обуяла какая-то лень души? Нужно заставить себя полюбить жизнь усилием воли! Вот к чему я пришла.

Самое главное — не дать боли убить душу. Если болезнь выбивает из рук последнее оружие — возможность работать, тогда остается одно — терпеть. Но терпение — тоже работа, душевный труд, требующий высшего мужества.

Ночь прошла — и я увидела рассвет.

Ночь прошла — и из темноты вынырнули ели, трава, цветы.

Ночь прошла — и рядом снова живые люди.

Как я дожила до всего этого!?

Есть люди, излучающие свет. Это высшее счастье, какого может достичь человек. Ведь свет души притягивает к себе других людей. И, значит, никогда не будет одиночества. Когда рядом друзья, можно не бояться ни боли, ни страданий, ни нужды.

Нельзя приноравливаться к несчастьям. Ведь, кроме жизни, есть еще и смерть. Значит, надо спешить жить, чтобы успеть сделать все, что тебе положено.

Что же такое воля, о которой мы столько говорим? Наверное, это сила души, которая из ничего может сотворить чудо.

Ели. Елочки. Теперь им лет по двадцать. Мы сажали их всей семьей в чужом саду, на чужой даче, которую тогда снимали. Сейчас нет на свете уже никого, кто сажал их, кроме меня. И вот спустя годы я в суровом еловом лесу. Здесь ели большие. И так жестоко болит память.

У каждого своя ноша, и нести ее надо самому. Только не говорите, что сильному все под силу.

Быть может, судьба не дала мне счастья в общепринятом смысле слова. И все-таки она не была ко мне скупой. Отнимая одно, она дарила другое. И это, другое, порой с лихвой возмещало первое. Я любила и продолжаю любить Жизнь — это главное, чего так и не смогла отнять у меня судьба.

У каждого в жизни есть своя высота. С самого начала болезни я понимала: надо сломить беду... Не мне судить, взяла ли я свою высоту, но по крайней мере я всегда стремилась к этому.

Есть сердца, которые изживают себя уже в молодости. Для меня Жизнь всегда была нова, и я отправляюсь в свой трудный путь каждое утро.

Принято считать, что внешние впечатления обогащают наш ум и душу. А разве не бывает совсем наоборот? Разве все, что мы видим и слышим, не окрашивается «цветом» нашей души? Пасмурному человеку самый яркий день покажется серым, а человек, влюбленный в жизнь, может и себе и другим из любого мрачного будня сотворить праздник. Я убеждена, что счастье человека — в нем самом.

И зависит не от того, как складывается его судьба, а от того, каков его внутренний мир.

Я думаю, в каждом деле есть своя поэзия. Когда я работала в депо, поезд для меня были также поэзией. Два года я любила и обихаживала их, как живых, познала там все звуки и запахи, по ним научилась понимать болезни машин. Да, то было, наверное, призвание. Болезнь отняла любимую работу. Но на то ведь и дается человеку призвание (зов сердца к одному какому-то делу), что ты посвящаешь ему жизнь. Вопреки, казалось бы, невозможному я все-таки вернулась к своему делу. Конечно, в ином виде, в ином качестве. Ушли запахи. Ушли звуки. Ушло движение. Я занимаюсь поездами по журналам и книгам. Но ведь человек не может жить без воображения. И я силой любви вдыхаю жизнь в эти «книжные» поезда.

Разбушевалась стихия. Небо черное, тяжелое, будто из чугуна. Грохочет гром, раскальвая на куски небо, и тогда по трещинам бегут огненные змеи молний. Ветер будто задался целью вырвать из земли все деревья. Страшно? Нет, наоборот, какой-то азарт душит. Одеваюсь и потихоньку выхожу в лес — он совсем рядом. Одна в грозовом лесу! Сердце звонко колотится, и дух захватывает от этой непосильной красоты. Небо прорвало наконец ливнем. Промокшая, возвращаюсь в постель, а за окном все продолжает бушевать природа. Не могу уснуть. Да только ли бессонницей придется мне расплачиваться за этот ночной выход? Но как бы ни мстила потом болезнь, а минуты, проведенные в лесу, память сохранит навсегда. Да, ради одних только этих минут стоит жить и страдать. А дождь все льет да льет, не смывая моей тихой и всепобеждающей Радости.

Вокруг меня — растоптанные надежды. И я вижу, как люди словно сшивают одеяло из лоскутков — старательно, усилием воли, духа вынашивают новые надежды. Наверное, пока человек жив, он не может иначе. Со стороны (и по себе) понимаешь, как часто надежды безнадежны. Но ведь без таких огоньков духа нельзя бороться. А рядом со мной — люди мужественные. Такие не сдаются без боя. Знаю, не все победят, и я — в частности. Но ведь смотря что называть победой...

Есть люди, которые берут. Есть люди, которые отдают. Чем больше человек берет, тем беднее он становится, и — наоборот: отдающий все больше обогащается. Имею в виду бесценные сокровища духа. Чтобы отдать их другому, нужно их выработать в себе. Душа такого человека расширяется, набирает силу. Это и есть та сила, которая не позволит даже самому большому несчастью убить человека.

Помогая другим, нельзя ждать благодарности. Тем-то помощь и благородна, что она бескорыстна. Все, что ты отдаешь, по сути, остается твоим. Это прежде всего удовлетворение от своего поступка. Какая же нужна еще благодарность? Чистая совесть — высшая тебе благодарность. Помоги — и забудь. А душа твоя обогатится.

Красота — это, наверное, и есть Правда. Истина. Потому что самый путь к Правде наиболее красив.

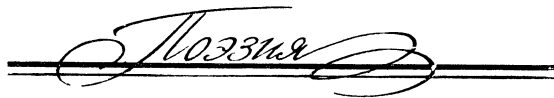
Ведь человек, по-настоящему идущий к Истине,— ученый, революционер,— в сущности, отрекается от себя. Что же может быть красивее самоотречения? И такой человек наиболее свободен.

Жизнь — не книга: нельзя давать слишком большую волю своему воображению. Иллюзии приводят к разочарованиям. Надо стараться видеть жизнь и людей реально, такими, как они есть.

В духовной жизни человека не существует возраста. Человек молод, покуда питает его душу любовь к жизни, интерес к людям и ко всему прекрасному, покуда есть у него главное дело, которому он не устает служить.

Мне думается, самое большое испытание для художника или просто творческого человека — это раздвоение между работой и желанием постоянного деятельного общения с людьми. И все-таки высший нравственный выбор в том, что художник приносит в жертву даже свое творение, создаваемое для многих,— ради спасения одного-единственного реально-го человека.

Каким же все-таки путем идти к Радости? Прежде всего через людей и в то же время через себя. Ведь каждый человек вмещает в себя Вселенную. Все люди разные, и принять каждого нужно таким, каков он есть. Понять и принять. Я думаю, что это самая большая работа человека. А уж понять, кто и для чего ты сам,— это почти неразрешимо. Но если не придем к этому мы, придут наши дети, внуки, правнуки. Я хочу сказать, что Радость — не только конечный результат, но и самый путь восхождения к ней, порой тернистый и все равно на каждой ступеньке усыпанный лепестками роз. К Радости скорее придут сильные духом, они чаще всего созидатели. Ну что же, эти сильные всегда будут вести за собой слабых. И рано или поздно все они придут к Радости



ЕЛЕНА АКСЕЛЬРОД



☆☆☆

Возил по местечку тележку с пивом
Дедушка мой, торгуя вразнос.
Глядел на мальцов своих глазом тоскливым —
Бумагу марают, читают взасос.
Горькое пиво — пенная грива —
В кусты откатились пробитые бочки...
А сын до гибели — это ль не диво! —
Читал нараспев свои складные строчки.
Мой беженец-дед в путь отправился дальний.
Дремал под картузом на лавке вокзальной.
О сыне не знал, лишь в бреду его звал,
Когда прикатил на последний вокзал.
Горькое пиво — белая грива —
Остался он в строчке несуетливой
Да на портрете у сына другого.
Переселился в рисунок и слово.
С лавки вокзальной — на полку музея —
Деду не снилась такая затея,
Деду не снился такой оборот:
Мазила — один, а другой — рифмоплет.

☆☆☆

Памяти отца

Обои потемневшие —
И Жанна Самари:
Сама на стенку вешаю —
Хоть целый день смотри!
Хромая этажерка рогами в потолок.
За стенкой кутит Верка,
На стенке мой Ван-Гог.
Ах, «Красный виноградник»
И голубой Дега!
В каморке нашей праздник,
Хоть в пол-окна снега.
За стенкой пляс разлапый,
Дом ходит ходуном...
А мы листаем с папой любимый наш альбом.
Парижские рассветы —
Но ест глаза угар...
Танцовщиц пируэты —
Но от дыханья пар...
Что в памяти хранится!
И свет, и грусть, и чад —
И все отец мне снится который год подряд.

МОЛОДАЯ ЛИТЕРАТУРА И ЕЕ ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

Под таким заголовком в мартовском номере нашего журнала была опубликована анкета, на которую ответили те, кто непосредственно занимается организационными, творческими и учебными делами, связанными с молодыми авторами, — секретари союзов писателей СССР, Российской Федерации и Москвы — О. Шестинский, М. Шевченко, В. Амлинский, главный редактор журнала «Литературная учеба» Ал. Михайлов и ректор Литературного института им. А. М. Горького В. Егоров.

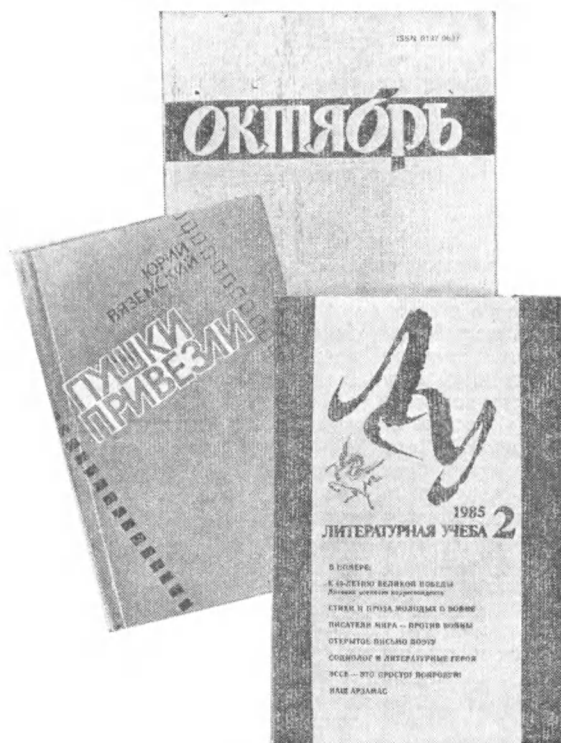
Продолжая начатый разговор в преддверии VIII съезда писателей СССР, редакция предоставляет слово самим молодым писателям; некоторые из них уже авторы книг, другие печатались лишь в журналах и газетах. За «круглым столом» собрались прозаики Вячеслав Пьецух и Майя Комиссарова, прозаик и поэт Юрий Поляков, поэты Алексей Парщиков, Виктор Коркия, Юрий Мезенко (Киев), Владимир Салимон, поэт и критик Александр Лаврин, поэт и критик Нина Искренко, критики Андрей Мальгин, Михаил Пластов, Леонид Жуков, Микола Рябчук (Киев).

В ходе обмена мнениями, естественно, высказывались и субъективные суждения, спорные оценки, но раз уж за «круглым столом» молодые, то особой приглаженности ждать не приходится. Разговор же на этом не завершается.

В одном из следующих номеров мы надеемся подключить к обсуждению проблем молодой литературы и наших читателей, основываясь на письмах, которых мы ждем, и на читательских конференциях.

Затем редакция постарается подвести некоторые итоги.

Ю. ПОЛЯКОВ. На мой взгляд, определение или даже эпитет «молодой» характеризует не возраст писателя и не его творческую зрелость, а, скорее, степень вхождения в литературную жизнь, точнее, в литературные «структуры». Увы, сейчас это так!



Поэтому, говоря о молодых прозаиках, мы ведем речь о писателях, которые в общелитературном сознании по тем или иным причинам еще не заняли прочного места и блуждают среди «расчисленных» имен.

А. МАЛЬГИН. А причина того, что молодые авторы «засиживаются в девушках», такова: молодежные редакции большинства издательств, а особенно «Современника», предпочитают выпускать книги некоего «усредненного», «среднеарифметического» стиля. Поиски в области формы и художественных средств порою пугают издательских работников, им видится в этом покушение едва ли не на устои отечественной литературы. Зато открывается путь конъюнктурщикам от поэзии, которые всегда готовы на «чего изволите».

А. ЖУКОВ. Тем не менее таланты пробиваются, и мне кажется, сейчас состояние молодой поэзии соответствует духу времени, тому, что сегодня происходит у нас в стране. XXVII съезд КПСС потребовал от каждого из нас больше инициативы, больше смелости, больше самостоятельности — иначе нам не добиться ускорения в развитии всего нашего общества. Я бы определил это метафорой «интенсификация духа». То есть усиление личностной отдачи, личностного начала, что как раз и означает увеличение художественного разнообразия. В самом деле, посмотрите, какие своеобразные, ни на кого не похожие поэты и прозаики активно вышли сейчас к читателю — Алексей Парщиков, Александр Еременко, Вячеслав Казакевич, Марина Кудимова, Андрей Молчанов, Юрий Поляков, Игорь Тарасевич... Ряд имен интересных молодых авторов был назван в анкете журнала «Юность» Владимиром Амлинским, Александром Михайловым, Олегом Шестинским.

М. КОМИССАРОВА. Мне кажется, молодой писатель становится интересен молодому читателю, когда последний чувствует в нем личность, когда в его произведениях он видит реальные, насущные проблемы нашего времени. Если внимательно прочитать несколько номеров «Юности» и «Литературной учебы», то можно увидеть два различных направления в молодой прозе: желание что-то рассказать и что-то сказать.

В «Литературной учебе» был опубликован рассказ Александра Гадалова «Два его дня». Внешний конфликт таков: на строительство магазина не завезли песок для раствора. Герой рассказа Генка Тернов звонит начальнику строительства и, хотя начальник вешает трубку, продолжает говорить в отключившийся телефон, показывая отдельными репликами, что машину взять разрешают. И вот машина есть, песок качают, премия будет, герой словчил ради дела — молодец. На этом все и заканчивается. А. Гадалов работал электриком (герой рассказа тоже электрик), следовательно, то, о чем он пишет, знает хорошо. Но рассказ ведь писался не ради того, чтобы это доказать. Автор хотел показать производственный конфликт? Но такового конфликта, по сути дела, нет.

Кроме истории с машиной, в рассказе намечены другие сюжетные линии. Главный герой ждет каждое утро в троллейбусе девушку в синем платье, с которой собирается познакомиться. Его мама выходит замуж. В рассказе есть еще и папа-Валя, мамин жених, есть прораб Логин, есть рабочие, есть Грибовский, который рьяно берется за работу, как только узнает о премияльных. Все они присутствуют в рассказе как действующие лица, но только потому, что совершают какие-то действия: ходят, говорят, работают. Как лица, как личности в рассказе

они не существуют. Потому рассказ и остается одномерным.

А. ЛАВРИН. Большая часть поэтов, вошедших в литературу в 70-е годы, работает, так сказать, на отработанных пластах — без художественных и человеческих открытий. Возьмем сборник «Молодые голоса», вышедший в «Художественной литературе» в 1981 году. В нем 120 имен! Я и среди поэтов старших поколений не смогу назвать 120 поэтов — разве дело в сотнях? Поколению «семидесятников» мешает стандартное поэтическое мышление... Мы стремимся вернуть утраченное читателями доверие к поэтическому слову.

В. КОРКИЯ. Когда говорят о поколениях, то имеется в виду, с моей точки зрения, не какой-то срез чисто возрастной, потому что в одном поколении могут быть люди разных возрастов, а поколение, видимо, определяется общностью духовной задачи, решаемой той или иной группой художников.

В этом смысле, скажем, поколение Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной, Окуджавы, Рождественского выходило под совершенно определенным знаком XX съезда КПСС... Было военное поколение, поколение 30-х годов. В чем, с моей точки зрения, характерное отличие нашего поколения? Если говорить об общедуховных задачах, то их можно привести несколько — борьба за мир, экологические проблемы и другие. Но все эти задачи имеют принципиальное отличие от тех проблем, которые решали художники прошлых поколений. Проблема защиты мира в наше время на национальном уровне практически решена быть не может. Тут необходимы глобальные усилия. Отсюда совершенно другая психология художника, другие средства, которыми он пользуется...

А. ЛАВРИН. Об этом и речь. Динамизм нашей эпохи, стремительно меняющийся мир создают все новые и новые феномены, меняется психология человека, его мироощущение. Чтобы осмыслить мир и человека в мире, требуется и панорамность художественного мышления, и новый ряд изобразительных средств...

А. МАЛЬГИН. ...который как раз и вызывает неприятие некоторых издателей. Вот уже год, как я пытаюсь буквально «пробыть» в издательстве «Молодая гвардия» составленный мной сборник поэмы молодых авторов — первый опыт книги, в которой молодые поэты выступают с эпическими формами. В рукопись включены не публиковавшиеся ранее произведения М. Кудимовой, А. Чернова, М. Поздняева, А. Парщикова, А. Лаврина, В. Коркия, В. Салимона, О. Хлебникова, М. Шелехова, А. Еременко, других авторов. Чтобы убедить издательство в необходимости опубликовать каждую из этих поэм, приходилось прибегать к длительным беседам с его руководителями, к помощи старших товарищей. Каждое свежее, незатертое слово встречалось с удивительной настороженностью. Можно быть только благодарным Н. Машовцу, главному редактору «Молодой гвардии», что он, несмотря на советы «осмотрительных» редакторов, все же не отказался от предложенной издательству идеи и продолжал работу над сборником. Я не уверен, что даже половина авторов сборника обладает энергией и «пробойной силой» для того, чтобы самостоятельно преодолеть издательские фильтры.

А. ЛАВРИН. Я бы хотел сказать доброе слово в адрес «Молодой гвардии». За последние пять лет в издательстве вышел десятком книг молодых авторов, имевших общественный резонанс: «Святая птица» Алексея Дударева, «Шут» Юрия Вяземского, «Интернат» Г. Пряхина, «Путешествие по линии фронта» Я. Шипова, сборники Екатерины Горбов-

ской, Марины Кудимовой, Владимира Курносенко, Вячеслава Казакевича...

Ю. ПОЛЯКОВ. Разрешите развернутую реплику! Есть освященный поэтической традицией аттракцион: мотогонки по вертикальной стене. В парке культуры и отдыха это происходит так: появляются два мотоциклиста. Один указывает на другого и восторженно сообщает: «А сейчас мой бесстрашный коллега совершит головокружительный трюк!» Коллега совершает, раскланивается и тут же объявляет потрясенной публике: «А сейчас мой бесстрашный...» И так без конца. Чем-то наш разговор напоминает эти мотогонки. А если совсем серьезно: те «артельные» настроения, за которые мы осуждаем иных наших старших товарищей, увы, заметны уже и в нашем поколении. Еще хочу добавить к словам Лаврина вот что. «Современник» за последние пять лет тоже выпустил отличные, вызвавшие тот самый «общественный резонанс» книги Л. Григорьевой, Г. Красникова, Ю. Гречко... Или «традиционалисты» в счет не идут?

В. ПЬЕЦУХ. Думаю, что не стоит превращать наш разговор в слишком профессиональный. Вот поставлена проблема: молодой писатель — читатель, а я не соображу, в чем она.

Давайте говорить просто — уровень современной молодой, да и не молодой прозы зачастую низок (о поэзии я не говорю, мне кажется, что все поэты прекрасны). А низок он не потому, что пала вдруг литература. Это следствие того, что стало чрезвычайно легко работать в литературе — создавать ее и «реализовывать». Жестокое недоразумение нашего времени, что современные литераторы имеют право писать хуже Пушкина, хуже Толстого, Чехова. Ни в коем случае!

М. КОМИССАРОВА. Что значит «хуже Пушкина»? Давить авторитетом классиков нечестно; к тому же такое сравнение неправомерно. Если уж и дальше сравнивать, то покажите нам человека, который пишет «лучше Пушкина». И потом, мне кажется, судить — «имеет право», «не имеет права» — сложно: ведь мы не знаем, у кого что написано, особенно, когда речь идет о молодых, имеющих всего две-три публикации. Бывает и так: удалось напечатать хороший рассказ, и автор, окрыленный успехом, несет подборку, в которой, кроме новых вещей, есть и старые, и менее удачные. Автору трудно объективно оценивать свою работу, и дело уже за редакцией: захочет ли она отобрать острую вещь или предпочтет среднюю, «тихую». Молодой-то автор любой публикации рад. И вот затрудняешься: то ли огорчаться, что появилось в журнале новое имя со «старым» произведением, то ли подождать огорчаться — а вдруг это не лучшая его работа, и в том, что дебют получился неудачным, вина не только автора. Читателю между тем нет никакого дела до этого процесса: для него важен конечный результат.

А интересные публикации для меня, например, были: М. Попов, Н. Соломко, Н. Шипилов, Н. Исаев. Хорошо бы, чтобы и дальше у этих молодых писателей их творческая судьба сложилась удачно. Это зависит, безусловно, не только от них самих, но и от издателей.

М. ПЛАСТОВ. Не хватает порой редакторской заинтересованности и читательской активности.

Л. ЖУКОВ. Молодая поэзия нередко непонятна из-за художественной своеобычности. Она непонятна не только читателям, но часто и критикам, которые должны в ней разбираться «по долгу службы». Иногда ее ругают даже не читая, по традиции, по инерции. Даже такие полярно противоположные поэты, как А. Еременко и В. Лапшин, числятся в одном потоке.

А сравним две строфы этих поэтов. Вот Еременко: **Электрический воздух завязан пустыми узлами, и на красной земле, если срезать поверхностный**

слой, корабельные сосны привинчены снизу болтами с покосившейся шляпкой и забившейся глиной резьбой.

Его смелость в использовании технологических образов и технического словаря впечатляет, если не сказать — эпатирует. Это необычно. Но так ли уж традиционен Лапшин? Вот строфа из его поэмы «Любашин сон»:

**Стеклойной радуги в морозозерной раме
Кристалл хрусталился искрящими краями,
Гранен наслудю ручной печной огонь.
А в законе замыкает звезды сонь.**

Его работа со словом навеивает ассоциации с поэзией В. Хлебникова. Удивляет архаизированность этих стихов. Я бы сказал, напор художественной необычности. Если отвергать технократичность Еременко, то справедливо было бы отвергнуть и архаичность Лапшина. Но к чему мы тогда идём? К среднему уровню! К среднему, невыразительному языку! Поэтому повторю: «молодая поэзия» прежде всего нуждается в понимании. Нужно дать ей выход на широкую аудиторию.

А. МАЛЫГИН. Мы возвращаемся на круги своя. Нет выхода на широкую аудиторию, потому что трудно, долго идут к читателю книги самобытных молодых поэтов. Возьмем того же Алексея Парщикова, участника ряда совещаний молодых писателей. За десять с лишним лет профессиональной работы он сумел напечатать лишь с десяток стихотворений и одну небольшую поэму. Меж тем о его творчестве спорят в центральной печати, уже можно составить библиографию критических отзывов о нем. Но откуда, спрашивается, широкому читателю знать его стихи? В подобном положении находятся Александр Еременко, Александр Лаврин, многие другие талантливые молодые авторы. Их книги не печатают, но они становятся легкой добычей тех критиков, которые в ревнивом стремлении утвердить в поэзии патриархальную безмятежность каленым железом выжигают в ней все, что не отвечает их вкусам и представлениям. Поневоле вспоминаются слова К. Паустовского, сказавшего в «Золотой розе»: «Мы должны изгнать из своей страны ханжей, озлобленных против красоты за то, что она существует независимо от их воли».

М. ПЛАСТОВ. Как ни парадоксально, но старшее поколение читателей, на мой взгляд, больше следит за творчеством молодых авторов, чем их сверстники. Им интересно это «племя младое, незнакомое». В книгах молодых они пытаются найти ответ на вопросы: «Каково оно, это новое поколение? Что оно хочет сказать миру?»

Л. ЖУКОВ. А может быть, они ждут появления среди молодых универсального гения, нового Пушкина?

А. ЛАВРИН. Тоска о Пушкине — это тоска о ланорамности художественного мышления. Мне кажется, наше поколение при всей приверженности к реалиям эпохи НТР больше прислушивается к Пушкину, нежели те, кто объявляет себя продолжателями русской поэтической традиции. Взять хотя бы амбициозные попытки Юрия Кузнецова умалить роль Пушкина в нашей культуре. Но наше поколение так же внимательно прислушивается к «Зверинцу» Хлебникова и «Столбцам» Заболоцкого, к русской поэзии XVIII века и поэзии обэриутов. А молодая проза активно осваивает опыт не только Толстого и

Достоевского, но и Платонова, Пильняка, Булгакова, Пруста и Джойса.

Ю. ПОЛЯКОВ. Василий Шукшин говорил, что сегодня читателя можно удивить только одним — правдой, правдой жизни. Мы же, на мой взгляд, чаще предлагаем читателю «правду текста», демонстрируя при этом прекрасное знание высот отечественной и мировой классики, различных литературных школ. Иногда так и хочется на манер наших щепетильных предшественников поставить под заголовками иных произведений: «Из Платонова», «Из Маркеса», «Из Булгакова», «Из Гессе»...

Вместо того чтобы поверять гармонией клубящийся хаос бытия, находить свой художественный эквивалент реальности, иные молодые прекрасно конструируют рассказы, повести, романы из осколков чужих художественных систем, из «знаков», найденных другими. Все это похоже на андерсеновского Кая, складывавшего узоры из ледяных осколков...

Л. ЖУКОВ. Здесь, в разговоре, все время звучит термин «наше поколение». Мне кажется он неточным, ибо наши представления о поколениях ориентированы на опыт формирования поколений предыдущих, в судьбе которых были общие грандиозные исторические события, объединившие их творческую направленность. Сейчас ситуация иная. И не зря В. Аминский призывает задуматься о том, что «литература — дело мучительное, немассовое, единичное, изматывающее душу».

М. ПЛАСТОВ. Вот именно, изматывающее! А поговорите с молодыми поэтами, прозаиками, драматургами, и, за редким исключением, это будет перепев одной и той же темы: тот пробил, напечатался, выпустил... этот не пробил, не напечатался, не выпустил... Как будто не существует ни мук творчества, ни бессонных раздумий над своим предназначением в жизни и литературе...

В. КОРКИЯ. Я бы хотел вернуться к вопросу о литературных поколениях. Начну издалека. От Державина и Пушкина. Их жизни пересеклись во времени и пространстве, но между ними — пропасть! За десять — пятнадцать лет в начале XIX века произошла настоящая революция в языке. Она отразила скачок в общественном сознании той эпохи, сдвиг в социальном мироощущении. Нас как поколение отделяет от поколения Евтушенко и Вознесенского мизерная по времени дистанция. И все-таки мы абсолютны разные: Не только лично, прежде всего исторически. Мы не похожи принципиально, по самой сути, по проблематике, по ценности, по мироощущению, видеоряду, языку! Да, по языку, а не только по стилю! Ведь язык не просто средство общения, язык — это мироощущение. Изменения в языке впрямую связаны с изменениями в сознании, с надвигающимися общественными переменами. И «новая поэтическая волна» чувствует это острее других. Слова, которые «шестидесятники» ставят в прямом словарном значении, мы почти всегда употребляем в переносном смысле. Там, где они все еще плачут, мы давно смеемся сквозь их слезы. Их слезами уже не излить всего, что наболело. В стихах А. Еременко, В. Салимона, М. Кудимовой, П. Сергеева, В. Степанцова, М. Шелехова, А. Парщикова, Е. Горбовской, Н. Искренко, М. Ходаковой, В. Друка, В. Казакевича, во многих моих стихах заметны пародийные ходы, парафразы, смешение сленга, архаики, бытовых идиом, канцеляризм, газетных штампов — та языковая стихия, которую Нина Искренко назвала «полистилистикой». Жаль, что некоторые критики этого в упор не видят. Отсюда их неумение прочесть простой текст, который на лету схватывают наши сверстники, отсюда беспомощные попытки свести новое

к «хорошо забытому старому». Но в критике инерция мышления не менее опасна, чем в поэзии. Еременко несводим к обэриутам, Жданов — к Мандельштаму, Кудимова — к Цветаевой...

А. ЛАВРИН. Но есть и другие критики. Те, кому интересно, «что за сложностью?». А ведь «за сложностью», кроме всего прочего, и диалектика связи поколений.

В. КОРКИЯ. Безусловно. Но связь поколений предполагается, как минимум, их диалог. Диалог, а не отрицание существования непривычных поэтических миров. Но мы, извините, мыслим, а следовательно... — сами понимаете!

А. МАЛЫГИН. Многие молодые авторы относятся к отечественной истории с особым почтением, знают ее, трактуют ее. И все же историзм их и глубже, и органичнее проявляется в стихах о настоящем, в осмыслении того, что вокруг. Думая о сегодняшнем дне, они многому знают истинную цену и именно потому, что помнят о дне вчерашнем, постигли или стремятся постичь духовный опыт предыдущих поколений.

Вот этот прах именовался «Дом».
Вот этот хлам когда-то звался садом.
Вот этот черный ход служил фасадом.
И Ринком был теперешний Содом.

Все водрузилось на свои посты.
Все обрело устой и истоки.
Заполнены больницы и остроги,
Пусты амбары, сожжены мосты.

Это строки из первой книги поэта Михаила Поздняева, вышедшей в издательстве «Советский писатель». На их основании, а также на основании других подобных строк можно сделать поспешный вывод об историческом пессимизме их авторов. И молодые поэты, как нарочно, в обилии поставляют материал для такого рода заключений. (Чего стоят, например, строки Ю. Чехонадского «...злой, победной, скрежещающей песней нарастает ничто впереди...») Но за декларациями у них зачастую стоит нечто, не только с ними плохо согласующееся, но и прямо их опровергающее. Для этого достаточно обратиться, например, к стихотворению М. Поздняева «Ода кухонной полке» или стихотворению Г. Калашникова «Лермонтовская площадь»: в них настроения безысходности, разочарования, грусти преобладают другим чувством — гармоничной ясности и спокойствия и в конечном счете органичного, глубинного оптимизма. Эти стихотворения мне доводилось недавно разбирать на страницах «Нового мира».

Так что не в изилии пессимизме вижу я основную беду нашей молодой поэзии — он в чистом виде на страницах сборников молодых редкость, — а, напротив, в безудержном, не подкрепленном подлинным чувством «оптимизме», который так часто и охотно демонстрируют иные, чутко реагирующие на издательский заказ авторы.

Ю. ПОЛЯКОВ. Еще одна проблема. Самоутраченность иных молодых обращается самолюбованием, лиризм подменяется утомительным мемуаризмом с бесконечным босоногим детством, как сельским, так и городским. Уважение к своему внутреннему миру оборачивается неуважением к читателю, нежеланием позаботиться о том, чтобы вещь читалась интересно. В результате получается, говоря словами классика, подобие жилистого куска мяса: пожуешь-пожуешь и выплюнешь так, чтобы никто не видел...

И еще: наш «внутренний редактор», чтобы не сказать — «цензор». Вот ты огляделся, взревновал, сел к столу — и начинаются его окрики: «Это нельзя! Это

не пойдет! Стой, ты же не ребенок... Сам понимаешь!..» В конечном итоге число дозволенных «льдышек» настолько сокращается, так узок их круг, что однообразие разнообразных авторов неотвратимо. С таким же успехом нашу сегодняшнюю жизнь можно выразить замысловатой математической формулой, а потом удивляться, что неспециалисты не замечают глубокого проникновения автора в толщу жизни!

А ведь молодой читатель ждет от нас художественного анализа той жизни, которую видит вокруг. И на наш «мифотворческий зуд», на наши профессионально-издательские трудности ему, прямо говоря, наплевать. Он хочет, чтобы герои наших книг, его сверстники говорили современным, узнаваемым языком. Его «не колышет», как говорится, что издатель, смирившись с диалектами деревенской прозы, как васнецовские богатыри, заступают дорогу городскому «сленгу», который, между прочим, развивается по тем же «языкотворческим» законам.

А любовь? У писателя, особенно молодого, язык костенеет, когда он затрагивает интимные отношения своих героев. Костенеет от страха перед собственной безрассудной отвагой. Ведь «оживляж» — не что иное, как неумная, неумелая тоска по «запретному плоду». Естественно, человек, делающий вороватую вылазку на запретную территорию, смешон.

Сейчас много говорят о честности. Настоящая литература всегда и во всем честна, а не только в тех сферах, где нынче модно и выгодно быть честным. Если, например, существует острая проблема молодой семьи, то со страниц молодой прозы не должны позировать перед изумленным читателем современные филемоны и бавкиды... Если честность — наша стратегия, то и нашей тактикой тоже обязательно должна быть честность...

А. ЛАВРИН. Здесь встает вопрос о гражданской позиции писателя. Сейчас ряд критиков обвиняет новую волну поэтов и прозаиков в «эстетической самодостаточности», в том, что они довольствуются красотой, создаваемой ими, и забывают об этическом начале литературы. Это тот случай, о котором говорил В. Коркия, когда новое меряют старыми мерками. В наше время нельзя мерить этическое теми мерками, которые приложимы к прозе или поэзии 50-х, 60-х годов. Кто мне скажет, этична или неэтична проза, например, Маркеса? Разумеется, она и этична, и гражданственна, хотя это и не выражено напрямую. Точно так же напрямую это не выражается в творчестве нашего поколения. Мы не хотим высказывать этическую идею в лоб, потому что ее столько раз высказывали в лоб, что у читателя невольно начинаются судороги, когда его начинают учить жить. И он, перекормленный манной кашей, перестает верить тому, о чем говорят. Этическая идея гибнет от стандартного эстетического воплощения. Наконец, пора честно и открыто поставить вопрос о том, что и традиционная этика в каких-то аспектах изменилась, и моральные ценности конца XX века значительно отличаются от моральных ценностей конца XIX века.

В. КОРКИЯ. Андрей Чернов предложил прекрасный термин: «научно-гуманитарная революция». Вот именно! Все говорят о НТР, а то, что это скачок в сознании, некоторым, кажется, удобней не видеть. Так спокойней, уютней. Не надо искать никаких новых нравственных ценностей — зачем? Возьмем Толстого, Достоевского — все «проклятые» вопросы уже поставлены. Все, да не все! И это нисколько не умаляет величия великих. Просто XX век обнажил проблемы, которые им и не снились. Ни Тол-

стой, ни Достоевский не знали мироощущения человека, которого в любой момент, как клопа, может прихлопнуть «космический щит». «Что делать?» — таков, как известно, один из любимых вопросов отечественной интеллигенции. Что делать, хочу я спросить, что делать человеку, безусловно знающему, что ходит «под кнопкой», тогда как реально противопоставить ей он может лишь самодельный плакат «Мир — мир!». Толстой не знал таких вопросов. Традиционная этика не спасла мир ни от Освенцима, ни от Хиросимы. Сейчас заголовки газетных статей больше говорят о конце света, чем Библия. Можно ли в конце XX века быть художником и при этом сводить всю нравственную проблематику к отношениям «человек — человек», «человек — общество»? А «человек — машина»? Про это Пушкин напишет? После операций К. Барнарда изменилось понятие смерти, значит — и жизни! Пропустить это мимо ушей как нетипичное, несущественное? В Польше выпустили книгу по истории Освенцима. Протокольное изложение фактов. Документы, фотографии, чертежи, цифры. Ее страшно брать в руки. Потому что это — правда. Потому что это творили люди с людьми. Как они до этого дошли? Ответственность художника не в том, чтобы говорить об ответственности художника. Не в том, чтобы констатировать очевидные факты, но в том, чтобы честно думать над ними. Как вышло, что человечество, оставив десятки миллионов на полях второй мировой, очутилось перед призраком третьей?

В. САЛИМОН. В прошлом веке искали Беловодье. Возвращались домой несолоно хлебавши. Обо всем этом я вспомнил вот почему. Что такое Беловодье, как не сладчайшая русская утопия, не мечта о всеобщем благе, где и человек человеку друг, и зверь зверю, и небо создано лишь для ангелов и птиц. О таком Беловодье я и сам, признаться, частенько помышляю. Тем более людям свойственны «грезы о благе, без указания на средства его достижения» (Ш. Фурье). Средств я действительно не знаю. Наверно, поэтому стараюсь избегать в своих стихотворениях каких-либо выводов и суждений. Если бы знал, непременно бы указал всем путь в Беловодье. Но, увы! Между прочим, интерес к социальной утопии, на мой взгляд, — одна из отличительных черт современной литературы.

Среди работ, так сказать, молодых я бы выделил поэму Парщикова «Я жил на поле Полтавской битвы» и небольшую повесть Пьецуха «Тамбовская революция». Правда, не всегда новая утопия — мечта о всеобщем благе. Что делать! Я думаю, что возникший не так давно оборотец «ироническая поэзия» сам по себе неплох. Ведь ирония во все века служила цели благороднейшей — познанию. Не тому ли она служит и сейчас? Думается, что именно ирония позволяет проникнуть в суть явлений. Иногда предмет нужно поставить с ног на голову, чтобы убедиться в его подлинном предназначении, подлинной ценности. На таком принципе основаны прелестные наши потешки, небыльщины. Иронизирует лубок и парсунный рисунок, Саломаткин и Миро, наконец, Гоголь.

Но ирония в литературе никак не может быть самоцелью, и нельзя В. Казакевича или того же А. Еременко путать с бесчисленным множеством появившихся в последнее время «хармсят» и «колейнят». Без сомнения, нужно уметь не только смеяться, но и плакать. Странно, что кому-то приходится доказывать свое — наше — право голоса. Странно, так как за плечами поколения опыт от Уренгоя до БАМа. Многие наши ровесники стоят во главе производства, науки. Да и в литературе далеко не все обойдены.

Не обойдены любимые дети, прилежные ученики. Но мне хочется сказать о тех, кто обойден. В большинстве своем это люди одаренные, со своим голосом, взглядом. В этом своеобразии, вероятно, и беда. Нет, не любят детей строптивых. А ведь нет ничего противоестественного в том, что, скажем, Вячеслав Пьещух или Иван Жданов смотрят на мир иначе, чем Петр Проскурин или Сергей Островой...

А. МАЛЬГИН. А я думаю, что новое мироощущение складывается не сразу и язык художественного произведения тоже меняется постепенно. Я говорю о поэтах, потому что знаю их лучше. Тот же Еременко или Парщиков не так уж сильно отступили от традиции (собственно, вообще из нее не вышли), но определенные изменения по отношению к традиции у этих и других молодых авторов ощущаются. Вот, например, строки Геннадия Калашникова:

**И глухо бьет прибой,
Как молот паровой.**

Обратите внимание: не молот, как прибой, а прибой, как молот! Или еще: «Моторка стучит, как швейная машинка...» У Парщикова: «Речка, как ночной вагон...». У Еременко: «Спит стоя лес, уйдя в свои детали, В столбы, в деревья, в лунку, в паз...» Не мертвое сравнивается с живым, а живое — с мертвым. Позднее пишет о туче: «В этом рыжем мешке, застиранном и заплатанном, на все молнии электрические застегнутом...» Нам ясно, что пишет человек городской, потому что для сельского жителя мешок не может быть застегнутым. Имеется в виду спальный мешок. И нам ясно, что это человек с некоторым технократическим подходом к действительности. Такие сравнения мы можем найти в прошлом. Но раньше это было приемом, а сейчас — органический взгляд на мир — мир, полный техники, мир, динамично изменяющийся.

А. ЛАВРИН. И мы должны успевать за этими изменениями! На XXVII съезде КПСС много раз звучали слова: ускорение, динамизм, интенсификация... Все это имеет непосредственное отношение и к литературе. Не в том смысле, что мы должны писать быстрее, а в том, чтобы уровень художественного мышления не отставал от идей нашего времени. И я думаю, что Мальгин неправ, когда говорит о постепенном изменении мироощущения и языка, о накоплении мелких черточек эпохи... Нет! Сущность поэзии Коркия или Парщикова не в этом, а в художественно новом, принципиально ином взгляде на мир, чем у наших предшественников. Мы не отрицаем их. Мы вбираем их, как часть. Есть картины Репина и есть картины Босха. И те и другие нужны человечеству. Но информационная насыщенность, запас смыслов у них разный. И современному зрителю, на мой взгляд, интереснее картины Босха, он больше узнает из них о XX веке, о вселенной, чем из большинства современных полотен. И современный читатель тянется к прозе и поэзии, насыщенной не только эмоционально, но и информационно.

Н. ИСКРЕНКО. Всякая принципиально новая поэтика предполагает изменение меры условности в подходе к реальному, в смещении пропорции между «правдой» и «вымыслом», «нормой» и «аномалией», то есть уменьшение странности мира, постепенно приводящее нас к все более глубокому его пониманию. Сегодня для поэта характерен некий «обыкновенный космизм», основанный на принципе подумать — значит, сделать, то есть на отношении ко всему, что доступно воображению (ощущению, анализу, сну...), как к реально существующему.

Считаю, что такое «нормально-фантастическое» мышление побуждает отказаться от классического представления о многих вещах, в частности о вечности, как о некоем мемориальном музее, куда можно поместить свое имя и помеченные им произведения, ибо ввиду сложной международной обстановки и общих космологических процессов, идущих во вселенной, рассчитывать на более или менее «длительную» вечность может лишь существо (или вещество), абсолютно лишенное чувства юмора.

Ю. МЕЗЕНКО. Обиднее всего, что этого не понимает большинство наших современных критиков. Например, молодых украинских поэтов Игоря Рымарука, Ивана Малковича, Игоря Маленького, Юрия Андруховича критик Я. Мельник обвинил в герметической «обезличенности», без всяких оснований противопоставляя «метафорическую» поэзию поэзии «исповедальной»

Лично для меня проблемы исповедальности, равно как и проблемы простоты и сложности, не существуют. Не обсуждаем же мы достоинства самой простой детской игрушки — кубика (простота, надежность) в сравнении с достоинствами ее более сложного младшего брата — кубика Рубика! Сложность поэтического текста для меня прежде всего в степени постижения автором вечных проблем человеческого бытия в их конкретно-историческом, социальном наполнении и воплощении. В этом смысле Леонид Мартынов исповедальнее ничуть не меньше, чем Евгений Евтушенко или — другой ракурс! — Николай Рубцов. А сложность Пушкина и Шевченко?..

М. РЯБЧУК. В какой-то мере критики идут здесь на поводу у массовой культуры, у нетребовательно-го, инертного читателя, который воспринимает литературу в одном плане с широким потоком газетной, радио- и телеинформации и оценивает ее по законам этого потока. Смотри телепередачи, мы усваиваем прежде всего определенную событийную информацию, то есть то, что нам показывают. Читая стихи, мы вынуждены воспринимать информацию идейно-образного порядка, иными словами, задумываться над тем, как нам показывают то или это, зачем, для чего. «Что» в поэзии и вообще в искусстве часто бывает малосущественным или, собственно, тривиальным: перескажите, например, шевченковский «Заповіт» или пушкинское «Я помню чудное мгновенье...»

Ю. МЕЗЕНКО. К сожалению, в школе часто именно к такому пересказу, к такому толкованию и обращаются...

М. РЯБЧУК. И как результат очень много людей со средним, да что там — с высшим образованием! — проявляют полную глухоту к поэзии.

Ю. МЕЗЕНКО. Но что делать поэтам в этих обстоятельствах? Опрощаться, приспособляться ко вкусу самого широкого, «массового» читателя? Или наоборот ориентироваться на сравнительно узкий круг интеллектуалов, гурманов от поэзии?

А. ПАРЩИКОВ. А на мой взгляд, проблема контактов с читателями связана не только со средствами информации. Начну с того, что поколение, о котором идет сегодня речь, наше поколение отнюдь не монолитно. Я принадлежу почти к одному поколению с Андреем Черновым и Олесей Николаевой, но когда я поступил в Литинститут, они были последним школьным поколением, интересующимся хорошим письмом. Это было поколение отличников. Они хотели написать хорошее стихотворение. Когда я пришел в Литинститут, мы с моими товарищами сосредоточились на совершенно другом. Нам было важно не просто написать хороший текст, воспользова-

шись уже известным восприятием (это задача не поэтическая, переводческая), но утвердить собственное восприятие мира. Я хочу поделиться с читателем не тем, как я написал стихотворение, а тем, какое восприятие мира я могу предложить, и насколько оно может быть разделено читателем.

Что значит восприятие? Дело в том, что поэт всегда реализуется в каком-то пространстве, и наше восприятие связано с описанием этого нового пространства. У него много аспектов — социум, язык, этика и так далее. Но вот что важно: мы живем в мире, где существует много вещей, требующих чистого воображения (не следует смешивать способности восприятия и воображения). Существует пространство, которое мы не можем соотнести с размерами нашего тела, как это делали древние, или хотя бы поэты до XX века. Мы сейчас реально связаны с миром, конкретно влияющим на нас, — например, с бактериями или с космическими пространствами. Как их описывать, каким языком?

А. ЖУКОВ. Полифоническим! Развитие литературы, созвучное эпохе, требует от поэтического образа многозначности, и новая волна объединена именно этой идеей — идеей выйти за рамки описательства «а-ля» школьное сочинение. Например, у В. Казакевича стихотворение «Архив» заканчивается такими строками:

**И плывет моя планета,
и на ней пожар горит.**

Этот «пожар», однако, неоднозначен, потому что он существует во времени. Он вмещает в себя не только современную напряженность в мире, но и «мировой пожар» революции. В. Казакевич ставит читателя перед необходимостью воспринять его в целом и вынести этому «пожару» одновременно противоположные оценки. Занять активную гражданскую позицию в самой сути своего бытия. Виктор Коркия не столь открыто социален. Однако и он, как говорится, «бьет не в бровь, а в глаз». Прочитирую одну из его строчек: «Обитель чистых нег. Линолеум в полоску». Так начинается лирическое стихотворение о любви. Что это? — спросят, пожалуй. — Нарочитая оригинальность? Или ниспровержение ценностей? Подумать только: пушкинская «обитель чистых нег» и вдруг — «линолеум в полоску»! Нет, отвечаю, не ниспровержение и не оригинальность, а свой взгляд на вещи. Ирония тут обращена не к Пушкину. Е. Коркия иронизирует над мещанством, вещизмом. И именно с пушкинских позиций. Он иронизирует над мещанством, которое даже «чистые неги» сделало атрибутом своего благополучия наравне с «линолеумом в полоску», наравне с «Блоком в восьми томах», «гравюрами», «купидонами», «тоской по идеалу»... Тут нужно понимать, видеть не только активную нравственную позицию поэта, но и способ ее выражения, способ художественного письма, отношения к слову.

Н. ИСКРЕНКО Считаю (искренне сожалея), что ни один реальный объект — будь то предмет, конкретный человек или, скажем, факт искусства — не занимает выделенного положения в окружающем мире и в этом смысле не интересен художнику сам по себе. Интересны лишь возможные точки зрения на этот объект, неоднозначность его восприятия в различных ситуациях, то есть его многочисленные связи с миром в любых его проявлениях. Сами же конкретные события (темы, предметы) являются лишь более или менее подходящим материалом, некоей системой отсчета и в этом смысле абсолютно неразличимы между собой, тождественны (или, как говорят физики, инвариантны). То есть, практически

все равно, «о чем» писать — об агропроме, о любви Ани к Васе, об аннигиляции электрон-позитронных пар или о ржавом почтовом ящике, из которого торчит вчерашняя газета. Содержанием поэтического текста является не содержание участвующих в нем реальных ситуаций, и тем более не их однозначная оценка, а только способность воспринимать какую-либо вещь сразу во всех (или хотя бы в нескольких) возможных ее состояниях или ракурсах, как можно более несовместимых, противоречащих друг другу. Видеть нечто глазами разных (в классическом понимании) людей или под разными временными углами означает не только «жить» объединенной жизнью этих разных, часто противоположных людей, но и чувствовать, осознавать себя (то есть быть) одновременно и человеком, и человечеством, и стволом, и лесом, и всем миром сразу, и малой его частью, подобно осколку голографической пластинки, несущей, в отличие от обрезка фотографии, всю информацию о снятом объекте.

А. ЛАВРИН. И все же есть некий центр, единая точка отсчета для художника — человеческая душа, вечная и неповторимая. И хотя Нина Искренко считает, что думать о вечности может только человек, лишенный чувства юмора, я считаю, без такой устремленности нет художника. Сколько б мы ни говорили об условностях художественного творчества и о мере условностей, мы живем в реальном мире и пишем о реальном мире. Другое дело, что нельзя останавливаться на чистом бытописательстве, что нужно думать о «запасах вечности», о душе, которая, по словам В. Коркия, «детит одна среди объединенных наций, конвенций, интервенций, деклараций — куда?..». Вот об этом мы и должны спросить себя.

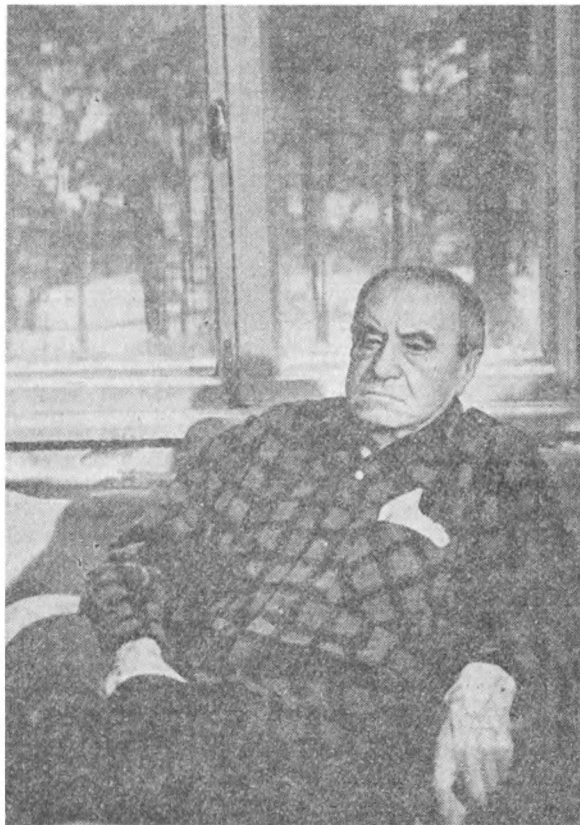
В. САЛИМОН. Должны, должны, должны!.. Прямо какая-то болезнь литературы — выписывать рецепты.

А. ЛАВРИН. Дело не в рецептах, а в том, что без читателя не существует писателя. И если мы будем говорить о проблемах, не связанных с реальной жизнью нашей страны, нашего человечества, мы уподобимся летающим тарелочкам — то есть станем еще одним мифом в сознании людей. Мифом приятным, но не более того. Я вот скажу простую вещь: по статистике ООН ежегодно в мире от голода умирают 15 миллионов детей и 35 миллионов взрослых! Вот они — современные Хиросима, Освенцим, Помпея, Содом и Гоморра! У нас с вами есть кусок хлеба. Но мне страшно за то, что он не достается у нас в горле, когда мы слышим об этих 50 миллионах умирающих от голода. Слишком мы привыкли к большому числам и абстрактному мышлению! Так что я беру на себя смелость сказать: мы должны! Должны понять, зачем мы на этой земле. Должны понять, почему добро лучше зла. А поняв, утверждать это добро. Но утверждать новыми, обновленно-действенными художественными средствами.

Н. ИСКРЕНКО. ...Потому что стремление преодолеть инерцию мышления, инерцию восприятия, стремление разрушить стереотип было присуще человеку всегда, во все времена и лишить его этого стремления — значит отнять у него самое главное — движение, то есть собственно ж и з н ь.

**Материалы «круглого стола»
подготовил А. ЛАВРИН**

ПАМЯТИ КАТАЕВА



Не стало Валентина Катаева. Эту утрату трудно переоценить... Он был подлинным классиком нашей литературы, как бы связавшим день сегодняшний с днем прошедшим, с «серебряным» веком отечественной словесности; и вместе с тем он был одним из современнейших мастеров сегодняшней литературы, удивлявшим своей дерзостью, молодостью, филигранным мастерством.

Он был создателем и первым главным редактором журнала «Юность» и во многом определил начало литературного пути целого поколения.

Для меня он был Учителем, Мастером, Другом — на протяжении почти тридцати лет.

Еще недавно я шел с Валентином Петровичем по узким улочкам Переделкина и думал о том, что есть все-таки на свете удивительные люди, над которыми не властны ни возраст, ни время, люди, как бы пытающиеся осуществить вечную человеческую мечту о бессмертии. Катаев, которому только что исполнилось 89 лет, напечатавший новую прекрасную повесть «Сухой лиман», уже говорил и думал о следующей работе, был внешне и внутренне красив, легок, свободен, полон жадного интереса к жизни.

Смерть вырвала его из жизни, как буря могучее столетнее дерево.

Порыв к физическому бессмертию был прерван, увы, и на сей раз оно оказалось невозможным. Есть лишь одно бессмертие — творческое, духовное. И оно принадлежит Катаеву.

Катаев прожил целую эпоху и сам был целой эпохой.

В начале века его дар угадал Иван Бунин — Катаев был сверстником и современником великих мастеров нашей литературы, да и сам был великим мастером.

В старину литературу определяли понятием «изящная словесность».

Да, он служил изящной словесности, пусть не смутит молодых это старомодное выражение. «Изящная словесность» Катаева отразила грозы эпохи, ее поиски, разочарования, надежды и обретения.

Он всегда искал предельно точное, единственное слово и находил его. Его напряженная работа была не чем иным, как поиском художественной гармонии, высшего совершенства.

Задолго до 1958 года, когда он прочитал и напечатал мой первый рассказ, я познакомился с ним заочно в бедном подмосковном пионерлагере послевоенных лет. Мы все читали свои первые книги, и мне попалась книжка без заглавия. Уже первая ее фраза, легкая, волшебная, звонкая, поразила и навсегда осталась в памяти, как бы соединив в себе чудо живописи, поэзии и музыки. Это был «Беллет парус одинокий».

С тех пор я прочитал много его книг, и те, что были написаны им до «Паруса», рассказы двадцатых годов, и те, что были написаны позже.

В шестидесятые годы Катаев работал много и щедро, удивляя читателя своей способностью к обновлению. «Трава забвенья», «Святой колодец», «Волшебный рог Оберона», «Алмазный мой венец». В каждой из этих вещей была подлинная жизнь, потребность осмыслить прошлое и настоящее, желание не только рассказывать читателю, но и заставлять его думать, вызывать его на спор. И во всех этих вещах был поиск единственного Слова.

Как и друг его юности Юрий Олеша, Катаев был гением метафор. Он словно обладал особым зрением, позволяющим видеть людей и предметы в невидимых обычному глазу подробностях. Поэтому они казались несколько иными, чем создала их реальность. В этом и была магия условности искусства. Но это стереоскопическое видение развивал он в себе не для вящего удовольствия публики и не как самоцель, а во имя предельной точности, максимальной изобразительности, художественной гармонии.

Он хотел выразить себя и время. Время через себя. Он стремился осмыслить эпоху, в которой довелось ему жить. Особенно близка была ему молодость этой эпохи и молодость человека, его становление, первые шаги, первые открытия.

Трудно представить себе, что на переделкинских улицах уже больше не увидишь легкую фигуру, не услышишь его молодой голос, с неповторимой катаевской интонацией.

Как сказано было в стихах: «Умирают мои старики, мои боги, мои педагоги...».

Да, физического бессмертия нет, но время и смерть не властны над настоящими книгами.

Катаев оставил нам свою прозу, свои уроки мастерства, свой поиск истины, поиск бессмертия.

Владимир АМЛИНСКИЙ

ЗАБОТЫ ЧУГУЕВКИ



Есть точка на карте, ставшая дорогой и близкой для всего нашего редакционного коллектива. Поселок Чугуевка Приморского края, вторая родина Александра Александровича Фадеева. Туда каждый год отправляем мы своих полпредов—проведать, узнать, как там наши в Чугуевке?

Начало дружбы было положено несколько лет назад в дни открытия в Чугуевке нового помещения музея А. А. Фадеева. Тогда редакция «Юности» решила взять музей под свою опеку. А потом проснулся интерес и к району, и к его труженикам... Прошлый год Чугуевка отмечала свой восьмидесятипятилетний юбилей...

Страстные краеведы, научные сотрудники Чугуевского музея А. А. Фадеева отыскивали любопытный документ, датированный 1900 годом. Именуется эта пожелтевшая от времени бумага «Проект и описание участка, образованного в 1900 году под названием «Чугуевка».

Вот как характеризуется там вновь создаваемый участок

Округ Южно-Уссурийский;
Волость Ивановская;
Расстояние в верстах до ближайших:
Почт. ст. в ур. Анучине — 112 верст;
Ж.-д. ст. Невельской — 191 в.;
Насел. пункта — дер. Каменка, 20 в.;
Города — Никольско-Уссурийск, 215 в.;
Волостн. правл. в с. Ивановке, 162 в.;
Церкви в ур. Анучине, 112 в.;
Школы в с. Ивановке, 162 в.

«Ближайшим населенным к участку пунктом,— можно прочесть дальше,— является деревня Каменка. Дороги до нея не имеется, но есть выючная тропа, идущая по правой стороне долины реки Улахе...»

В этой цитате мы опустили только «яти» да твердые знаки в конце слов, чтоб читатель не спотыкался в старой орфографии. А сослаться на этот документ мы сочли нужным по двум причинам. С одной стороны, чтобы не было кое у кого соблазна обвинить чугуевцев в искусственно раздуваемом местном патриотизме: мол, эка невидаль, селу, затерявшемуся в уссурийской тайге, «стукнуло» восемьдесят пять лет, так уж звучат фанфары и в литавры бьют, гремят юбилейные речи, пир на весь мир. Но ведь случай и впрямь особый. Мы в полной мере разделяем гордость жителей молодых сибирских городов, стремительно выросших за какие-нибудь десять — пятнадцать лет,— Сургута, Надыма, Нижневартовска. Выросших почти на пустом месте. Вся разница в этом «почти». Для Чугуевки такой оговорки не существует. Тайга да река — вот и вся ее предыстория.

С другой стороны, радуясь в дни столь значительного юбилея успехам села, возникшего на пустом месте в дебрях Уссурийского края, нельзя забывать мудрого ленинского завета: лучший способ встретить праздник — это сосредоточить внимание на нерешенных вопросах. А таких в Чугуевке немало. Прежде всего, как и по всему Дальнему Востоку, кадровый



Т. САЛАХОВ.

Утро на Каспии.

**ПО ЗАЛАМ ВСЕСОЮЗНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫСТАВКИ
«МЫ СТРОИМ КОММУНИЗМ»,
ПОСВЯЩЕННОЙ XXVII СЪЕЗДУ КПСС**



Н. ПОНОМАРЕВ.

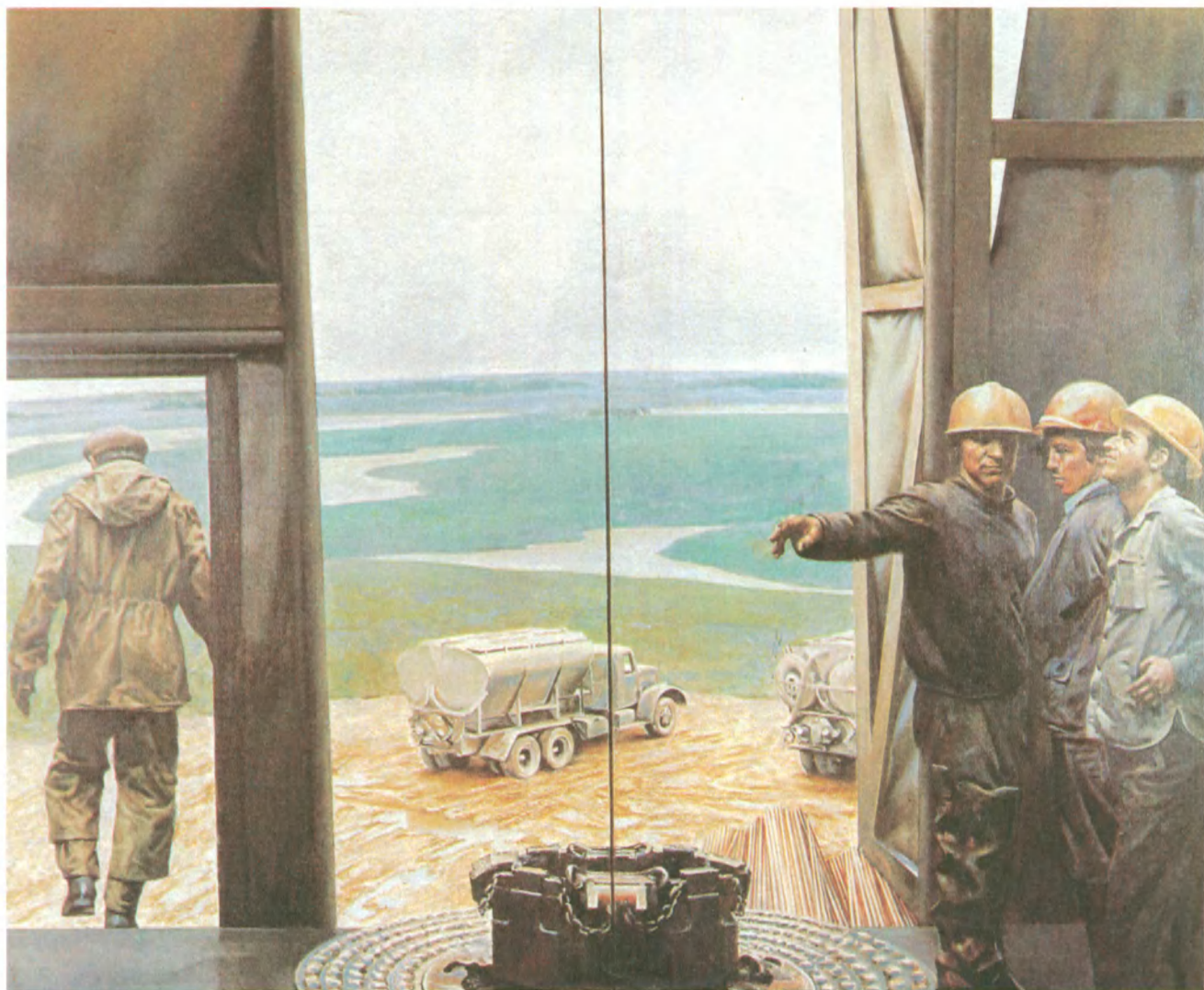
Портрет М. Шолохова.

С. ВЕЙВЕРИТЕ.
Портрет скрипача
Р. Катилюса.



Н. ВАРЛАМОВ.
Портрет
председателя
колхоза
Героя
Социалистического
Труда
В. А. Стародубцева.





А. ПЕТРОВ.

Освоение Сибири.
Центральная часть триптиха.

дефицит. Не хватает строителей, рыбаков, моряков, работников сельского хозяйства и леспромпхозов. По данным ученых Дальневосточного научного центра, только за годы одиннадцатой пятилетки отсюда уехало почти столько же, сколько приехало.

Разорительные путешествия! По подсчетам экономистов, государство потеряло на перевозке, трудоустройстве и обустройстве мигрантов свыше пяти миллиардов рублей. В нынешней пятилетке положение может стать еще более тревожным, так как дефицит людских ресурсов возрастает по всей стране, в том числе и в традиционных обжитых районах, которые до последнего времени оставались главными поставщиками рабочей силы для Сибири и Дальнего Востока.

Почему же в дальневосточных районах оседает так мало людей?

В наши дни переселением занимаются бюро по трудоустройству и организованному набору населения. Эти бюро выполняют главным образом посреднические функции между ведомствами, предприятиями и организациями, с одной стороны, и лицами, пожелавшими отправиться в новые районы, — с другой. Практически отсутствует целенаправленная политика по составлению балансов трудовых ресурсов по территориальным регионам, предварительное обучение на местах потребным профессиям, содействие в социально-психологической адаптации на новых поселениях. Как ни парадоксально, но комсомольские отряды, направляемые на ударные стройки Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, дают значительно более высокий коэффициент приживаемости, чем кадры государственного оргнабора. Самодеятельное переселение силами общественной организации оказывается эффективнее мер государственных. Честь и слава комсомолу, но не пора ли взяться за научно обоснованные методы организации и контроля миграционных потоков...

Но мы отвлеклись от рассказа о делах чугуевских. Хотя вряд ли можно рассматривать заботы и проблемы одного села или даже района в отрыве от ситуации, характерной для всего края. Как же компенсируют чугуевцы нехватку рабочих и специалистов — тот самый кадровый дефицит, который не в состоянии восполнить жиленкинский поток переселенцев?

Еще в прошлый наш приезд первый секретарь райкома партии Григорий Тимофеевич Данченко говорил о большой силе бригадного подряда, хозяйственного расчета. Особенно ошутимые результаты дает расчетливая экономика на селе.

— Понимаете, — объяснял Григорий Тимофеевич, — совхозные руководители буквально бомбардировали райком телефонограммами: на сенокос — дай им людей, на огурцы — дай, на помидоры, на выборку картошки. Начали внедрять бригадный подряд, и вроде как народу в хозяйствах поприбавилось. На самом деле, конечно, никакой прибавки не было, просто хозяин появился у земли. Вот если б пойти еще дальше...

Секретарь подошел к застекленным стеллажам и достал какую-то книгу. Сел в кресло, раскрыл заложенное бумажной полоской место и прочитал: «В колхозе «Трудовая нива» всю землю, занятую пропашными культурами, разделили и закрепили за семьями колхозников. Более того, за этими семьями закрепили и технику: тракторы, сеялки, культиваторы и прочее. Правда, они назывались звеньями, но суть оставалась той же — семья села на закрепленную землю. Автономия в колхозе! Тут есть над чем поразмыслить».

— Это из книги Бориса Можаяева «Запах мяты и хлеб насущный», — предупредил Григорий Тимофе-

евич наши вопросы. — А знаете, где расположен колхоз «Трудовая нива»? С нами по соседству, в Хабаровском крае, на берегах Амура. И начинали там семейный подряд еще в 59-м году. Потом, правда, ретивые администраторы усмотрели в этой инициативе поправление коллективистских принципов, загубили хорошее дело. Теперь опять, смотрю, по стране возрождается семейный подряд. Вот и у нас есть первая ласточка в совхозе «Каменский». Поезжайте...

В тот раз нам не удалось воспользоваться советом секретаря райкома, и теперь мы, не теряя времени, отправились в село Каменку. Григорий Тимофеевич на ту пору как раз уехал по делам в соседний район, но оставил нам надежного провожатого: им оказался Юра Берташ, первый секретарь райкома комсомола — совхозный агроном в недавнем прошлом.

По дороге мы узнали, что совхоз занят животноводством и производством молока, выращивает картофель, но едем мы не на ферму и не на поля, а на... пасеку.

— Там и действует семейное звено, — рассеял наши недоумения Юра. — Командует им Валерий Кузьменко, имея в подчинении жену и ребятишек.

В широком распадке между сопок серебристо извивалась на солнце быстрая речушка. Один берег ее, занятый просторным лугом, полого поднимался вверх. На самом взгорке, у подошвы сопки, приютилась небольшая пасека, обнесенная дощатым забором. Среди домиков-ульев неторопливо, как бы даже торжественно расхаживал молодой мужчина. Вся его одежда состояла из выданных виды тренировочных брюк и легких полотняных туфель. Голубая рубашка, снятая, видимо, по случаю тридцатиградусной жары, лежала на грубо сколоченной скамейке под навесом. Когда он приближался к очередному улейку, небольшой рой пчел создавал вокруг него жужжащее облачко, но пасечник, не обращая на сердитых хозяев внимания, плавными движениями поправлял рамки и так же неторопливо двигался дальше. Мы усеялись под навес, на старые деревянные колоды и ждали, пока пчеловод закончит свой ритуальный марш.

— Ну, вот, — удовлетворенно сказал Валерий, подходя к нам, — обход пациентов окончен. Почему я без рубашки и без шляпы с сеткой? Да потому что неделю назад закончил распечатывание и откочку меда. Вот тогда надо было одеваться по всей форме. А сейчас пчела спокойная, да и привыкают они к пасечнику, к его запаху, что ли. У меня тело медом пропиталось, как у пчелы, да и своего рода иммунитет к укусам выработался. Ну, и еще важно не делать резких движений, двигаться неторопливо, размеренно, плавно. Не зря в народе говорят: «Спокоен, как пасечник». Профессия у нас такая, не терпит суеты.

Мы просим Валерия рассказать о семейном подряде: что выигрывает совхоз, какие выгоды сулит такая форма организации труда самому работнику?

— Дайте листок бумаги и ручку, — просит Валерий, — я вам без долгих присказок всю бухгалтерию нарисую. Двадцать третьего июля я сдал 2,4 тонны меда и один центнер воску — у меня 90 пчелиных семей. Воску больше почти не будет, так как надо пчелам на строительство оставить, а меду еще даст осенний взятки — примерно с полтонны; может, килограммов шестьсот. Закупочная цена меда — три рубля двадцать копеек, воск принимают по восемь рублей за килограмм. Умножаем, складываем. Получается 10 400 рублей. Допустим, две тысячи четыреста я получу в качестве зарплаты, остальные восемь тысяч и составят доход хозяйства...

— А накладные расходы?

— Какие тут расходы? Копейки! Есть пчела не просит, сама себе пищу добывает. Улейки я ремонтирую. Разве что три раза в год надо пасеку перевозить: увянут цветы, липовый цвет в силу войдет, потом гречиха. Вот и все расходы. Мой личный доход не очень и велик. Зато удовлетворение от такой работы большое: указаний никто не дает, сам марашу, как пчелам получить условия создать. Дело тонкое, может, смешно покажется, но надо научиться сдружиться с пчелиными семьями. А какой был бы прок, если б я сегодня на пасеке работал, завтра поле пахал, а послезавтра на ферме крутился?..

— Видите, — говорит Юра Берташ на обратном пути, — скрупулезный подсчет до килограмма, до копейки. И не потому даже, что свою выгоду считает — не такой уж «длинный» рубль у пасечника. А потому, что чувствует человек себя хозяином, ответственным за дело не «от» и «до», а полностью. То же надо и в поле. А когда один землю пашет, другой удобряет, третий сеет, четвертый убирает, ответственными считаются все, а значит — никто. Сам в агрономах сколько горло драл, а что толку: Иван кивает на Петра... Засеял тракторист большое поле, ура! — рекорд. А что на том поле вырастет... Надо решительно менять принципы хозяйствования!

УАЗик медленно пробирался по проселку, вспугивая иногда целые стаи огромных бабочек-махаонов. Обилие этих гигантских, необыкновенно красивых насекомых, занесенных в Красную книгу, придавало нашей поездке оттенок какой-то нереальности, будто мы отправились путешествовать в затерянный мир профессора Челленджера.

— Если не возражаете, — повернулся к нам Юра, когда машина выехала на шоссе, — то заедем в Чугуевке прямо в музей. Хочу показать вам один любопытный документ...

Мы невольно переглянулись: еще один любопытный документ! Причем он явно понадобился комсомольскому секретарю как аргумент в спорах сегодняшнего дня. Удивительное дело, здесь, в Чугуевке, музей, да еще и литературный, совсем не воспринимается как нечто от жизни отстраненное. История и литература органично влетают в сегодняшнюю жизнь района, помогают точнее осмыслить происходящие перемены. Без привлечения материалов музея в районе не обходится ни один актив, ни одно совещание или конференция.

...Пожелтевший лист бумаги был датирован 1914 годом. В правом верхнем углу располагалось обращение: «Прощение крестьянина с. Чугуевки Чекана Мефодия Прокохьевича Его высокопревосходительству крестьянскому начальнику 9-го участка». Посередине крупными буквами было выведено: ПРОШЕНИЕ. Первая фраза знакомила с предысторией вопроса: «Осмелюсь просить, Вас Ваше Высокоблагородие в том, что я, М. Чекан, желая развести расейский виноград посадил в 1910 году 75 кустов...»

Чугуевский селекционер, видно, не был большим стилистом, так как текст дальше идет длинный и довольно путанный. На что мы и обратили внимание Юры. Тот даже как будто обиделся за своего давно ушедшего земляка.

— Разве в этом дело? Я думаю, что крестьянский начальник понял просьбу Чекана: при очередном переделе земли, как было принято в крестьянской общине, не трогать эту десятину, занятую под виноградом. Чувствуете, затеял человек доброе дело и не хотел, чтоб оно попало в чужие руки. А мы все торгуемся: может ли, где это выгодно, бригадный подряд превратиться в семейный. Боямся мелкобур-

жуазной стихии, а хозяина земли потерять не боимся...

В той самой книге Бориса Можжаева, которую цитировал секретарь райкома партии, есть вот какое размышление автора: «Это поразительное свойство характера русского мужика — идти хоть на край света и на свой страх и риск брать дело по нутру да по силам, вживаться в незнакомую природу, в инородную стихию и, подлаживаясь к ней, подчинять ее не силой, а сноровкой да сметливостью...»

Стала более понятна запальчивость Юры Берташа. Если здесь, на краю света, мужик-переселенец еще в 1910 году развел «расейский виноград», то как-то неловко, имея электричество, трактор и комбайн, возить хлеб и мясо за тридевять земель. Противостоит же, в самом деле, когда российский мужик под эгидой государственного леспромхоза крушат пихту, ель, ильм, маньчжурскую березу и другие деревья ценнейших пород, вывозя только 40 процентов этого богатства. Все остальное остается гнить и захламывать лес, как мы видели в урочище Исаков Ключ. И уповать тут, видно, надо не на всемогущий компьютер, а на иную, хозяйскую организацию дела.

А в начале года мы получили письмо от Юры Берташа. «Перестройка, которая идет по всей стране, — пишет он, — докатилась и до нас. Идет большое сокращение управленческого аппарата как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. В среднем администраторов и управленцев станет меньше на 20 процентов. Ветер перемен кое-кому дует в спину, менять кресло на рабочее место не всем по душе, но уже сейчас ощущается эффективность новой структуры.

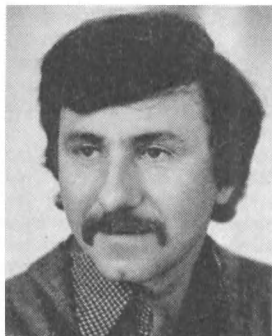
Еще одна новость, довольно неприятная: музей А. А. Фадеева без ведома района сделали филиалом музея Арсеньева. Надежда Ивановна Алексахина собирается уходить. Для культурной жизни района потеря будет большая...»

Если первые строки письма нас безусловно порадовали, то заключительные вызвали недоумение. Что такое музей для района, мы уже попытались рассказать. О поистине подвижнической деятельности директора музея Надежды Ивановны Алексахинной читателям известно из публикации прошлого года. Не беремся издаലെка оспаривать правильность принятого решения, однако опасаемся, что интересы ведомственного характера не были поверены конкретной ситуацией. Централизация музеев, может быть, и благо с точки зрения Министерства культуры, но есть ведь еще и специфика местных условий, традиций, наконец, есть живой человек — директор музея, имя которого с ним неразрывно связано. Чугуевский крестьянин Чекан бил челом начальству, прося оставить возделанную десятину с виноградом. Почему же возделываемая в течение многих лет нива духовная должна лишиться своего преданного работника?

Мы начали эти заметки с юбилея Чугуевки. Вторым юбилеем, отмеченным в районе, было 25-летие музея А. А. Фадеева. Неужто 1986 год ознаменует конец самостоятельного существования этого заметного культурного центра на Дальнем Востоке?

Ф. АЛЕКСЕЕВ,
М. БОРИСОВ

с. Чугуевка,
Приморский край



А. НЕВСКИЙ

ЗАИНЬКА

Вы знаете, какой был самый страшный день в моей жизни? — уже на прощание спросила меня она. — Нет, не тот, когда меня судили. Это еще можно пережить. И не первые сутки в заключении. Ужаснее всего был тот четверг, когда к нашему подъезду подкатила милицмейская машина и меня взяли под арест — прямо на глазах у всех соседей, вы представляете? Как они смотрели на меня! А один пожилой дядечка сказал: «Надо же, такая красивая и молодая, а уже преступница!» Меня всю затрясло, голова кругом, а слов нет. Все, думаю, пропала девочка. А за что?..

В старинном городке с его белокаменными соборами, пережившими свое бессмертие, цвела ранняя сирень. Она гуляла под окнами типовых пятиэтажек и по окраинным деревянным улочкам, которые вели к новому микрорайону. Здесь особняком, на пригорке, стояло общежитие швейной фабрики, так называемая «малосемейка».

У подъезда выстроились детские коляски, около которых колготились юные мамы. Рядом, в песочнице, возились ребятишки. Чей-то молодой папа ремонтировал мопед в окружении пацанов. Обычный субботний день: постирушки, магазин, баня... Пеленки на балконах трепетали, как белые флаги, выброшенные теми, кто не устоял перед прелестями семейной жизни.

— Костя! Маша! Домой! Я кому сказала! — кричала из окна строгая родительница.

— Иван, ты хлеба не забыл купить?

Это жизнь...

А всего лишь в ста метрах от общежития, через пустырь, заросший лопухами и чертополохом, — вы-

сокий каменный забор с облупившейся штукатуркой, а над ним в три ряда натянута колючая проволока. И постовой солдат на вышке. И массивная дверь с крошечным зарешеченным оконцем, обитая железом.

— ...Костик! Где Маша? Сколько я вам буду обед разогревать? А ну-ка быстро!.. — И сюда доносится голос молодой мамы. И детские крики, и рокот мотоцикла...

Как это все не вяжется с постовым на вышке и тем, что я увижу за стеной. Новая дверь, но уже автоматическая.

О чем-то оживленно разговаривают два юных сержанта с красными повязками:

— Верка мне уже два месяца не пишет, представляешь?

Увидев меня, они замолчали, как по команде, поднялись с места. Внимательно изучив мои документы, один из них убежал за дежурным офицером. Однако минут через десять вместе с дежурным пришел на проходную и замполит ИТУ, капитан Борис Васильевич Жестков — молодой мужчина с широким, на удивление добродушным лицом.

Мы познакомились. А затем замполит повел меня в свой кабинет через территорию исправительно-трудового учреждения. Чистые асфальтированные дорожки с коротко стриженными кустами акации, по обе стороны стояли стенды с плакатами. Наглядная агитация была оформлена очень искусно. Рисунки, портреты передовиков, яркие лозунги.

Кирпичный трехэтажный дом был как две капли воды похож на общежитие швейной фабрики.

В сквере на лавочке я увидел нескольких молодых женщин в форменных синих платьях. Они поздоровались с замполитом и с интересом посмотрели в мою сторону.

В коридорах и спальнях было чисто и даже уютно. Койки заправлены одинаково по установленной форме. Над каждой какая-нибудь фотография — или знакомого человека, или мужа, или артиста. В общем, обыкновенное общежитие, разве что комнаты просторнее. В красном уголке — телевизор, книжный шкаф, длинный стол с подшивками газет и журналов.

— Девчата, позовите Заиченкову из второго отряда, — очень мягко попросил Жестков двух молодых женщин, рисовавших у окна стенгазету.

— А это что, новенькая?

— Да, она недавно у нас. Ее Галиной зовут. Когда они вышли, Борис Васильевич заметил:

— Я знакомился с делом Заиченковой. Для нас это, в общем, случай типичный. Больше половины осужденных — это бывшие работники торговли, общественного питания. И в основном молодые женщины...

Да, молодые, как это ни грустно...

В дверь заглянуло веснушчатое продувное личико:

— Гражданин начальник, мне с вами нужно поговорить по личному вопросу.

— Ладно, Щербаченко. — Борис Васильевич посмотрел на часы. — Я к вам приду в отряд после ужина. Скажи Вере Андреевне...

В том-то и дело, что молодые... Их сверстницы учатся в институтах, работают на стройках и фаб-

риках, любят и заводят семьи, опаздывают на свидание и кружат головы парням... А здесь тех немногих мужчин, которые несут службу в исправительно-трудовом учреждении, им приходится называть строго по званию. Тридцатилетний Борис Васильевич для этих девушек даже не товарищ, а «гражданин капитан» или «гражданин начальник».

Нет, условия в колонии тяжелы не физически — в этом отношении все нормально: восьмичасовой рабочий день, неплохое питание, телевизор, два раза в неделю кино показывают, своя самодеятельность... Хорошее медицинское обслуживание, баня и прачечная... Конечно, трудности есть, но они в основном морального порядка: не дает покоя чувство, что за этой стеной — жизнь...

..Она равнодушно-царственной походкой вошла в комнату. И представилась как положено:

— Осужденная по статье 93 Заиченкова.

Чувствовалось, что Галя еще не привыкла так себя называть. (Да и можно ли к этому привыкнуть?)

— Да вы садитесь, пожалуйста, Заиченкова, — поспешил предложить замполит.

Она машинально поправила короткие волосы под темно-синим платочком и опустила на стул. Галя наверняка никаких гостей не ждала — откуда им сейчас быть? — поэтому с удивлением посмотрела на Жесткова, а потом перевела взгляд на меня. Но через какую-то минуту он стал безразличным — или это только для вида?

— Как настроение, Заиченкова? Есть ли у вас жалобы, предложения? — спросил Борис Васильевич.

— Нет, спасибо, у меня все хорошо. — Заканчивая фразу, она едва заметно усмехнулась кончиками красиво очерченных, по-детски припухлых губ.

— Галя, я привез письмо и кое-какие вещи от ваших родителей.

— Вечером, после осмотра, вам их передадут, — добавил Жестков.

— Ты гляди, какие чуткие люди. Надо же! — ехидно заметила она и тут же поинтересовалась. — Ну как живут мои старички? Как мамуля? Как любимый отчим?

— Беспокоятся, вы же им не пишете.

— Ну да, конечно, беспокоятся, переживают, ночей не спят... Как же? Любимая дочка на десять лет попала в колонию!

Тут замполит поднялся, взглянув на часы, и сказал:

— Ладно, вы тут побеседуйте, а мне нужно идти по делам — скоро приемные часы.

Когда дверь за ним закрылась, Галя несколько оживилась. Я ее хорошо понимаю — здесь за «забором» хочется просто поговорить с человеком оттуда, из другого мира, который пока только можно вспомнить или вообразить...

— Ну, что нового в Москве? Впрочем, что вы мне можете рассказать!

— Кое-что, наверное, могу. Например, об этом человечке. — Я достал из кармана завернутую в газету фотографию — пусть простит меня замполит Жестков за столь своевольный поступок!

Галя взяла его, развернула и... Вы думаете, заплакала? Вы думаете, у нее задрожали от волнения красивые губы? Нет, смею вас уверить. Ничего подобного не произошло, хотя я и ждал, что с Заиченковой что-то случится, когда она увидит снимок своей родной дочери.

— Ну, и как там Настя со своим папулей поживает? — Вот и все, что она спросила. — Обо мне, наверное, не вспоминают?

— Не знаю. — Я пожал плечами и тут же пожалел, что сказал неправду. Впрочем, ее бывший муж просил ничего не говорить Гале, только передать фото. А Заиченкова повертела его в руках и отложила.

— Значит, изучать меня приехали? — усмехнулась она. — Ну-ну, Галина Алексеевна Заиченкова как отжившее социальное явление, так?

Да, что-то, а язычок у нее был хорошо подвешен.

— Почему «отжившее»? Галина Алексеевна Заиченкова, видимо, еще не последний человек в нашем государстве, осужденный за хищение государственного имущества в особо крупных размерах.

— Вот это уж точно! — почему-то обрадовалась Галя, однако ее лицо тут же стало скорее жалким, чем высокомерным, что она хотела изобразить. — Ладно, давайте поучим нашу молодежь на моем печальном примере. С чего начнем? Ах да, с моей остросюжетной биографии. Ну что ж... — Она взяла у меня сигарету, закурила и не спеша стала рассказывать. — Итак, жила-была Заинька...

Почему я выбрал из многих криминальных историй именно дело Галины Заиченковой, а из десятков молодых женщин, отбывающих заключение, именно ее? Чем она меня привлекла, чем удивила? Непохожестью? Нет, вон их сколько, девушек и женщин, осужденных за хищения и злоупотребления! С некоторыми довелось обстоятельно побеседовать, выслушать их «исповеди». Однако именно в истории Заиченковой, по возрасту почти моей сверстницы, мне увиделись черты характера, отношения к жизни, свойственные, увы, не такой уж малочисленной группе молодежи. Умение требовать, брать и ничего не отдавать взамен. Желание иметь и одновременно ничем не поступаться. Идти на заведомую сделку с собственной совестью, не думая о нравственных принципах.

Конечно, не все из этой группы попадают сюда, скорее единицы, те, кто нарушил закон. Заиченкова попала.

Впрочем, давайте послушаем ее историю.

Итак, жила-была Заинька... Кто дал Гале это прозвище? Сама она не помнит — то ли в детском саду, то ли отец, то ли в начальной школе... «Ах да, я два раза на новогодней елке зайку изображала... А скорее всего из-за моей фамилии». Однако так и пошло — Заинька да Заинька. Мило и слух не режет, даже ласкательно. В школе — Заинька, дома — Заинька... Однажды и учительница в седьмом классе обмолвилась и назвала ее Галей Заиньковой.

В Заиньке с детских лет все души не чаяли, говорили: ах, какой растет прекрасный развитой ребенок! Не девочка, а куколка! Умница! Лапушка! А как поет, как пляшет! А душа какая добрая, ничего не жалеет для других. Игрушку? Пожалуйста! Чуть позже: контрольную списать? Списывайте на здоровье!

— Это уже потом мне мама стала внушать: дескать, ты себе цены не знаешь! Не водись с кем попало. Девушке нужно гордость иметь. А отец с ней тогда спорил: мол, главное, чтобы Галка росла добрым и скромным человеком...

... — Ты жизни не знаешь, хоть и до седых волос дожил! — говорила мужу Нина Павловна. — Чему ты можешь дочку научить, неудачник? Много ли на своей доброте выиграл?

— А что, обязательно нужно что-то получать? А мне отдавать больше нравится, я себя уважаю.

— Ты всем даешь, но только не семье. Что мы от тебя видим? 180 в месяц и все? Десять лет на заво-

де, а все простым конструктором ходишь. Приятели вон как тебя обскакали! Саныч твой любимый и тот завлабом стал, а ты?

Подобные баталии в семье Заиченковых случались часто, однако их отголоски за дверь не выходили... Все соседи и знакомые считали Нину Павловну и Алексея Исаевича если не идеальной, то вполне достойной уважения парой.

— Мама в свое время работала учительницей — это было сразу после педучилища, — но года через четыре ей «надоело с охломонами возиться», и она нашла себе другое место — стала заведующей детским садом. Тоже дело хлопотное и ответственно-сти много, — говорила она, — но тут я себя чувствую спокойнее. В общем, мама нашла себя в хозяйственной работе. И потом по своему характеру ей хотелось хоть немножко, но иметь какую-то власть над людьми, чтоб с уважением, чтоб с поклоном, с просьбочкой...

Когда Галя училась в восьмом классе, из дома ушел отец. Так по крайней мере ей сказала Нина Павловна. Это уже спустя несколько лет девушка узнала, что все обстояло по-другому: у матери давно был мужчина, подполковник в отставке — да-да, тот самый Иван Устинович, ее теперешний муж...

— А папу Лешу она просто довела капризами, истериками, упреками — в общем, спровоцировала его уход. Я знаю, некоторые женщины так именно и поступают. Сначала доведут, а потом прикидываются обиженными да брошенными... Впрочем, отца мне не жалко. Он действительно занюханный, отпетый неудачник. А насчет его якобы нераскрытых способностей — не знаю. Человек есть то, что он представляет на данном этапе. Ни больше ни меньше. И тут мамочка права: нельзя в нашей жизни быть добрым, — съедят и хвостика не оставят. Вот как меня съели, дуреху... Наверное, из-за папиных добрых «генов», черт бы их побрал!

...Первое время Алексей Исаевич часто приходил к дочери и каждый раз дарил ей книгу. Однажды она высказалась:

— Папуля, милый, я уже взрослая, на меня мальчики заглядываются. Да ты не улыбайся, не улыбайся... Это в порядке вещей, мне 17-й год пошел. А ты погляди лучше, в чем я хожу? Смех и грех. Такие платья уже сто лет никто не носит. Вы с мамулей не очень-то меня баловали. Ах да, прости, зато у нас целых два шкафа книг — спасибо тебе, папочка! Вместо джинсовой юбки я буду ходить на танцы с томом твоего любимого А. Толстого.

После этого разговора отец не появлялся целый месяц, а потом встретил Галю у школы и, что-то бормоча, сунул ей в карман какой-то пакетик. В нем оказалось 125 рублей. Вообще с той поры он стал появляться реже... Может быть, почувствовал, что не нужен дочери?

— Да нет, он какую-то бабу нашел, сердечницу с двумя детьми. Вот чудак, а? Зачем ему чужие дети понадобились? Мне бы сказал, я бы ему такую тетеньку нашла с квартирой и машиной — типа тети Лизы, нашей соседки. Нет, папочка никогда звезд с неба не хватал, не дано.

Алексей Исаевич, узнав, что я интересуюсь судьбой его дочери, сам разыскал меня по телефону. Мы встретились у него дома. Таким я и представлял этого человека: худощавый, с бледным, болезненным лицом и мешками под глазами. Но вот что сразу удивило — в его усталых глазах горел какой-то неуемный огонек, который к себе притягивал, располагал собеседника.

— Вы, наверное, голодны, да? Подождите, я быстро соберу на стол. — И не дав мне слова молвить, тут же убежал на кухню.

Пока он суетился на кухне, я стал осматривать комнату: старый дубовый гардероб, скромненький телевизор, тахта, книжный шкаф. Стена около письменного стола была увешана какими-то грамотами и дипломами. Я подошел ближе и увидел, что на каждом из них золотом или красными чернилами была оттиснена фамилия — Заиченкову А. И. «За внедрение...» «За рационализаторскую и изобретательскую работу...» «За лучший проект...»

И тут Алексей Исаевич появился с тарелкой дымящихся щей.

— Вы уж извините, но в доме больше ничего нет. В воскресенье Риточку замуж выдали, сами понимаете... Молодые сразу на море уехали, а за ними супругу отправил в санаторий здоровье подправить, — смущенно объяснил он.

Ни он, ни я не знали, как и с чего начать...

— Алексей Исаевич, простите, но я вас не видел в суде. Почему вы не пришли ни на одно заседание? — наконец спросил я.

— А вы не понимаете? — он, забывшись, вместо пепельницы ткнул окурочек в хлебницу — так пальцы у него дрожали. — Мне стыдно. За себя стыдно. Это ведь я во всем виноват, что у Галочки все наперекосяк пошло... Где я был раньше? Почему не оставил, не остерег, не направил? Папаша чертов!.. Извините.

Он долго прикуривал новую сигарету.

— Ну, зачем вы так себя?..

Но он меня уже, кажется, не слышал.

— ...Я обязан был почувствовать, что у Гали... Да нет, мне попросту нужно было не пускать ее в этот треклятый магазин! Какой она продавец? У нас сроду никогда не было торгашей. Лично я их на дух не переношу, — он перевел дыхание и закашлялся. — Это все Нина Павловна! Это она из Галки сделала, из Галочки... такого человека, это она... — Неожиданно Алексей Исаевич схватил меня за руку. — Нет-нет, я не то говорю, не то... Вы вот что сделайте. Если будете писать, то жирным шрифтом выделите мои слова: «Я не утратил, я во всем виноват!» И подпись: «А. И. Заиченков». Вы мне обещаете? Я хочу, чтобы в меня люди пальцем стали тыкать, чтобы... Я это заслужил!..

— Аттестат у меня вышел неплохой, средний балл — 4,8. Девчата говорили, что с моей внешностью надо в театральный поступать, в Москву ехать. А я струсил. А вообще-то, до последнего экзамена я не знала, куда мне податься. У нас в городе два института — пед и политех. Ни тот, ни другой меня особо не прельщал. Однако мамаша все уши прожужжала: поступай да поступай, мол, самое главное — диплом получить, какой неважно. Ну, я и пошла за компанию с одной подружкой в педагогический. Как в поговорке: «Нет дороги — иди в педагоги». А что было делать? Не на завод же устраиваться! И потом, учиться в институте мне даже понравилось — «от сессии до сессии живут студенты весело!». Группа на филфаке у нас подобралась дружная — правда, ребят было маловато, всего три парня... Зато куратор Игорь Иванович был ничего из себя дядечка — 35 лет, кандидат, остроголов, умница. Сколько девиц по нему с ума сходило! А он с первого дня почему-то на меня глаз положил.

Я и сейчас не могу понять, как у нас с ним все очень быстро получилось! В общем, роман был жуткий — Игорь хотел ради меня даже семью бросить.

Представляете? Нам бы вовремя остановиться, пока его законная супружница не провioxала. Но не тут-то было! А тут я на свою голову рассказала о наших отношениях одной подруге, которая потом оказалась ужасной стервой... И пошла слухи по институту, а нашим тревожностям только попадись, на язычок. В общем, обо всем узнала жена Игоря. Приезжает как-то утром на дачу, а мы с ним там... Веселенькая история, да? Правда, она оказалась неплохой бабой — обошлось без сцен, без жалоб в деканат и в профком.

«Скажите, Галя, вы правда любите моего мужа?» — спросила она тогда у меня.

Я не знала, что и ответить. А он, старый дурак, возьми и ляпни: да, говорит, мы с Галей решили пожениться. Это меня прямо взбесило.

«Вы, конечно, меня извините, но я не хочу, чтобы из-за меня кто-то жизнь ломал. С Игорем Ивановичем у нас все кончено» — так и сказала: дескать, вот я какая великодушная, от своего счастья отказываюсь.

И что вы думаете? На следующий вечер он меня встречает у подъезда и говорит:

«Галя, я тебя люблю — нам нужно быть вместе. Я квартиру оставил жене и сыну. А мы с тобой все начнем с «нуля».

Значит, мне свою программу излагает: в первое время комнату снимем, а там будет видно... Ничего заявочки, да? Ну уж нет, я ему тогда все высказала, и в резкой форме. Он, бедненький, даже побледнел. Стоит, как побитый, и талдычит: «Я без тебя не смогу жить, ты для меня все...»

Жалко мне своего куратора стало. Ладно, говорю, давай съездем отдохнем на юг, как раньше планировали, а потом посмотрим, как жить дальше. А что я тогда должна была делать? На носу летние каникулы, очень на море хотелось. А почему бы не с Игорем? Сразу отпадала масса проблем... Впрочем, я уже тогда решила: после каникул ставлю на нем крест.

Сколько прошло времени с той поездки на море? Шесть-семь лет? Значит, когда я встретился с Игорем Ивановичем, он только недавно разменял пятый десяток. По возрасту еще довольно молодой мужчина. А внешне?

Передо мной сидел совсем пожилой человек, усталый, неухоженный. Даже седина в густых волосах не красила его, а старила.

— Вы извините, я сегодня не при деньгах. Рассчитывал, что за лекции в «Знании» получу, но промашка вышла... — Он смущенно улыбнулся. — Ума не приложу, как вы меня только нашли?

Да, разыскать Игоря Ивановича было нелегко — живет он сейчас в небольшом районном городишке, работает преподавателем в сельхозтехникуме. Со своей женой он развелся еще тогда, шесть лет назад.

— А вы знаете, я всем доволен: мне тут и квартиру дали, и в коллективе относятся с уважением — как же, единственный кандидат наук! Я так считаю: везде можно жить, везде можно работать.

Я разговаривал с руководителями техникума, и они действительно высокого мнения об Игоре Ивановиче.

— Прекрасный преподаватель, доброй души человек, однако не без слабостей — случается, что и выпивает...

А ведь раньше не случалось.

— ...Да, вы мне сообщили невероятную новость! Как-то в голове не укладывается: Галочка — и вдруг колония. И неужели десять лет дали? — с удивлением, но вполне спокойно спросил Игорь Иванович. — Жалко человечка. А впрочем, она сама себе такую судьбу выбрала. Вы ведь, наверное, уже знаете, что тогда в Крыму Заинька от меня сбежала с каким-то

гитаристом из Москвы. Он, видимо, и заставил ее пойти в торговлю... Что я могу сказать? Дурочка. Взбалмошная девчонка

— Но ведь вы ее любили...

— Что? Я эту тварь ненавижу! Я рад, что она в тюрьму попала — так ей и нужно! — вдруг прорвало Игоря Ивановича, однако он через минуту уже взял себя в руки. — Ой, что я говорю? Вы меня не слушайте.

Сочувствовать ему почему-то не хотелось — не тот случай.

...— Какая же я была кретинка! Ну зачем я в Москву поехала? И мало того — вбила себе в голову, что нормально можно жить только в столице. Потому, наверное, и согласилась сразу выйти замуж за Володьку. А он парень сумасшедший — одним словом, музыкальная натура. Ах, как обрадовался! Галка, говорит, все настоящее случается сразу, с первого взгляда. Чудак! Однако он мне чем-то понравился: вроде неплохой парень, обходительный. Когда я от Игоря к нему прибежала в палатку, он приятеля выпроводил, однако приставать ко мне не стал. Ты, говорит, Галка мне нужна на всю жизнь, а не на одну ночь. Так и сказал. Что ж, думаю, скромность — это по нашим временам неплохо.

А мать с отчимом очень обрадовались, что я захожу замуж за москвича. Наверное, им самим хотелось побыстрее меня с рук сбагрить — аж пятьсот рз отвалили на свадьбу, расщедрились.

Заинька уж и размечталась о красивой жизни. Оказалось, что жизнь не такая и красивая. Володька жил с матерью не в Москве, а в областном городке — 45 километров от столицы на электричке. Квартирка маленькая, две смежные комнаты. Это не мечта, конечно. А что делать? Свадебная карусель закрутилась.

— В какой-то книге я вычитала, что женитьба — это наваждение. Так, наверное, со мной и случилось.

...И вот уже откричали молодым «горько», и вот уже пролетела медовая неделька в доме отдыха на Оке, как началась для Володи и Заиньки семейная жизнь. Супруг пошел на третий курс музыкального училища, а Галя перевелась в областной пединститут.

Мать Володи Евгения Алексеевна работала участковым врачом в поликлинике, а отец умер три года назад. Понятно, что юным супругам пришлось нелегко в материальном отношении. На стипендию, как говорится, не разгуляешься. Впрочем, Володя с матерью привыкли жить очень скромно, покупать лишь самое необходимое. Заиньке нужно было к этому принаравливаться, в чем-то себе отказывать...

— Спрашивается: а зачем я тогда замуж выходила? Я так считаю, брак должен решать какие-то проблемы, а не создавать новые, верно? Дома меня тоже не очень баловали, но то, что мне нужно, я имела. А здесь я поняла, что просто погрязну в нищете... Свекровь моя любимая каждую копейку подсчитывала. И не потому, что скряга, просто они, видите ли, приучили себя жить «по средствам». Подработки на стороне Евгения Алексеевна считала ниже своего достоинства. И даже от подношений отказывалась. Вот какой щепетильный человек! И Володя весь в нее. Сколько раз он мог устроиться в какой-нибудь ансамбль, чтобы подхалтурить на свадьбах или вечеринках. Так нет, он, понимаете, слишком уважал себя, чтобы «размениваться» по пьяным танцуйкам». Ему, понимаете, ближе класси-

ческая школа. А кому она сейчас нужна, эта «классика»? Какого черта он тогда с утра до вечера бренькал свои испанские прелюды? Много ли стоит талант, за который деньги не платят?

Нет, это странные люди, честное слово, не от мира сего. Только я почему была должна из-за них страдать? И не только я, но и ребенок. Я ведь специально и Настю родила, чтобы они поумнели, о жизни всерьез задумались. Какое там! Смешно сказать — даже детскую коляску купили в комиссионке! Соседка предложила импортное питание — отказались, денег нет! Свекровь сюсюкала: «Галочка, самое лучшее питание — это материнское молоко». Ей наплевать, какая у меня после девяти месяцев кормления будет фигура.

В общем, однажды я не удержалась и высказала все, что я о них думаю. Если вы не хотите меня с Настей нормально содержать, то я сама пойду работать, к черту институт. Кстати, я давно уже подумывала: какой мне толк от этого педа? Три года еще учиться, а потом всю жизнь с чужими охломами маяться. Нет уж, спасибо!

— И куда же ты пойдешь? — спросила свекровь.

— На курсы продавцов, — отвечаю.

— Я тебя не пушу! — муж сразу в штыки.

— А я и слушаться не буду, раз мой муж не может меня нормально обеспечить...

— Подожди еще годик, а там я буду неплохо зарабатывать, — попросил он. — Ну хочешь, устроюсь сторожем?

Я на принцип: дескать, ничего мне от вас не нужно! И вообще перестала с ними разговаривать. Тоже мне, интеллигенты выискались вшивые! Какой мне толк от их порядочности и щепетильности? Я молодая, красивая женщина, я хочу ни в чем себе не отказывать... Не можете это устроить? Тогда мне не мешайте.

Неожиданным своим решением Заинька была обязана некой Людмиле Швецовой, с которой она познакомилась на детской площадке, гуляя с дочкой.

Ах, как была одета эта женщина! Каждый день в новом — то в кожаном плаще, то в замшевом костюмчике, то в обалденном комбинезоне... А сын ее, как куклениш с выставки! «Умеют же люди жить!» — сразу подумала Заинька.

Оказалось, что Людмила работает в винном отделе соседнего гастронома.

«Я тоже училась в политехникуме, а потом подумала: какого черта я буду ишачить на заводе за сто рз? Жизнь, ведь она короткая, а молодость уже проходит, — поделилась своим опытом продавщица. — А потом меня свекровь надоумила пойти в магазин. И ни капельки не жалею! Трудно, конечно, нервов много, но по крайней мере я знаю, за что работаю. А торговая наука куда посложней любой кибернетики».

«Да нет, это мне не по характеру. Я вспыльчивая бываю, не люблю перед кем-то унижаться...»

«Ну и пыли себе на здоровье, только не с началом. У меня самой натура не дай боже. Только надо знать, кому хамить, а с кем и посюсюкать... Чутье должно быть...»

И Людмила предложила Заиньке такой план. Сейчас она пусть поступит на курсы продавцов овощных лотков — скоро как раз сезон начнется, а потом уж перетянет ее к себе в отдел.

Через день после этого разговора Заинька взяла из института документы. «Малышка постоянно бо-

леет, нет никакой возможности ходить на занятия», — объяснила она в деканате.

— И ведь никто мне не предложил помощь, не остановил... И это называется — «великое студенческое братство»? Куда там! Каждый только о себе заботится. Одна подружка, как увидела меня за прилавком, вот такие круглые глаза сделала: «Ну, Заинька, ты даешь!» Носик поморщила, а потом все равно ко мне стала бегать за свежими помидорами. И не одна она...

— Галя, ты нас с Володей совсем опозорить хочешь? В поликлинике и так уже бог знает что думают, будто это я тебя в магазин отправила... — возмущилась Евгения Алексеевна, узнав, что сноха теперь переходит торговать вином. — Просто ужас. На нас ведь станут пальцем показывать.

— А мне наплевать, кто обо мне что думает, — усмехнулась Заинька. — Вы лучше на мои пальчики посмотрите. Нравятся? Жена музыканта, продавец картошки.

— Галка, что ты говоришь? Мы ведь тебя отговаривали с мамой, а ты все равно на своем настояла... — сказал Володя. — Я тебя умоляю, уходи из этой конторы. Лучше я буду в ресторанах на танцуйках играть, лучше...

— Да ты уж лучше помалкивай в тряпочку! Кто тебе новую гитару купил, кто тебе, пижону, приличный костюм достал, а? — разозлилась Заинька. — Это я вот этими грязными пальчиками, которые и французскими духами не отмоешь... И все за семь месяцев — себя, Настьку придела...

Евгения Алексеевна поморщилась:

— Господи, какой бред! Да не нужны нам твои деньги! Ну хочешь, я найду тебе работу в хорошем учреждении? Ведь нельзя же так! Ты бы лучше дочери уделяла больше внимания — ей от матери не тряпки, а внимание, нежность нужны. Неужели ты этого не понимаешь?

— Вы больно много понимаете! Лопаете продукты, которые я приношу, и меня же осуждаете... Ловко, мамочка! Спасибо, муженек! Отлично устроились. Ну хорошо, мои дорогие, тогда давайте сдадим Настьку на пятидневку. И всем будет спокойно, а? — ехидно усмехнулась Галя.

— Ты страшный человек! Какой же ты страшный человек! — вдруг испуганно протянула свекровь. — Неужели в тебе нет материнских чувств... неужели...

— Мне до того стало с ними жить невесту, что и винный отдел мне показался раем. По крайней мере никто в душу не лезет. На тебя наорут, ты нахамишь — и порядок! А вообще, ко мне покупатели очень хорошо относились: Заинька да Заинька...

...Вечером после того, как снимут и сдадут кассу, они любили засиживаться в кабинете заведующей Анны Тимофеевны Беляевой. Бутылочка шампанского на столе, коньячок. Тортик, колбаска. Все чин чинном. Собирались обычно все «свои» — продавцы, рабочие (алкашей в компанию не принимали). Заходили на огонек инспектор ОБХСС Василий Саввич и здешний участковый Толя Зернов, коллеги из соседних магазинов...

— Ой, Заинька, да ты за одну свою внешность можешь по пять червонцев в день собирать. Вот, помню, я в твои годы! — благодушно улыбалась заведующая, а потом начинала очередную любовную историю.

— Ты, Тимофеевна, лучше скажи молодой, чтобы на посуде шустрее работала — больно жирно будет

по двадцать копеек брать. Пусть в приемный пункт несут...— рассуждала Швецова, первая «наставница» Заиньки.— И потом, ты с пробками выбраковывай, а сама их в уголок, в уголок... Вечером Пашуля все оприходует.

— Подождите, девчата. Я вот одного не пойму: почему мы столько вина задарма раздаем? Этому рыжему сегодня бутылку, Лене мордастому... А за что?— недоуменно спросила Галя.

— Это свои мальчишки, они в долгу не останутся.

— А если ревизия нагрянет?

— Не бойся, маленькая, как-нибудь договоримся, не в первый раз,— успокоила ее заведующая.

«А чего я об этом должна думать! Не моя забота».

Теперь ежедневно она приносила домой по 10—15 рублей, а то и по двадцатнику. Плюс продукты. Вот и считай, где еще столько заработаешь?

Вскоре Заинька справила себе импортное кожаное пальто с мехом ламы, о котором долго мечтала.

— Откуда у тебя такие деньги?— изумилась Евгения Алексеевна.

— Взяймы взяла, вас это не касается,— отрезала Галя.— И вообще, не лезьте в чужие дела...

В то утро заведующая отделом как с цепи сорвалась— сначала накричала на Швецову, потом взялась за Галю.

— Где вчерашние накладные на товар?

— Не знаю, я вам все бумаги отдала!— пожалала плечами Заинька.

— Хорошо, а где ящик с водкой, что стоял в подсобке под столом?

— Вы же сами велели его отдать тем мужикам из райторга, что на «Волге» приезжали...— едва сдерживая себя, объяснила Галя.

Неожиданно Анна Тимофеевна— умеет же человек менять настроения!— улыбнулась и даже обняла ее за плечи.

— Извини, солнышко. Издергали меня.— И подмигнув, прошептала на ушко:— Зайди-ка ко мне, есть разговор.

Заведующая начала издали: расспросила о семье, о Насте, черкнула телефончик одного типа, который может достать детскую дубленочку. А потом вынула из стола конверт и положила его перед Заинькой.

— Это тебе.

— За что, Анна Тимофеевна?— удивленно спросила Галя, обнаружив в конверте пять сторублевых бумажек.

— Аванс за хорошую работу, так сказать, материальный стимул.

— Да нет, я не возьму,— робко отказалась Заинька.

— Бери-бери, я тебе в понедельник еще столько же дам, если одно дело сладим,— хитровато улыбнулась заведующая.

Галя попросила объяснить:

— В общем, солнышко, от тебя все зависит— посадят нас всех или нет?

— Как это?— ошарашенно пробормотала Заинька.

— А так, милая. У нас большая недостача— тысяча на двадцать, а то и больше...

Галя дернулась с места, закричала:

— А я-то здесь при чем? Я ничего не знаю... Я...

Анна Тимофеевна тут же схватила ее за плечи:

— Замолчи, дура!— И прошипела:— Мы здесь все при чем. Ты деньги брала? Продукты брала? Товар разбазаривала?

— Что? Да ведь вы сами велели...

— Э-э, милая, мало ли что я велела! Я тебе велю в Пахру вниз головой, и что, ты бросишься? Так что

сиди и помалкивай. Нам теперь сделать нечего, если только статью УК РСФСР-92 или 93...

Галя безвольно опустилась на стул.

— Какая же вы гадина!— прошептала она.— Какая...

— Заткнись, дрянь!— Анна Тимофеевна хлопнула массивной ладонью по столу.— В общем, слушай. Ты должна обаять одного мужичка-ревизора, поняла? Заинька округлила глаза:

— Да вы что, совсем сдурели? Я вам не подстилала! Я вот сейчас пойду и...

— Да куда ты не пойдешь. Ты же Заинька!— с неожиданным спокойствием сказала Анна Тимофеевна.— Дорогуша, я бы и сама пошла, что ты думаешь, как в свое время ходила... А теперь кому нужно такое старье! Так что вот тебе ключи от моей квартиры. После ресторана я вас посажу на такси...

В тот вечер Заинька впервые не пришла ночевать домой.

...— Что он сделал? Да он свою жену посадил, вот что сделал!— злорадно говорила мать Галины Нина Павловна, ежеминутно утирая концом фартука сухие, только покрасневшие глаза.— Никто не верит, честное слово. Каким нужно быть извергом, гадом, простите, чтобы «наклепать» на мать своего ребенка! Ведь Заинька ради него, студента-голодранца, пошла в магазин... Что ей было делать? Она гордая, за себя никогда не попросит. Так ее муженек с мамашей и Настенку голодом морили, во всем девочке отказывали, такой крохотулечке... Нелюди! Черствые, бездушные, зато с «принципами», с гонором! А Галочка им во всем старалась угодить, даже эту мегеру мамочкой называла, меня из-за нее перестала почитать. Да что говорить! Если бы я знала, какие это люди, как они мучили ее, то вырвала бы у них дочку. Ах, если б знала... Так и запишите, товарищ корреспондент: эти чудовища довели Галочку до тюрьмы!

Примерно с такой же речью выступала Нина Павловна и на суде, особенно не утруждая себя в выборе выражений. «Муж и его мамаша толкнули Галю на воровство». «Злыдни должны сидеть сейчас рядом с ней на одной скамье!»

Да, подобная ситуация не столь часто встречается в судебной практике: муж заявил на свою жену в милицию. Весьма щепетильная ситуация.

Ох уж людская мова! Как она вывернула этот факт наизнанку, в каком жутковатом свете его преподнесла! И каждый его попытался истолковать по-своему, утрируя, сгущая до предела краски.

В музыкальное училище, где работал Владимир, в поликлинику, где вот уже двадцать лет трудилась Евгения Алексеевна, стали поступать «разоблачительные» письма, чаще всего анонимные. По телефону раздавались угрожающие звонки. Во дворе на Шараповых показывали пальцем... В детском саду, куда устроили Настю после того, как арестовали ее мать, только об этом и говорили— с осуждением, с удивлением и сожалением... И вот что примечательно— Заиньку жалели, а мужа «иуду» осуждали.

— А ведь я в милицию обратился для того, чтобы помочь Гале, пока она окончательно не увязла в этой «трясине»,— говорил мне Шарапов.— Сам я уже ничего не мог поделать.

— А нас же люди и обвинили,— добавила Евгения Алексеевна.— Я предупреждала Володю, что ему не стоит связываться в эту историю, а он не послушал-

ся. А ведь милиция рано или поздно и без нас во всем бы разобралась.

— Мам, а что бы с Настей было?..

Из обвинительного заключения:

«На протяжении 1983 года работниками винного отдела магазина № 5 Беляевой, Заиченковой и Швецовой были совершены хищения денег и продуктов питания на сумму в 45 541 рубль.

...В частности, Заиченковой Г. А., 1959 года рождения, замужней, имеющей малолетнего ребенка, похищено из вырученных средств и продуктов на сумму в 13 850 рублей. На предварительном следствии она своей вины не признала и показала, что хищений не делала.

...Органы предварительного следствия квалифицируют действия обвиняемых по статье 93 п. I, ибо хищения государственного имущества были совершены в особо крупных размерах».

...На суде Беляева и Швецова признали свою вину, покаялись. Но только не Заиченкова.

Всех поразило, не только судей, но и людей, сидящих в зале, как вызывающе она держалась во время процесса.

— Я ни в чем не виновата! Меня заставили, принудили... Наконец, мне угрожали!

Подсудимой были предъявлены доказательства — две сберкнижки на ее имя со вкладами на 7 тысяч рублей, два кожаных пальто, золотые украшения на сумму 3,5 тысячи рублей.

— Я ничего не знаю! Меня обвели вокруг пальца!

Даже ее адвокат, глядя на подзащитную, покачал головой: дескать, что она делает, как себя ведет!

Для дачи показаний вызывали на суд арестованных к тому времени бывших инспекторов ОБХСС и старшего ревизора, того самого Бориса Ивановича.

— Вот с этим лысым, то есть с гражданином Н., меня заставляли сожительствовать! — выпалила Галля, показывая на Бориса Ивановича.

Даже тот не сдержался и дрожащими губами, глотая сентиментальные слезы, пробормотал:

— Как же так, Галочка? Кто тебя принуждал? Ты же говорила, что любишь, что после развода выйдешь за меня...

Тут с места поднялся Шарапов и вышел из зала. Даже судья его не остановил, сознавая, каково это слушать мужу, присутствующему на процессе.

Суд приговорил Беляеву к 13 годам лишения свободы, Швецову — к 12 и Заиченкову к десяти годам с конфискацией имущества.

И вышестоящие органы, куда обратились осужденные, оставили этот приговор в силе.

Прошло уже больше семи месяцев, как Настенька живет у отца и бабушки.

— А что ты отвечаешь, когда дочь спрашивает о маме? — поинтересовался я у Володи.

— Говорю, что мама заболела. А когда выздоровеет, то вернется к нам.

— Значит, ты простил Заиньку?

Он промолчал. Я понял, что ему трудно говорить, и не стал больше задавать вопросов. Да и зачем?

...— Что вы так на меня смотрите? — спросила, закончив свой рассказ, Заинька. — Жалко, да? А может, презираете? Только мне все равно, кто обо мне что думает.

— Даже родная дочь?

— А вот об этом не надо! Что вы все в душу лезете? Поучаете, осуждаете? А сами-то вы знаете, как надо жить?

На этот раз я почувствовал в ее тоне не только раздражение, но и боль, неуверенность. Человек, который принес столько боли другим, сам ее ужасно боится. Это отличает многих преступников, и Галля здесь не исключение.

История Заиньки — это не только криминальная ситуация, уложившаяся в два пухлых тома судебного дела: присваивала, обманывала, воровала и доворовалась... Криминал — частный случай. Хочется поразмышлять о другом — о некоем типе молодой женщины, появившемся, видимо, не сегодня, но и не так уж давно. Лично для меня его как бы олицетворяет вполне конкретный человек — Заинька. Конкретный человек, хотя с немало распространенным образом мышления. Сколько их, таких «заинек» прыгает по жизни в поисках скорого благополучия. И только для себя. И без особых усилий, с минимальным физическими, умственными и душевными затратами. Надо выйти для этого замуж? Нет проблем. Можно фиктивно, чтобы заполнить прописку в столичном городе, можно и всерьез, но с дальним прицелом. Закрутить роман, чтобы занять «теплое местечко»? Какой вопрос! Хотя с дедушкой по возрасту, лишь бы толк был, лишь бы не упустить Свой Случай. Пройтись острым каблучком по чьей-то жизни? Обмануть чью-то любовь, чьи-то надежды? Запросить! Оправдания всегда найдутся: живем один раз, надо торопиться. Куда, зачем? Что бы там ни говорили, а цель-то у них одна: схватить кусок пожирнее, чтобы надолго хватило. «Куском» может быть солидный супруг и непьющая работенка, нужный человечек или любовник «с положением». Для «заинек» все имеет свою цену, сорт, категорию и себестоимость. Даже человеческие отношения.

Меня могут упрекнуть, что я спущаю краски. Возможно. Но ведь я говорю о тех молодых людях, у которых возник «перекосяк» в сознании не только правовых, но и моральных норм нашей жизни. Приходит время, и они начинают оправдываться: дескать, мы не знали, не понимали, что можно, а что нельзя... Нет, дорогие, все-то вы знали да понимали — и что спекулировать нельзя, и обещивать, и вымогать чаевые... Кстати, незнание закона ведь тоже никого не освобождает от ответственности. Рано или поздно все равно придется отвечать, если не перед собственной совестью, которой может и не быть, то по крайней мере перед судом. Судьба Заиньки — тому наглядный пример.

Мне жалко их, молодых и красивых, оказавшихся за стеной колонии. За незаслуженные блага они получили по заслугам. Но еще больше я жалею хороших людей, которых они сломали и опустошили, близких, родных... И особенно детей! Они-то за что должны страдать? У Галины супруг оказался человеком. За их дочь можно быть спокойным. А сколько детей таких вот «заинек» оказывается в детских домах, интернатах, домах ребенка? Все потому, что мама захотела «красивой жизни».

Раньше говорили: мол, в таком-то или в такой-то нет ничего святого. Это считалось нравственным уродством. Бессердечие — всегда уродство. А разве сейчас мы думаем иначе? Или кое-кто вообще не задается таким вопросом? У Заиньки будет достаточно времени об этом задуматься. Хотя — кто его знает...

АЛЕКСЕЙ
ПЬЯНОВ

ДИАЛОГИ СО СКУЛЬПТОРОМ



Я часто бываю в этой мастерской на одной из тихих московских улиц. Впервые пришел сюда лет пятнадцать назад. К ее хозяину — скульптору Олегу Константиновичу Комову привела меня тогда казенная надобность: он работал над памятником Пушкину, который с нетерпением ждали калининцы. Меня командировали в столицу, чтобы встретиться с автором, поглядеть, как идут дела, узнать, успеет ли он завершить работу в назначенный срок — к 175-летию со дня рождения поэта.

Вот тогда и начались наши диалоги с Олегом Константиновичем. Впрочем, если быть предельно точным, надо сказать, что первая встреча и первая беседа с ним состоялась чуть раньше. Было это теплым благодатным летом на Академической даче Союза художников РСФСР, что уютно расположилась на берегу озера Мстино, неподалеку от Вышнего Волочка. «Академичка», как называют ее художники по давней привычке, отмечала свой юбилей. Отмечала торжественно, весело, вспоминая великого Репина, с именем которого связана изначальная судьба этого знаменитого приюта российских живописцев. Со всех концов страны съехались сюда те, кому в разные годы довелось поработать здесь. Звучали торжественные речи. В Доме культуры местного совхоза открылась картинная галерея — дар старожилов и новобранцев «Академички». Но самым главным событием юбилея стала закладка памятника Репину. Вот тогда я и увидел впервые Олега Комова. Он положил первый камень в основание будущего монумента, ибо именно ему была доверена работа над памятником.

Потом я спросил у Комова, каким будет мемориал. — А вы приезжайте в Москву, заходите ко мне в мастерскую, — пригласил он. — Там и поговорим. И не только о Репине. Собираюсь посмотреть ваши пушкинские места — много слышал о них интересно. Знаю, что тверяки хотят соорудить памятник Александру Сергеевичу... Словом, приезжайте.

Но приехать не удалось. Ни в Москву, ни на «Академичку», когда там открывался памятник Репину. Работа эта была удостоена Государственной премии РСФСР. Потом я видел ее. Она стала здесь такой же привычной и естественной, как озеро и лес на его берегах, как пятигранник — одно из давних, знакомых сооружений дома творчества...

Такова предыстория диалогов в мастерской с одним из самых интересных, на мой взгляд, наших скульпторов, членом-корреспондентом Академии художеств СССР, народным художником республики, лауреатом Государственных премий Олегом Константиновичем Комовым.

Много воды утекло с тех пор. Много, на удивление много успел он сделать за эти годы. Напомню читателям «Юности» лишь самые значительные его работы.

Поездка по пушкинским местам Верхневолжья, о которой говорил он мне на «Академичке», оказалась отнюдь не туристской прогулкой: год спустя О. Комов создал памятник поэту в городе Калинин — одно из самых ярких и значительных произведений в его Пушкиниане.

«Тверские досуги» скульптора привели его к созданию памятника Салтыкову-Щедрину.



Интересна история этого портрета Индиры Ганди, сделанного Олегом Комовым. Однажды летом, лет тридцать тому назад, студент Комов рисовал в Ленинграде Медного всадника. А город в тот день осматривал прибывший в нашу страну Джавахарлал Неру. Олег был польщен и растерян, когда Неру остановился рядом, заинтересовавшись его работой. И вдруг его плеча осторожно коснулась чья-то рука. Он ощутил тонкий аромат неведомых ему духов, увидел необычайно красивые женские пальцы, поднял голову — рядом с ним стояла молодая женщина в сари. Какой иконописный нос, — профессионально отметил он. А ее взгляд — проникновенный, добрый — буквально завораживал. Она похвалила его ученическую работу, и когда отошла, переводчик сказал, что это Индира Ганди, дочь Неру. С тех пор Олег Комов видел Индиру Ганди лишь на телеэкране. И после ее гибели сделал уже этот графический портрет. А недавно в Бомбее он показывал Радживу Ганди макет своего памятника Индире и этот рисунок. Раджив Ганди сказал, что в том облике его матери, который запечатлел Комов уже в рисунке, вся ее суть. И оставил на портрете свою роспись...

Любовь к Верхневолжью, к заповедным его местам, к людям, восславившим эту землю, откликнулась и в памятнике Венецианову, который стоит в Вышнем Волочке. Работа эта отмечена Государственной премией СССР.

Галерею славных сынов России (а именно эта тема — главная в творчестве О. Комова) продолжили памятники Суворову и Андрею Рублеву в Москве, Пушкину в Мадриде, Болдине, Пскове, Лермонтову в Тарханах...

Много за эти годы накопилось записей в моих блокнотах, сделанных в мастерской на одной из тихих московских улиц. Двери этого гостеприимного дома всегда широко открыты. Ее хозяин не из тех затворников, что предпочитают покой и уединение. Он охотно показывает свою лабораторию, делится замыслами, сомнениями... Много раз видел я его записную книжку, в которой рядом со строчками, зафиксировавшими впечатления от поездки или встречи, — наброски будущей работы. У меня сохранились листы, на которых он, присев за стол в «Юности», показывал своим товарищам по редакционной коллегии журнала замыслы новых работ.

Тут и псковский Пушкин с няней Ариной Родионовной, и лермонтовские Тарханы, и Венецианов, и памятник-надгробие Борису Полевому. Чаще всего это самые первые предположения будущих работ, фиксация мысли, ощущение, ставшее линией, штрихом. Потом все это обретает плоть в глине, бронзе, мраморе... Или остается на листе бумаги, если замысел отвергается.

Диалоги наши часто происходили и за стенами мастерской — в дальних и ближних поездках, в дороге, в районных гостиницах, на выставках...

На этот раз опять была мастерская. Она показалась мне маленькой и тесной — так много было здесь работ. И пока хозяин ставил самовар, я осматривал эту своеобразную экспозицию.

Памятник-надгробие Зое Космодемьянской. Поразила его трагическая пластика. В нем неистребимая воля, мужество юной героини.

Чайковский... Глядя на модель памятника, который скоро будет сооружен на родине великого композитора, думаешь об удивительном этом человеке, его музыке, ставшей частью нашей души.

Портреты сыновей... Выразительные, осененные любовью, которая дарила резцом скульптора.

Девушка в испанском платке...

Бронза, мрамор, гипс...

На столе хорошо знакомый портрет Индиры Ганди.

Я не стал спрашивать, почему этот портрет здесь, в мастерской, ибо знал, что Олег Константинович недавно вернулся из Индии: правительство страны решило поставить памятник Индире Ганди, сооружение его поручено Комову.

Я продолжил давно начатый разговор.

— Вы часто говорите о верности традициям. Но не ограничивает ли следование им поиск художника, возможности самовыражения?

— Нисколько! Надо только верно понимать, что значит следовать лучшим, я подчеркиваю, лучшим традициям. Ибо есть и такие традиции, от которых мы решительно должны отказаться. Среди них поверхностное отображение жизни, ходульная романтизация ее, парадность, мелкотемье... Вы смотрите «Очевидное — невероятное»?

— Смотрю с большим интересом.

— Так вот, в одной передаче ее ведущий Капица говорил о том, что иные любят у нас заниматься открыательством. Не важно чего, не важно как, какими средствами, — лишь бы открыть, изобрести. А надо ли это? Тут совсем нелишне знать свои традиции, смотреть на них пристальнее, глубже, знать их историю. Тогда деревянных велосипедов будет меньше. В том числе и в искусстве.

— Мне кажется, Олег Константинович, что молодых этот упрек касается в меньшей степени.

— Не будем идеализировать молодых. Да, они решительны, любознательны, порой дерзки в своих поисках. Сегодня их творчество остро улавливает пульс времени. Я имею в виду людей талантливых. У них можно многому поучиться и мастерам. Ничего зазорного в этом нет. Это заставляет и нас, старших, все время быть в состоянии творческой активности, ибо они нас как бы подпирают. Я не сторонник менторского отношения к молодым. Но что греха таить, есть у нас и панибратство и заигрывание с молодыми. И то и другое неприемлемо. Тут надо держаться на равных, чувствуя свою ответственность за их судьбу. Вовремя подсказать, посоветовать.

— Но каждый ли совет во благо?

— Конечно, нет. Все зависит от того, кто и зачем его дает. Участие мастера в судьбе ученика — это, простите за повторение, тоже традиция. Участие в судьбе, в становлении гражданском и профессио-

нальном. Это последнее я хотел бы подчеркнуть. И вот почему. Во многие отрасли человеческой деятельности стал проникать и утверждаться непрофессионализм. Взял несколько аккордов на гитаре — музыкант. Напечатал стихи в стенгазете — поэт. Насобираал в лесу сучков, постругал их слегка — скульптор. Это напоминает мне знахарство, претендующее на роль медицины. Я с большим уважением отношусь к самодельности. Но у нее другой статус, другое предназначение. Она делает жизнь человека духовно богаче, общественнее, что ли, не отрывая его от основного дела, от профессии. И у нас, как нигде, доброе, заинтересованное отношение к самодельности и государства, и творческих союзов, и комсомола. Но не надо путать ее с профессиональным искусством. Увы, в изобразительном искусстве это есть. Печально, но и наши художественные критики, да и иные мастера слишком безапелляционно и — что гораздо хуже — невежественно судят о живописи, скульптуре, графике. С позиций любительства и собственных амбиций. Это наносит ощутимый ущерб и художнику, и зрителю, и искусству в целом. Сегодня, как никогда, важны компетентность, высокий профессионализм и личная ответственность за дело и за слово.

— Олег Константинович, наш диалог порой превращается в монолог, но я не против такого нарушения законов жанра. Однако же мы беседуем с вами в мастерской, и мне хотелось бы спросить вас о некоторых работах. Пусть и они примут участие в этом разговоре. Вот я вижу скульптурный портрет Савелия Ямщикова. Работа представляется мне интересной: в ней суть этого человека, его характер.

— Рад, если задуманное удалось выразить. Ямщиков — фигура в нашем искусстве неординарная.

— Читатели «Юности» знакомы с ним: он выступал на страницах журнала с интересными публикациями, посвященными спасению, реставрации, сбору и пропаганде нашего художественного наследия. Запомнился его очерк о Ефиме Честнякове...

— Я бы назвал его работу, не боясь гримас слов, духовным подвижничеством. Вот пример отношения к традициям, пример верности, преданности делу, высочайшего профессионализма. В сущности, он идеологический работник, воспитатель, ибо искусство — один из главных наставников нашей души, нашего национального чувства, нашего патриотизма.

Мы должны воспитывать любовь к Родине всеми средствами, в том числе и искусством. Это сложный процесс. К сожалению, в нем есть еще и издержки. Тут нам надо активнее использовать опыт таких людей, как Савелий Ямщиков, его товарищи, ученики, последователи. Вот, скажем, существует устный альманах Центрального Дома художника. Каждый его выпуск собирает сотни людей, становится событием. Здесь всегда какое-то открытие, новое имя, находка. Всегда серьезный разговор — увлекательный, высокопрофессиональный — об искусстве, его связи с современностью. Почему бы не использовать этот ценный опыт в других городах и республиках? Ведь там есть мастера, увлеченные, одержимые люди. А мы порой ограничиваемся набившими оскомину скучными, назидательными лекциями. Настоящее просветительство требует подвижничества.

— Мы с вами в разное время много говорили о скульптуре, в том числе и о монументальной. Как чувствуют, как проявляют себя в этом жанре молодые художники? Что-то не часто появляются их имена на памятниках, мемориальных комплексах. Или я ошибаюсь?

— Давайте разберемся в вашем вопросе, хотя, конечно, однозначного ответа на него не будет. Дело в том, что монументальная скульптура — самый труд-

ный и сложный вид пластики. Памятник — и произведение искусства и часть среды нашего обитания. Его не переделаешь, не улучшишь. Он каждодневно на всеобщем обозрении. Это налагает на автора особую ответственность, требует не только большого мастерства, но и зрелищности. Режиссура монумента должна быть предельно четкой. Извините за эти прописи, но их приходится повторять, ибо порой у молодых проявляется облегченное отношение к монументальной пластике. А тут невозможна, пагубна приблизительность, тут надо четко выразить идею, а не только образ. Недоработал жест — вроде бы мелочь, но в итоге не работает вся скульптура. Погряз в деталях — тот же результат.

Словом, монументальная скульптура под силу зрелому — и граждански и профессионально — художнику. У нас прекрасные работы появились в последние годы. Многие из них — и это закономерно — посвящены подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Более активно проявляют себя в этом жанре и молодые. Так что причин для пессимизма нет. Давайте только помнить, что достижения искусства, уровень его развития определяются не валою. Здесь мы имеем дело со штучной работой.

А молодые художники вообще сейчас стали активнее. Им легче жить и работать, чем, скажем, представителям моего поколения. Им больше доверия, у них больше возможностей. Важно только использовать эти возможности не для личного, а для общего блага.

— На XXVII съезде партии много говорилось о долге художника — гражданском, профессиональном, о повышении роли литературы и искусства в жизни народа, в решении задач государственной важности. Партия вооружила творческую интеллигенцию ориентирами на длительную перспективу. Мне запомнились слова из Резолюции по Политическому докладу ЦК КПСС. Хочу их привести, ибо они имеют самое прямое отношение к теме нашего разговора.

«Партия поддерживает и будет поддерживать все талантливое в литературе и искусстве, проникнутое духом партийности и народности. Нормой работы партийных организаций с художественной интеллигенцией является идейная принципиальность и ответственность, уважение к таланту, такт».

— Знаете, в сегодняшней атмосфере хорошо думается и живется. Так будем работать, храня верность своим юношеским заповедям. В 1965 году я сделал в современных обобщенных формах двухфигурную композицию — Андрей Рублев. Теперь эта вещь хранится в Русском музее и была на моей прошлогодней персональной выставке в Академии художеств. Много из того, что двадцать лет назад не находило признания — а так было и с моей работой, — сейчас стало нормой. А в прошлом году перед музеем Андрея Рублева был открыт мой памятник великому художнику...

Диалог наш с Олегом Константиновичем Комовым продолжился в редакции «Юности».

Потом уехал он в Воткинск. Вернулся счастливый: памятник Чайковскому понравился землякам композитора.

Договорились встретиться, чтобы закончить беседу, начатую в мастерской. Встречу пришлось отложить: Комов снова улетел в Индию — с проектом памятника Индиры Ганди. Тогда я так и не успел подробно расспросить его об этой работе. Узнал только, что монумент славной дочери индийского народа будет сооружен на ее родине, в Бомбее. Величественная статуя поднимется над водой залива...



АЛЕКСАНДР
ТАТАРСКИЙ

ДЕЛАТЬ МУЛЬТФИЛЬМ

Александр Татарский — режиссер и художник студии «Мульттелефильм». Его работы удостоены золотых наград на международных кинофестивалях в Загребе, Габрово, Лондоне и на всесоюзных кинофестивалях.

Делать
«ЮНОСТИ»

ВМЕСТО ОПРАВДАНИЯ

П

о, о чем я буду говорить, ни в коем случае не претендует на объективность, а, напротив, во всех случаях претендует на субъективность. Но я всего-навсего сижу на своей ко-

локольне. Сижу и сужу...

Может быть, в действительности все выглядит не так, тем более, как сказано у одного известного юмориста: «В действительности все выглядит не так, как на самом деле».

Перехожу к делу. Почти перехожу...

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В конце шестидесятых годов, когда нам, старшим школьникам, уже разрешали носить длинные волосы, как у «Битлз» (но только после уроков, в школе — короткие), а погода еще не сошла с ума и зимой была зима, весной — весна, а в октябре — почти жаркое бабье лето, на прогретом и усыпанном каштанами киевском асфальте появлялись большие зимние полусапоги.

Выше полусапог находилось добротное, неоднократно лицованное вельветовое пальто, а еще выше — старая зимняя шапка, облезшая настолько, что походила на летнюю. Тепло одетый гражданин оставивал удивленного прохожего и на стерильном

На снимке: Игорь (в очках) и я (без очков).
Позируем — для истории — перед отъездом в Москву.

украинском языке (который встречается еще только в школьной учебнике) сообщал, что убил человека...

Пока прохожий впадал в состояние оцепенения, утешенный дяденька произносил успокоительный текст — убил не сейчас, а семь лет назад случайно сбил машину пьяного и теперь, выйдя из колонии, не может добраться домой из-за нехватки двадцати копеек. Переваривая эту сложную информацию, прохожий отсчитывал двадцать копеек и с облегчением шел дальше...

Потомок детей лейтенанта Шмидта был неплохим психологом — я по крайней мере умудрился оказать ему материальную помощь дважды. Впрочем, сорок копеек — не такая уж высокая плата за урок практической режиссуры: зрителя желательно удивить, заинтересовать в самом же начале, тогда его вниманием можно будет располагать и в дальнейшем. Этот прием я старался использовать во всех фильмах.

НЕ ЗАНИМАЙТЕ ОЧЕРЕДЬ

Недавно, будучи в Киеве, я позвонил своему другу Михаилу Титову. Он сейчас приступает к постановке своего нового мультфильма. Порядковым номером Мишиного мультфильма будет примерно цифра 2. А ведь ему скоро сорок...

Миша сказал, что обстановка на студии изменилась к лучшему. «Нам, молодым, стали больше доверять», — сказал он. В телефон. Жаль, что в этот момент мы друг друга не видели.

Я ему ответил: «Миша, давай посмотрим на себя в зеркало...» И мы пошли смотреться в свои зеркала...

Наше поколение, наша «команда», как мы себя называли, пришла в «Киевнаучфильм» в действительно молодом возрасте. Алик Викен, Миша Титов, Наташа Марченкова поступили на курсы художников-мультипликаторов в 1967 году. (На таких специализированных курсах мультипликационные студии готовят для себя художников — актеров — мультипликаторов.) А мы с моим будущим постоянным соавтором Игорем Ковалевым пришли на студию несколько позже.

Признаюсь, что до 17 лет я мечтал только о цирке. Так случилось, что мне посчастливилось вырасти в окружении клоунов: мой отец писал для них скетчи, репризы и клоунады. Я днями пропадал на цирковых репетициях, вникал в «кухню» цирка. Управлял конюхов разрешить мне прогулять лошадь и наблюдал из укрытия, как Юрий Никулин в гримерной «лепит» себе нос (я мог бы написать историю этого носа — чем более замечательным коверным становился Никулин, тем меньший нос он себе приклеивал и в конце концов совсем от него отказался).

И работать по окончании школы я пошел, естественно, в цирк — униформистом. Поначалу все делал не так и не вовремя. Уставал страшно, особенно по воскресеньям, когда в цирке три представления. На третьем — уже не хватало силенок выбежать на манеж с пудовой тумбой, которую я подставлял под сажающегося слона. Зато однажды умудрился в разгар представления ошибочно свернуть и уволочь с манежа трехпудовый ковер. Но на приемных экзаменах в ГИТИС этот «подвиг Геракла» не был зачтен юному униформисту — циркового режиссера в нем не рассмотрели. И тут на горизонте уязвленного сворачивателя ковров появилась мультипликация...

Мне посчастливилось вдруг увидеть (отец взял с собой в старый киевский Дом кино) несколько ошеломительных мультфильмов: «Историю одного преступления» Хитрука, французский фильм «Вилла — мечта», избранные короткометражки Диснея...

На следующий день я уже помчался на киностудию и завел знакомство с замечательным молодым

человеком, который... ходил на четвереньках. Ходил да еще и мотал головой (он говорил: «мотылял»). Звали его Жан, и он занимался на курсах художников-мультипликаторов. А на четвереньках ходил потому, что делал учебную сцену «походка медведя» и ему надо было опустить, в какой последовательности переставляет лапы медведь (и переставляет ли?).

Не отказываясь на студии ни от какой работы, я дождался нового набора на эти курсы и обзавелся хорошими друзьями — нас, нашу команду, объединит искренняя любовь к мультипликации и чисто киевский темперамент.

Да, мы не ходили чинно по студийному коридору (ни туда, ни обратно) и имели сомнительную привычку громко смеяться (в любом конце коридора). Окончательно свои биографии мы испортили, когда организовали самостоятельный музыкальный ансамбль и играли подозрительно громко.

А после сдачи очередного фильма мы собирались и устраивали его подробнейший, до единого кадрика, разбор (сегодня думаю, что для всех нас эти «худсоветы» стали самой лучшей школой). Постепенно, не прекращая работы, все окончили высшие учебные заведения, что в сочетании с постоянными авралами на производстве оказалось нелегко. Но для тех, от кого зависела наша дальнейшая судьба, мы все еще оставались в коротких штанишках. На «настоящих» худсоветах нашего мнения не спрашивали, во «взрослые» не зачисляли.

Хотя понятие «взрослые» трактовать можно различно. Когда несколько лет спустя я приехал в Киев на банкет, посвященный 25-летию мультстудии, к мне подсел бывший ее Главный Редактор. Я был уже молодой московский режиссер и на родную студию приехал в непривычном для себя качестве гостя. А бывший Главный Редактор, к счастью, уже в мультипликации не работал. Он сказал: «Вот ты хотел быть режиссером, а сам «подставлялся».

— Как это, подставлялся?

— Ну как — в джинсах, например, ходил! Как же тебе могли доверить режиссуру?

К чести Главного Редактора, он был натурой цельной и разбирался в джинсах так же, как в мультипликации. На самом же деле я ходил преимущественно в малоопасных вельветовых брюках. Но голова моя была занята мультипликацией, а его голова — моими брюками. Кто же из нас был «взрослым»?

А тогда все мы бредили режиссурой, всем очень хотелось попробовать свои силы. Уровень ряда выходящих в те годы фильмов казался нам кощунственным. (Сегодня мне кажется, что свои оценки мы несколько завышали.) И нам очень хотелось верить, что мы сможем работать на много профессиональнее.

В те годы всеобщее внимание было привлечено к работе с творческой молодежью. У меня сохранилась папка газетных вырезок и документов, включая приказ Госкино УССР, конкретно называвший наши фамилии в качестве предполагаемых дебютантов. Многие ведущие режиссеры и художники верили в нас, обращались к руководству с предложением сопостановки, где бы мастер провел дебютанта по всем творческим и техническим перипетиям фильма. Предлагался и сборник микрофильмов, где могли бы одновременно дебютировать четверть человека. Сборник даже ставился в план, но из плана 1975 года постепенно переползал в план 1976 г. и 1977 г. и т. д.

Окрыленные надеждой, мы искали или писали сценарии, делали эскизы. Увы, в итоге все пришлось сложить в ту папку. Художественная Руководительница и Главный Редактор в нас не верили и неве-



Кадры из фильма «Обратная сторона Луны». На фестивале в Лондоне он был назван лучшим мультфильмом 1984 года.



рие свое упорно доводили до сведения руководства «Киевнаучфильма».

Очередь в режиссеры нас пока просили не занимать...

Для того чтобы доказать свою состоятельность в качестве режиссера, нам необходимо было снять хоть один, пусть небольшой, но фильм. Для того чтобы снять хоть один, пусть небольшой фильм, нам необходимо было быть режиссерами...

Крут замыкался. Впрочем... Может быть, делать фильм любительским путем?

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Иногда полезно отступить на несколько шагов и осмотреться. Скажем, сойти с тротуара на мостовую (только очень осторожно!), чтобы лучше увидеть фасад. Эксперимент этот не нов. У горячо любимого мной Ярослава Гашека есть такой персонаж: «Полковник Фридрих Краус фон Циллергут (Циллергут — название деревушки в Зальцбурге, которую предки полковника пропили еще в XVIII столетии) был удивительный болван... Он страдал манией все объяснять и делал это с воодушевлением, с каким изобретатель рассказывает о своем изобретении... Офицеры, завидев его издали, сворачивали в сторону, чтобы не выслушивать от него такой истины, что улица состоит из мостовой и тротуара и что тротуар представляет собой приподнятую над мостовой панель вдоль фасада дома. А фасад дома — это та часть, которая видна с мостовой или тротуара. Заднюю же часть дома с тротуара видеть нельзя, в чем легко убедиться, сойдя на мостовую. Однажды он был готов продемонстрировать этот увлекательный опыт, но, к счастью, попал под колеса. С той поры он еще больше поглупел...»

Предлагая остановиться и осмотреться, я не желаю иметь с Циллергутом ничего общего. Но дело в том, что говорить придется совершенно, на мой взгляд, очевидные вещи, а это уже чревато сходством с глупым полковником. Говорить же их придется потому, что, судя по целому ряду мультфильмов, не все очевидное (как это ни невероятно) еще очевидно.

Группа молодых людей упорно хотела заниматься мультипликацией. А серьезное ли это дело, мультипликация, и подлинное ли это искусство? Такое еще нередко можно услышать. Пищу для подобного мнения дают многочисленные примитивно-назидательные, лишенные художественной формы и остроты мысли фильмы.

Один автор (не помню, к сожалению, фамилию) опубликовал несколько лет назад на 16-й полосе «Литературной газеты» пародии на расхожие сценарии примитивных мультфильмов. Я думаю, что в финансовом отношении он очень продешевил. Эти же сценарии (убрав слово «пародия») можно было вполне продать на иную из киностудий.

Но, например, Чаплин считал, что именно в мультипликации художник абсолютно свободен в своей фантазии.

Мультипликационное кино — практически первое искусство, с которым сталкивается ребенок. Он еще не умеет читать, его внимания еще недостаточно для просмотра полнометражного игрового детского фильма, спектакля, вообще для получения «длинной» информации. Но именно в этом возрасте закладываются основы будущего интеллекта, художественного вкуса, умения получать и анализировать информацию и многое, многое другое. Формируется личность.

Однако ребенок, выросший среди волчат, становится в какой-то мере волчком, а выросший среди безвкусных мультфильмов — в какой-то мере безвкусным.

В одном доме я наблюдал, как десятилетний мальчик смотрел беспомощный и при этом бесконечно нудный мультфильм полукустарного производства областной телестудии.

— Нравится тебе? — спросил я мальчика и пригласился к дружной критике фильма.

Но мальчик ответил:

— Да, нравится!

— Чем же? — изумился я.

— А мне любые мультики нравятся!

Эта содержательная беседа происходила давно. Мальчик вырос, но, насколько мне известно, думать пока не научился.

И, вспоминая этот вроде бы микроскопический случай, я, не боясь показаться Циллергутом, готов сойти на мостовую и выкрикивать простейшие истины:

«Товарищи, ответственные за производство и показ подобных фильмов!!!»

Поймите, что, если кормить ребенка продуктами, которые не надо жевать и которые излишне легко усваиваются, его желудок атрофируется! А если скармливать ему примитивные, не требующие никаких умственных усилий мультфильмы поделки, в которых торжествует незнание подлинных интеллектуальных и эмоциональных возможностей маленького человека, торжествует отсутствие яркой, само-

бытной художественной формы, то может атрофироваться другой, тоже очень важный орган—голова».

НАЛИЧИЕ ОТСУТСТВИЯ

Однажды в Киеве среди бела дня с базы металлолома пропал скелет старого рентгеновского аппарата. Он был никому не нужен, но крайне необходимым с Игорем Ковалевым (мы уже сделали открытие, что хорошо дополняем друг друга по принципу взаимодействия двух шестеренок). Потом дворники недосчитались на свалках других железных деталей. И все эти железки мистическим образом оказывались у нас. На разработку и изготовление мультстанка ушло более двух лет.

Когда я был маленький, мама подарила мне маленький слесарный набор. Другие мамы обычно прячут от своих детей колющие и режущие предметы, но их дети все равно колются и режутся чем попало, а я делал это с пользой. И умение мастерить теперь очень пригодилось.

Станок вышел на славу — большой и вполне железный. Сверху, на консоли, висела списанная сундукообразная, но тщательно отремонтированная кинокамера типа «Родина», которая была старше любого из нас. В показовом режиме она — непревзойденная «салатница» («салат» у операторов означает брак, при котором пленка запутывается внутри камеры). А в нашем «меню» «салата» не было.

Поскольку «фирма» состояла лишь из нас двоих, то приходилось быть и сценаристами, и режиссерами, и операторами, и монтажерами, и звукотехниками, и администраторами, и уборщиками. Я написал «приходилось», но это не так. Нам просто привалило счастье овладеть этими замечательными профессиями. В те прекрасные годы мы забывали, что есть свободные вечера и выходные дни.

Максимализм наш граничил с авантюризмом. Реально было снять двух-трехминутный мультфильм (над созданием такого «малютки» на студии трудятся человек 10—15). Мы же затеяли сериал на 40 минут. Причем каждый фильм должен был сниматься в разной технологии.

Главный Редактор, узнав о нашей работе, снисходительно, «по-взрослому» улыбался. Художественная Руководительница приняла нашу затею всерьез — главным образом ее волновало, чтобы мы не стащили на студии ничего из техники, а если украдем (в чем сомнений у нее не было) — чтобы это не получило огласки.

Но были и люди, относившиеся к нам иначе. Очень помогли режиссеры Д. Черкасский и Е. Сивоконь, операторы Ю. Лемешев и А. Мухин, звукооператор В. Щиголь. Часть мультипликата (рисованной актерской игры) нам сделал Миша Титов. Потом один всемирно известный режиссер назовет именно его фрагмент «ювелирной работой». Но это потом. А тогда...

Тогда главной нашей заботой было достать пленку и получить официальное право на ее обработку. Деяносто процентов энергии уходило на это, пять — на творчество и еще пять — на трение между первым и вторым пунктами. По очереди нас брали «под крыло» различные киноклубы, имеющие доступ к пленке и ее обработке. Но узнав, что мы собираемся снимать не менее трех лет, а до той поры «птенец будет сидеть в яйце», поступали с этим «яйцом» как заправские кукушки... То и дело перетаскивая станок, мы горько сожалели, что железо тяжелее пенопласта.

Постепенно стали проклеиваться куски фильма. Кстати, его персонажами были птички. И, кстати, он так и назывался «Кстати, о птичках».

После очередного переезда мы оказались в одной

из комнат Центрального Дворца пионеров. Но, чтобы пользоваться этой замечательной комнатой, надо было заниматься с детьми. Сначала в мультстудию записывались только девочки, и каждую звали Лена. Получился такой «Малый Ленфильм». Потом появились мальчики. Звали их, как правило, иначе.

Мы придумывали всевозможные игровые уроки и потом сами играли вместе с ребятами. И еще неизвестно, кто кого учил. А результатом этого совместного обучения стал трехминутный фильм «О картинах», на песенку, которую подарил нам молодой композитор Григорий Гладков. Это был период везения. Именно из этого знакомства и из этого маленького мультфильма «О картинах» родилась потом «Пластилиновая ворона».

Мы умудрились снять и два из четырех фильмов «О птичках». И тут на Высших курсах Госкино СССР открылся факультет режиссеров и художников мультикино. Попаста туда стало самой страстной нашей мечтой. Шутка ли, стать учениками Ф. С. Хитрука и Ю. Б. Норштейна? Не шутка!

Чтобы поехать на экзамены, необходимо было направление студии. Но именно в этом нам категорически отказали. Чего только не вытворялось вокруг нашего желания учиться! Сначала нас пытались уверить, что для Украины не выделены места, потом просто уговаривали, потом... А на курсах ознакомились с нашими работами — готовых фильмов в момент поступления ни у кого, кроме нас, не было. Нас явно хотели принять на курсы, и в Киев шел запрос — просьба выдать направление. С нашей студии отвечали: направление не дадим — у них нет способностей. Курсы доказывали — способности есть. Студия стояла насмерть — нет!

Содержательная переписка длилась год. В результате Игорю направление выдали (правда, после окончания сроков экзаменов, в надежде, что его все равно уже до них не допустят). Но допустили. И взяли. Мне, как старшему, и следовательно, зачинщику, не дали ничего. Но зато пришло приглашение со студии «Мультелефильм» телеобъединения «Экран» поработать у них — сперва художником, а потом общади и режиссуру. Я тут же сел на первый поезд (вагон № 2, место № 17) и никогда об этом не жалел.

НЕЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

После первого просмотра «Пластилиновой вороны» ко мне подошел один известный ученый и похвалил нашу съемочную группу за то, что следим за достижениями психологии (мы, к сожалению, не следили, а если и следили им, то интуитивно). Он рассказал, что сейчас их институт разрабатывает систему тестов для отбора кандидатов на директорские должности. И требование номер один — развитое образное мышление и богатая фантазия.

А вот мнение известного социолога, доктора философских наук Е. Н. Шубкина: «...Мне кажется, что наша педагогика еще не осмыслила значения открытия функциональной асимметрии головного мозга человека (левое полушарие — центр логических дискурсивных операций, правое — центр образного, интуитивного, эмоционального мышления), не заметила, что на протяжении десятилетий в школе делался упор на развитие левого полушария, что вело к своеобразной атрофии образного мышления у молодежи».

Любой грамотный психолог или педагог скажет, что личность формируется отнюдь не формальным запоминанием, а прежде всего деятельностью. И что самым важным занятием для ребенка является игра. Относитесь к детским играм максимально серьезно,

призывают психологи, бейте тревогу, если ребенок не играет. Игра, утверждают они, это для ребенка то же, что для взрослых труд. Но специалисты в области детской игры пришли к неутешительному выводу, что если, скажем, в пятидесятые — шестидесятые годы дети без руководства со стороны взрослых могли играть 40—60 минут, то сегодня такая игра выдыхается через 8—10 минут!

Я поверил психологам, что надо бить тревогу по поводу «неиграния» детей, но не поверил приведенным выше цифрам. Поэтому, устроив на балконе «за-саду», целый день с секундомером в руке наблюдал, как играют дети. Ученые, к сожалению, не ошиблись — через 8—15 минут прекращалась игра у девочек, через 4—10 минут — у мальчиков. Двадцать минут продержалась игра в «прятки», но в ней происходили замены, и «на поле» выходили свежие игроки.

Смогут ли хорошо работать те, кто не умеет хорошо играть?! Караул! Где будем брать кандидатов в директора?

Всемирная ассоциация деятелей мультипликационного кино (АСИФА) провела в 1983 году во Франции международный симпозиум «Мультипликационный фильм — завтрашняя педагогика?».

Вот как выглядит фрагмент из вступительного доклада:

«За последние 10 лет по всему миру в школах спонтанно распространилось искусство покадровой мультипликации на уровне экспериментальных студий. Большая степень распространенности такого рода экспериментов, по всей видимости, не случайна. Эти студии вырастают из существенной необходимости воспитания образного мышления современных детей во время их обучения в школе, для того чтобы сориентировать их в современном визуально насыщенном мире.

Зачинатели этого эксперимента осознали, что в сфере кинематографии выразительные средства мультипликации являются наиболее естественными для детского и подросткового возраста: они стимулируют их творческую активность и раскрепощают мышление.

Они считают, что общение с помощью движения и образов легче, чем традиционное словесное общение. Они также считают, что обучение визуальному языку является насущной потребностью. Ребенок — завтрашний взрослый — не должен «заглатывать» поток окружающих его картин без их оценки и отбора.

И в конечном итоге они считают, что малочисленность аудитории серьезных фильмов объясняется недостатком образования, отсутствием опыта восприятия такого рода информации, который должен был закладываться еще в школе».

Но вот беда — наша мультипликация, с одной стороны, и искусствоведение, педагогика, психология, социология, с другой стороны, движутся как бы в совершенно разных пространственно-временных измерениях и никак не соприкасаются...

И виноваты в этом отнюдь не ученые.

Сделав это нерадостное заключение, вернемся на тротуар. Помните ли вы, что такое тротуар?

ЗЕМЛЯ!

Тротуар был по колено завален снегом, а потом и вовсе исчез. Мы перевалили через сугробы и миновали подозрительную впадину (летом она оказалась прудиком, доверху наполненным лягушками). Игорь взобрался на свой огромный чемодан, посмотрел сквозь запотевшие очки вперед и закричал: «Земля!!!» «Землей» стал дом на окраине Москвы, где мы сняли пустующую квартиру. Мебель в ней отсут-

ствовала, зато вскоре к нам с Игорем присоединился Гриша Гладков с огромной, как контрабас, гитарой (я все думаю, может, это был все-таки контрабас?) и аранжировщик Слава, который умел аранжировать музыку без инструмента, «в голове», но писал ноты так мелко, что их почти невозможно было увидеть (я все думаю — может, он их вовсе не писал?).

Произошло небольшое чудо. На студии «Мультилефильм» нам доверили самостоятельную постановку. В плане студии значился фильм по рисункам детей. Делать его никто не собирался. Надо было закрыть брешь. Подвернулись мы. Это было, конечно, не совсем то, с чем хотелось прийти в режиссуру, но решили извлечь из подвернувшейся возможности все возможное.

Фильм разбили на три части. Для первой использовали тот любительский снятый по песенке Гладкова сюжет «О картинах». Он был построен на детских рисунках гуашью. Для второго сюжета подобрали стихи и детские рисунки цветными карандашами. В поисках третьего обратились к известному детскому писателю Эдуарду Успенскому, который в нас верил и всячески поддерживал. Сначала показалось, что он не заинтересовался нашим «заказом», но вдруг через несколько дней принес свое стихотворение «Про Ворону». Еще не дочитав до половины, я понял, что это надо делать и что потребуетсся какая-нибудь очень необычная технология. Поскольку в первых двух сюжетах использовались карандаши и краски, то пришла идея — в третьем применить пластилин

Сразу же нашлись и скептики.

— Из нашего пластилина ничего не получится — это умеют делать только американцы!

— Пластилин растет под прожекторами!

Мы этих кулуарных разговоров тогда не знали. И спокойно, а если честно, то в какой-то горячке, делали свою работу. И сделали в рекордно короткие сроки. Весной, когда растаял снег (а совсем не пластилин), фильм был готов.

Съемочной группы тогда у нас практически не было. Главная «ударная сила» состояла из восемнадцатилетней Лены Косаревой, которая только что окончила художественную школу. У нее на столе стояли крошечные игрушки, которые она делала из булавок и засохшей краски, и в моей записной книжке появилось: «не забыть взять на фильм маленькую Лену, у которой игрушки на столе».

Хорошо, что я не забыл это сделать — через год Лена была уже художником заставки «Спокойной ночи, малыши!», выполнила решающий объем работы по картине «Падал прошлогодний снег» и, наконец, как «официальный» художник-постановщик, сделала в уникальной технологии гуашевой росписи «Обратную сторону Луны» — картину, принесшую студии больше всего наград.

Но это было потом, а тогда, сделанная с единственной целью — доказать свою художественную состоятельность, «Пластилиновая Ворона» принесла нам неожиданный успех (вскоре МУР задержал специалиста по краже сумочек и чемоданов по кличке «Пластилиновый Ворона» — триумф фильма был налицо!).

Это совсем не значит, что с этого момента все пошло «гладко». Наши фильмы и по технике, и по изобразительной манере, и по темпераменту и насыщенности событиями были очень необычны и принимались руководством студии совсем не просто. Да и сегодня сдача фильма для нас — этап сложный. И уж совсем тяжелыми были для нас съемочно-производственные периоды. В каждом из фильмов участвовало значительно меньше художников, чем в других

съемочных группах. На тех же, кто рисковал работать с нами, ложилась подчас чудовищная нагрузка — фильмы были сложны по технике и предельно насыщены действием.

Успех «Вороны» требовал доказательств. Скептики считали его случайным и сводили к удачной технологии.

И вот через два года мы с Игорем едем на Всемирный фестиваль мультипликационных фильмов в Варну. Игорь едет как турист и болельщик: он в фильме «Падал прошлогодний снег» участия не принимал. Те же, кто принимал участие, включая писателя Сергея Иванова, с которым мы год вынашивали этот весьма специфический сценарий, и актера Станислава Садаля, интересно озвучившего фильм, остались «болеть» в Москве. Впрочем, «болеть» группе было некогда — в самом разгаре была работа над «Обратной стороной Луны».

Первый выезд за границу! Первый фестиваль! Первая пресс-конференция. Наш фильм первым открывает конкурсный просмотр. Люди знающие говорят, что это хороший симптом.

Я счастлив уже оттого, что картину допустили к конкурсному показу — этой чести специальная селекционная комиссия удостоивала лишь один фильм из каждых пяти-шести. Игорь счастлив оттого, что я счастлив. Оба счастливы оттого, что вокруг ходят лидеры мировой мультипликации, которых мы знаем только по фотографиям. На стуле сидит известный (но неизвестный нам) японец Ёжи Кури и раздает свои японские автографы. В очереди за кофе стоит известный и очень любимый нами югославский режиссер Боривой Довнирович, чьи фильмы мы во времена учебы засматривали «до дыр». Игорь объясняет Довнировичу, насколько мы знаем и любим его работы. От радостного волнения он путается и вместо того, чтобы сказать, что мы считаем себя его учениками, говорит: «Мы считаем себя вашими учителями». Довнирович страшно удивляется. Он раньше этого не знал.

«Наш ученик» привез новый, потрясающе смешной фильм «Один день жизни». Этот фильм и получает золотую награду. А наш «Падал прошлогодний снег» — серебряную.

Утюгоподобный «Серебряный кукер» (так называется приз) путешествует в моей обвисшей сумке через всю Болгарию. На неделю раньше в Москву улетала главный редактор нашей студии и предложила отвезти приз, но я, для красного словца, сказал:

— Эту штуку мне не тяжело носить с собой хоть каждый день!

И красное словцо бывает полезно. В аэропорту у редакторши навсегда пропал чемодан (опять поработал Пластилиновый Ворона?). А кукер цел и живет у меня дома.

Потом были еще фильмы и другие награды, но этот успех для нас был решающим — мы поверили в свои силы.

И все-таки самое лучшее, что мы пока сделали в мультипликации, — это курсы художников-мультипликаторов. Полтора года назад мы загорелись идеей создания таких курсов, желанием «завербовать» молодых способных художников. Эту идею тоже пришлось отстаивать, но в итоге к ней отнеслись объективно.

И вот мы начали заниматься с пятью тщательно отобранными кандидатами. Общепринятая программа обучения рассчитана на 2—3 года. Наши ребята уже через полгода работали в качестве художников-мультипликаторов. Среди специалистов это вызвало удивление. Но секрета нет никакого. Просто мы занимались с нагрузкой, вчетверо превышающей про-

граммную (курсантам об этом, естественно, ничего не сказали). И они многому успели научиться, особенно у Игоря — он мультипликатор очень высокого класса. Но многому им еще и предстоит научиться, а главное терпению и собранности. Теперь наша съемочная группа укомплектована прекрасными ребятами — настоящими единомышленниками.

Теперь можно делать фильмы и посложнее, и посерьезнее. То есть мы к наступлению готовы.

ЛИРИЧЕСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ

Когда появляется в нашем деле человек, главная цель которого — личное спокойствие, жди мультфильмов, предельно похожих на те, которые делались уже неоднократно и никакого «беспокойства» никому не причинили. Так пробивает себе дорогу к зрителю все стереотипное, усредненное.

И как же за этим серым потоком разглядеть мультипликационную трилогию, делающую смелую попытку проникновения во внутренний мир Пушкина (режиссер А. Хржановский), или фильм по Гарсиа Лорке (режиссер И. Гаранина)? Видны ли за стройными рядами суесящихся мошек, кошек и зайчиков полные тонкой иронии и подлинного остроумия работы Э. Назарова («Приключения муравья», например) и своеобразнейшие, новаторские ленты мастеров эстонской школы?

Разве мелькнувшие как-то в восемь утра по телевидению фильмы молодого армянского режиссера Р. Саакянца, фильмы, которые в предельно игровой и веселой форме учат детей внимательно смотреть и быстро соображать, хуже лент, где «вполглаза» можно созерцать выполненных в «эстетике мыльных оберток» слащавых зверушек, преподающих детям урок дружбы (сводящийся к тому, что Бельчонок не поделился орешком с Зайчиком, и ему потом тоже ничего не дали, а Обезьянка подарила Слононку банан и взамен получила ананас). Ты — мне, я — тебе. Дружба! В конце фильма придет еще Мудрый Ежик и споет песенку о том же, о чем перед этим подробно рассказывалось.

И пока он поет, вам не слышать редкостную симфонию мира, в котором живет совсем другой ежик — «Ежик в тумане» (режиссер Ю. Норштейн). И не увидеть треть фильма, которую некий чиновник от телевидения по своему «вкусу» вырезал из гениальной «Сказки сказок» того же автора — фильма, к слову сказать, всеми инстанциями утвержденного и принятого и принесшего нашей мультипликации поистине мировую славу.

«В сегодняшнем срезе мульткино отчетливо заметна черта странная, но характерная: зияющий разрыв между поисками ищущих и рутинной продукцией многих других, — пишет в журнале «Детская литература» педагог М. Гуревич. — Между потоком и произведениями, отмеченными печатью индивидуальности. Такое происходило всегда и везде, но здесь заметнее пропасть. Кажется, будто два разных искусства существуют под одной крышей и лишь по недоразумению носят одно и то же имя. И водораздел проходит совсем не по границе «детское» — «взрослое», как могло бы показаться. Но всегда — по степени серьезности художественных задач, которые ставят себе авторы».

Дело в том, что в нашей мультипликации годами вырабатывался совершенно усредненный, некий «мультипликационный» стиль. А выглядит персонаж, выполненный в этом «стиле», так: большая голова, пухленькие щечки, маленький ротик, носик пуговичкой, огромные ресницы и глаза. В зрачке обязательно блик. И вот перед вами герой («мультика» (неважно, ребенок, зайчонок, мышонок...)).

Предвижу возражения — а нам такие милые существа нравятся! Что ж, спрячусь опять за умные спины ученых. А ученые поясняют, что причина любви к подобным картинкам, страдающим, по меткому замечанию Ролана Быкова, «пупсиковым обаянием», удивительно проста.

Человек, как млекопитающее, четко реагирует на разницу в облике взрослого и ребенка. Детские черты лица и фигура (а мультяшные пупсики обладают именно такими пропорциями) вызывают у взрослого человека **нежность и потребность накормить ребенка** — это чисто инстинктивные желания. (Человек склонен то же самое чувствовать по отношению и к некоторым животным, к тем, у кого большие глаза, круглая голова, маленькие челюсти. Кошки, кролики, белки для человека инстинктивно полны обаяния и достойны ласки и заботы, даже если это никак не обосновано с точки зрения эволюции.)

Но ведь задача подлинного искусства — апеллировать к художественным эмоциям человека, а не к его инстинктам. И хочется, позаимствовав передовой опыт зоопарка, повесить у мультипликационного экрана табличку:

«Кормить милых пупсиков строго запрещается!

Администрация».

Но администрация не всегда вывешивает подобные объявления. Бывает, что примелькавшиеся коты и мышки, явно имеющие близких родственников за границей, выдаются за исконно нашу мультипликационную школу, а персонажи, нарисованные в острой, гротесковой манере, идущей от самобытных традиций нашей книжной графики, объявляются продуктом влияния Запада, для широкой публики малопонятными.

Под стать изобразительным и ритмические проблемы. Существует достаточно устойчивое мнение, что детская аудитория не способна воспринимать темповые, насыщенные событиями фильмы. На чем основано это убеждение — сказать затрудняюсь. Зато без труда мог бы привести по этому поводу диаметрально противоположные мнения таких, прекрасно знающих детскую аудиторию авторитетов, как Корней Чуковский или Сергей Михалков.

Но ведь и мы сами прекрасно знаем и помним по детским сказкам, что один из признаков сказочной поэтики — предельная концентрация событий и динамика действия. И все мы сами можем легко убедиться (даже не сходя с тротуара!), что трехлетний «почемучка» отличается фантастической быстротой усвоения информации, мгновенной реакцией, основанной на безграничной пытливости. В первые годы маленький человек узнает и обрабатывает больше информации, чем потом за всю жизнь.

Сегодня наш девиз — ускорение! Мы будем быстрее работать, строить, разрабатывать, внедрять. Да! Но мы должны научиться и быстрее думать. Быстрее анализировать информацию и принимать решения. От быстроты наших решений зависит ускорение. Наука сегодня дискутирует о возможности родового обучения ребенка — еще не родившегося ребенка! — а мы все сомневаемся, может ли пятилетний зритель «осилить» темповые мультфильмы? Если ему их никогда не показывать, то, естественно, не сможет. Даже когда вырастет...

Я еще раз хочу подчеркнуть, что много замечательных мастеров работают на «Союзмультфильме» и «Мульттелефильме», в Киеве, Свердловске и Тбилиси, в прибалтийских республиках, Казахстане и Ереване. Очень высок международный престиж нашей

мультипликации. Появилась целая плеяда молодых талантливых художников, значит, род наш продолжается.

Важно только не допускать, чтобы лучшие произведения искусства мультипликации разбавлялись до слабой концентрации произведениями посредственными и... выпадали в осадок.

Время требует создания специализированной мультстудии по выпуску полнометражных фильмов для детей и взрослых, тут мы вполне могли бы конкурировать с японцами, но по необъяснимым причинам этого не делаем. Время требует создания студии по производству мультфильмов для видеокассет — нам нечего противопоставить пока что тем зарубежным коммерческого толка сериалам мультфильмов, которыми обмениваются сегодня уже достаточно многочисленные владельцы видеомагнитофонов. Можно лишь пожалеть, что не решен до сих пор вопрос о создании постоянной телепередачи, посвященной искусству мультипликации — что-то вроде мультипликационной кинопанорамы...

Не все проблемы удастся решить сразу. Но уходить от этих проблем и пребывать в позе страуса сегодня недопустимо.

ОПЯТЬ ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ

Когда я в первый раз переступил порог «Киевнаучфильма», кроме «человека-медведя», меня поразило еще и то, что «дяденьки» 33—35 лет (а именно таким был тогда возраст многих режиссеров и художников) дяденьками мне не казались. Другие знакомые мне люди такого же возраста были для меня дяденьками и тетеньками. А эти — нет.

Известный французский историк цирка Тристан Реми пишет о клоунах:

«Арена — это источник юности, сохраняющий клоунам вечную молодость. К каждому новому сезону в цирке они чистят свою старую одежду, вновь пришивают к своему костюму блестки, осыпавшиеся во время кувырканья, кладут заплатки на свои шелковые туфли. Но они не меняют ни грима, ни масок. И в нашей памяти, которая охотно поддается обману, клоун всегда предстает таким, каким он, по воле судьбы, восхищал нас в детстве».

Я думаю, что мультипликаторы, как и клоуны, долго не стареют. А иначе как же работать для детей? И для тех прекрасных взрослых, которые сумели сохранить в себе все лучшее, что есть в ребенке? Тем более в ребенке все — лучшее.

Теперь мне самому 35 лет. Дяденькой я себя не чувствую.

Но в 35 лет кинематографист «выбывает» из круга молодых кинематографистов. И расставаясь с «официальной» молодостью, я хочу вот что сказать тем, кто начинает свой путь и, конечно же, сталкивается с различными препятствиями и трудностями. Ни в коем случае не опускайте руки, будьте настойчивы и одержимы. Выкладывайтесь до конца. И вы увидите, что ваши неудачи оказались временными.

А, как известно, лучше временные неудачи, чем временные удачи.

На этом я слезаю со своей колоколенки...

P. S. (секретно, только для молодых киевлян). В республиканском Дворце пионеров и школьников стоит целехонький и вполне железный мультстанок. У кого чешутся руки?



А. ШЕВЕЛЕВ,
профессор,
доктор медицинских наук

ПЯТНА НА БЕЛОМ ХАЛАТЕ

В высшей медицинской школе я преподаю вот уже 36 лет, из них 19 лет заведу кафедрой. И с каждым годом растет у меня чувство неудовлетворенности положением, которое создалось в области высшего медицинского образования. Становится все более очевидным, что огромная работа многотысячного коллектива преподавателей медицинских институтов в значительной мере ослабляется чиновничьим равнодушием, многочисленными бюрократическими преградами нормальному обучению и воспитанию будущих врачей.

Проблема качества в медицине, проблема качества врача приобрела сейчас важнейшее общегосударственное значение; от ее решения зависит судьба нашего главного богатства — здоровья народа. Тем нетерпимее все то, что мешает охранять этот национальный капитал.

Ценность каждого человека в условиях дефицита рабочей силы многократно возрастает и будет продолжать расти в чисто экономическом плане. Я уже не говорю о морально-этических аспектах. Здоровье советских людей становится сейчас важнейшим фактором, от которого зависит переход народного хозяйства к интенсивному пути развития; именно здоровье определяет в конечном итоге способность человека к повышению производительности труда.

Это значит, что и интенсификация труда медицинских работников является одним из важнейших элементов дальнейшего ускорения научно-технического прогресса.

Сейчас, как, впрочем, и раньше, возникает вопрос: неужели врач, осуществляющий профилактический «ремонт» основной производственной силы общества — человека, является менее важной частью производственной сферы, чем, скажем, механик, ремонтирующий трактор?

На что должны быть сейчас направлены основные силы нашей службы здравоохранения — на дальнейшее увеличение количества врачей или на повышение качества медицинского обслуживания населения? Ответ однозначен: главное — качество. В 1983 году в Советском Союзе на 10 000 человек населения приходилось более 35 врачей, в США — 21,9, во Франции — 17,5, в Великобритании — 16,4.

А сколько вообще нам нужно врачей? Приходится признать, что у Министерства здравоохранения СССР нет здесь ясной политики. Полагаю, что дальнейший рост числа врачей не только бесполезен, но и вреден. Один врач, оснащенный современной диагностической и лечебной аппаратурой, освобожденный от ненужной писанины, которая отнимает у него около половины рабочего времени, может заменить 5—10 врачей, вынужденных работать нередко на допотопном техническом уровне. Будем считать, что заполнение историй болезни и прочее бумаготворчество занимает 50 процентов рабочего времени врачей. Если это время сократить хотя бы на 10 процентов, вооружив врача современной техникой, то можно будет уменьшить число врачей по стране почти на сто тысяч. Средняя заработная плата врача — примерно около 2000 рублей в год. Значит, здесь возможна 200-миллионная годовая экономия. Следует к тому же учесть, что обучение одного врача в институте, его выключение из производственной сферы в течение шести лет обходится государству примерно в 34 000 рублей. Ежегодно медицинские институты нашей страны оканчивают 50 000 врачей. Если прием в медицинские институты сократить, то за шесть лет медицина получит еще сотни миллионов рублей экономии. Такие средства позволили бы значительно улучшить обеспечение врачей современной диагностической аппаратурой.

Когда же мы научимся считать? Когда научимся прогнозировать? Когда будем знать, сколько медицине нужно врачей, дисплексов, диагностической аппаратуры? Когда у нас будут специа-

листы, способные эффективно использовать ЭВМ в медицине?

Проблема интенсификации труда медицинских работников состоит из многих звеньев, и главное из них — качество подготовки врача. Кого же и как мы готовим к высокому званию врача, основная деятельность которого будет проходить в XXI веке?

Вспоминаю слова замечательного русского клинициста М. Мудрова: «Средний врач не нужен. Уж лучше никакого врача, чем плохой».

А вот сценка из жизни. Заседание государственной экзаменационной комиссии в одном из мединститутах. Члены комиссии обсуждают результаты последних экзаменов по терапии и решают, кому какие поставить оценки. Экзаменатор считает, что два студента, сдававшие экзамен в этот день, должны получить неудовлетворительные оценки, так как, во-первых, они обнаружили полное незнание основ предмета и, во-вторых, в течение всех лет обучения в институте с трудом пересдавали предмет, получив в конце концов тройку.

Мнение профессора вызывает, однако, нервную реакцию у декана и председателя экзаменационной комиссии. Может быть, они не согласны с этим мнением и полагают, что студент знает предмет удовлетворительно? Ничуть. Оба прекрасно понимают, что экзаменатор прав. Но оба находятся под дамокловым мечом неписаного указания министерства: чем меньше будет двоек на экзамене, тем, значит, лучше работают ректорат института и экзаменационная комиссия; самое лучшее, чтобы двоек вообще не было, в крайнем случае — одна-две на курс по всем предметам. Аргументы: обоих студентов шесть лет учили, переводили с курса на курс — значит, оба что-то знали. Вывод: плоха воспитательная работа на кафедре. Решение: поставить студентам удовлетворительную оценку. Присвоить им звание врача. При неудовлетворительных знаниях? Да.

Что же, плохого врача можно и нужно выпускать?

Выходит: да, можно и нужно. Между тем это обман государства, общества, народа, приписка в ее самой отвратительной ипостаси.

Как же мы дошли до жизни такой? Чтобы понять это, следует вернуться к истокам: к тому моменту, когда нынешний выпускник пришел в институт в качестве абитуриента.

Кабинет ректора. Телефонный звонок. В трубке бархатный баритон Иванова, директора треста, который строит институту общежитие. Он вежливо осведомляется, доволен ли ректор ходом строительства, обещает, что нужные стройматериалы будут вовремя поставлены. Затем добавляет:

— Между прочим, Иван Петрович, в этом году в ваш институт поступает мой сын. Правда, в школе он учился неважно, но ему очень нравится медицина... Надеюсь, вы его не обидите?

Что на это отвечает ректор?

Не будем гадать. Гораздо важнее другое: как мог Иванов позволить себе так разговаривать с ректором? Ведь всем известно, что для оценки знаний абитуриента существует экзаменационная комиссия, которая должна внимательно выслушать поступающего и поставить ему ту оценку, которую он заслуживает.

В подобного рода ситуации ректор должен дать только один ответ: «Никто вашего сына не обидит. Гарантирую вам, что экзаменационная комиссия беспристрастно оценит его знания».

Есть немало ректоров, неподкупная честность которых не вызывает сомнений и к которым, зная

это, никто не посмеет обратиться с подобного рода просьбой. Но бывает и другое...

Ректор имеет всекие основания опасаться: если сын Иванова не поступит в институт, строительство общежития может затянуться на долгие годы. Следовательно, надо забыть о принципиальности, помочь отцу, чтобы его чадо поступило в институт — даже если оно бездарно, лениво и медициной никогда не интересовалось.

Но мыслимо ли помочь?

Оказывается, мыслимо. В ход приводится отлаженная система, основанная на унижении человеческого достоинства членов экзаменационной комиссии, рассчитанная на их нравственное растрясение. В день экзамена председатель озабоченно сообщает экзаменаторам, что Иванов должен обязательно получить за свой ответ «отлично», в худшем случае «хорошо».

Как же можно выполнить такую «просьбу»? Оказывается, трудно, но можно, если позабыть о совести и собственном достоинстве. Для этого существует много недозволенных приемов: сделать вид, что не слышишь, когда абитуриент говорит чепуху, задать легкий дополнительный вопрос, на который трудно не ответить... Но ведь чтобы Иванов получил проходной балл, необходимо уменьшить число тех абитуриентов, которые по праву претендуют на высокую оценку. Поэтому прилагается максимум усилий, чтобы отлично отвечающий студент Петров получил заниженную оценку: задаются, например, дополнительные вопросы, на которые сможет ответить не каждый экзаменатор.

Часто ли так бывает? На этот вопрос могли бы ответить только представители министерства, если бы они пожелали заняться этим делом всерьез... Можно только сказать, что термин «позвоночник» вошел уже в народный фольклор. А это о чем-то говорит...

Чаще всего о таких «тайнах мадридского двора» знают, ими возмущаются, но дружно молчат. А всплывают такие «тайны» обычно лишь тогда, когда соответствующие органы выявляют, что в этот вуз абитуриенты поступают за взятки.

Неужели нельзя закрыть лазейки для нечестных махинаций на экзаменах?

Можно! При двух условиях: объективности и гласности. Думается, эти условия можно соблюсти, если экзамены будет принимать ЭВМ по специально разработанной системе тестов.

Во многих странах так и делается. Да и у нас, в СССР, насколько мне известно, в 1985 году такие условия приема экзаменов уже применялись в более чем ста институтах, но из них в м е д и ц и н с к и х — только в единичных.

Есть, однако, простое средство, которое можно применить уже сегодня: все ответы на экзаменах должны даваться в письменном виде, в том числе и на дополнительные вопросы. Экзаменатор ставит оценки только за письменный ответ. Все эти документы должны выдаваться для проверки по любому требованию абитуриента или его родителей. В случае сомнений в справедливости оценки абитуриент имеет право потребовать заключения эксперта.

Все это относится к приемным экзаменам во все вузы. В медицинских же институтах, помимо сказанного, нужен особый подход. По сути своей врач — самая гуманная профессия. Настоящий врач лечит больного не только своими знаниями и умением, но и своим нравственным обликом: добротой, состраданием, внимательностью. Стать настоящим врачом может далеко не каждый.

Какие же требования следует предъявлять к абитуриенту, желающему стать врачом? Не раз уже

писалось о том, что он должен до экзамена пройти предварительный испытательный срок работы в больнице няней или санитаром в течение не менее года и получить соответствующую характеристику с места этой работы. Правда, и сейчас таким лицам отдается предпочтение при приеме в медвузы, а с этого года им начисляются дополнительные баллы на собеседовании. Но не следует ли распространить условие об испытательном сроке на всех поступающих? Не менее необходимо разработать психологические тесты, которые бы определяли потенциальную пригодность абитуриента к врачебной деятельности. Ведь от этого зависит в основном качество будущего врача.

Но вот абитуриент стал студентом. Как же мы его учим?

Еще сценки. Перезкзаменовка по терапии. Перед профессором сидит студент Сидоров... После экзамена, который Сидоров провалил, прошло два месяца, на пороге новая экзаменационная сессия. Тем не менее студент с разрешения декана пришел пересдавать предмет в четвертый раз, хотя устав высшей школы допускает только однократную пересдачу предмета, причем не позднее двух недель после окончания экзаменационной сессии. Измученный предыдущими встречами с Сидоровым, профессор задает ему простейшие вопросы. Однако и на этот раз студент не может дать вразумительный ответ, несет столь дикую чушь, что профессор начинает сомневаться в его умственных способностях и просит написать на бумаге, что такое большой и малый круг кровообращения. Это Сидоров должен хорошо знать еще из курса средней школы и затем окончательно закрепить на курсах анатомии и нормальной физиологии. Знание ответа на такой вопрос для врача — то же самое, что знание таблицы умножения для инженера. Сидоров отвечает: «Большой круг начинается с правого предсердия и впадает в левый желудочек». Что остается профессору? Он выгоняет студента в четвертый раз. Но когда тот приходит уже на пятое свидание, профессор, понимая, что в противном случае его ждет не жизнь, а каторга, задает совсем пустяковые вопросы и, стараясь не слушать очередную чушь, торопливо ставит тройку. На госэкзаменах декан скажет ему с укоризной: «Как же вы говорите, что он ничего не знает по терапии, если сами поставили ему «удовлетворительно»?» Логично, не правда ли?

А теперь попытаемся эти сценки расшифровать. Во-первых, почему декан систематически нарушает устав высшей школы? Разгадка проста: за это нарушение с него никто не спросит. А вот если будет большой отсев, то спросят и ректор, и министерство.

Институту невыгодно отчислять заведомых невежд и тунеядцев. Перед внутренним взором ректора маячит кошмар, именуемый «коэффициентом»: если для данного института коэффициент равен 10, это значит, что на одного преподавателя должно приходиться 10 студентов. Естественно, что чем больше студентов отчисляют, тем меньше штатных единиц дают институту. Если ректор отчислит 10 студентов, то ему на следующий год сократят одну ставку преподавателя, если он отчислит 100 человек, то сократят 10 ставок. Поэтому тройка на экзамене — это нередко замаскированная двойка. С тяжелым чувством ставят эту тройку почти все экзаменаторы. В том числе, признаюсь, и автор этих строк. Беспринципно? Но в противном случае сократят штаты — и, может быть, преподавателя, поставившего двойку.

Есть, однако, способ, который помог бы преодолеть заколдованный круг и который когда-то применялся. Речь идет о том, чтобы, помимо официально запланированного количества студентов, принимать в институт определенное число кандидатов, недотянувших до проходного балла пол-очка — очко и получавших разрешение посещать занятия и лекции; они могли быть зачислены студентами в том случае, если отчислялись нерадивые. Вопрос о кандидатах много раз обсуждался в печати, высказывались разные точки зрения, но Министерство высшего и среднего специального образования в конце концов запретило принимать «кандидатов» — очевидно, по принципу «как бы чего не вышло».

И пока мы вынуждены учить и выпускать и митрофанушек, и хороших студентов. Замечу, кстати, что это растлевающее действует на студентов: они видят, что можно быть бездельником, невеждой — все равно тебя доведут за ручку до шестого курса и торжественно вручат диплом.

Как же мы учим в своих вузах?

Несколько цифр. Сколько лет, по-вашему, учится студент в медицинском институте? Шесть? Как бы не так.

Из официальных шести лет один учебный год студенты многих медвузов проводят на сельскохозяйственных работах, хотя учащихся первого и шестого курсов не разрешается так использовать.

Я подсчитал, что на собственно медицину, физику, химию, биологию остается 4,5 года, если же исключить из этого подсчета 6-й курс (субординатуру) то только 3,5 года. На клинические дисциплины, включая терапию, приходится 1296 часов, то есть меньше одного учебного года. На всю урологию приходится только 36 часов — шесть учебных дней; на рентгенологию и медицинскую радиологию — 74 часа!

По официальному расписанию, преподавание терапии с 3-го по 5-й курс включительно составляет 8,8 процента учебного времени, то есть всего 16 недель. «Это меньше четырехмесячных курсов по терапии, растянутых к тому же на три года. Курсы кройки и шитья, не говоря уже о курсах шоферов-любителей, и то проводятся дольше, основательнее и с гораздо большим упором на руководство» (Л. В. Наумов. «Легко ли стать врачом?». Ташкент. 1983 г.).

Добиться всеобщей компьютерной грамотности населения — такова задача, поставленная XXVII съездом КПСС. Как же решает эту задачу высшая медицинская школа, готовящая уже сейчас врачей XXI века? Практически никак! Студентов не обучают работе с дисплеями, основам программирования. Нет для этого ни приборов, ни кадров, ни действенного желания! С конца 1985 года преподавателей начали обучать основам компьютеризации и программирования, но делается это непродуманно. Возвратившись с факультета повышения квалификации, преподаватель не находит у себя в институте соответствующих приборов и забывает новые знания, не подкрепленные практикой.

Центральная фигура учебного процесса — лектор: профессор, доцент. Должности профессора и доцента замещаются по конкурсу. Все как будто по правилам. Однако...

Какими качествами должны обладать профессор или доцент — наставники будущего врача? Думается главное — чтобы студенты его уважали. А для этого он должен быть хорошим и знающим лектором,

порядочным человеком, компетентным научным работником. Но часто ли сочетаются на практике в одном лице эти три обязательных качества? Приходится признать: не так уж редко студенты вынуждены слушать (но не слышать) лектора, которого трудно понять, у которого скверная дикция, во рту «каша» и которому (самое главное), в сущности, нечего сказать, помимо того, что уже есть в учебниках и в старых монографиях. Профессора и доценты не сдают у нас экзамены по лекторскому искусству. Хочешь быть профессором — умеи читать лекции так, чтобы студенты на них не спали и получали для себя что-то новое, помимо прописных истин. Однако это первостепенное правило часто не соблюдается.

Чтобы получить право на чтение лекций, обычно достаточно иметь ученую степень доктора или кандидата наук; после года работы в соответствующей должности соискателю присваивают ученое звание профессора практически без детальной проверки его лекторских способностей. Поэтому не приходится удивляться, когда профессор Икс читает лекции по бумажке, а поскольку слушать его — каторга, заставляет студентов подробно конспектировать свою унылую лекцию, угрожая, что в противном случае они у него провалят экзамен. Действительно, каким еще способом такой профессор может заставить студентов слушать себя? Есть удивительный приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР об обязательном посещении лекций. Думается, что этот приказ лишь поддерживает бездарных лекторов: в противном случае они останутся без аудитории и окажется, что король голый. Не могу понять, для чего заставлять студента зря тратить время. На хорошую лекцию хороший студент пойдет сам, без кнута.

Не буду упоминать о последнем слагаемом триады — научной компетентности лектора. Хочу только сказать, что, единожды получив свое звание, профессор может стричь купоны всю жизнь, не совершенствуясь как лектор, не утруждая себя интенсивной научной работой. На оплату труда его деятельность или бездеятельность, как правило, не влияют. Мне что-то ни разу не приходилось слышать, чтобы, например, профессора не переизбрали на очередной срок только потому, что он плохо читает лекции.

Полагаю, что в медицинском вузе из всех качеств профессора, доцента, ассистента самым основным является его личность, авторитет у студентов, роль как воспитателя и наставника будущих врачей. Но для этого он должен быть сам для них примером гражданина и ученого.

В июне прошлого года мне довелось быть на цикле факультета повышения квалификации для ведущих кафедр медицинских вузов в Киеве. Были там и в клинике, которой руководит замечательный хирург и удивительный человек Н. М. Амосов. Отрадно было читать объявление в его клинике с категорической просьбой благодарить врачей только цветами. Отрадно было слышать от больных и сотрудников института, что сама возможность визитов и поборов у больных в этой клинике немыслима. В то же время мы побывали в руководимой другим известным медиком клинике, о которой идет худая слава: поборы с больных там не исключение, а правило.

Оба профессора — наставники студентов и молодых врачей. Какой нравственный урок получает студент в клинике второго профессора?

Стоит подумать, почему поток жалоб больных на поборы в больницах не снижается, а возрастает. Что же делает министерство для ликвидации этого позорного явления? Практически ничего весомого. Можно, конечно, возразить, что, мол, не пойман — не вор, что факт взятки очень трудно доказать и что заниматься этим должны другие органы... Есть, однако, способы коренным образом покончить с этим уродливым явлением. Например, систематическое ежемесячное социологическое обследование каждой больницы, включающее заполнение больными анонимных анкет. Имея эти данные, райздравотдел будет знать, в какой больнице и на каких сотрудников больше всего жалуются по поводу поборов. Когда систематическое обследование будет указывать на одни и те же больницы и одних и тех же врачей, необходимо принять решительные меры, вплоть до привлечения органов ОБХСС. Если за это взяться с такой же настойчивостью, с какой мы сейчас боремся с пьянством, с этим злом можно будет покончить. И делать это надо немедленно!

Врач — самый близкий нам человек; от его профессиональных и моральных качеств зависит наше здоровье и наша жизнь. Врач — это интеллигент, культуртрегер, человек, которому мы можем доверить свои заветные тайны, с которым можем посоветоваться, которому верим.

Вспоминается земский врач — доктор Чехов и созданный им доктор Дымов — интеллигенты в высоком смысле слова, бескорыстные труженики, жизнь которых — подвиг. У нас и теперь немало таких замечательных докторов. Но это не дает оснований закрывать глаза на некультурных, бездарных, неинтеллигентных, равнодушных, невежественных врачей, среди которых встречаются стяжатели, взяточники, подонки.

И вина в этом не только министерства, но и нас, преподавателей. Мало ли среди нас «дремучих» кандидатов и докторов, не знающих и не любящих литературу и искусство, пьянствующих, не стеснящихся курить в присутствии студента и одновременно пропагандирующих на лекции вред курения, наконец, морально нечистоплотных.

Чему же мы научим будущего врача, если не объявим решительный бой своим двуличным коллегам? Ведь студент прекрасно знает, кто есть кто. Знает, что Петр Петрович, будь он профессор или даже академик, лжет, произнося красивые слова, а на самом деле пьет, берет взятки за то, чтобы сделать операцию в государственном учреждении.

Не пора ли при аттестации преподавателей всех рангов считать моральный облик наиглавнейшим! Не пора ли дать по рукам тем, кто растлеивает нашу молодежь!

Говорят, что в США сейчас редко встретишь курящего врача — больные не желают тратить деньги для посещения доктора, который требует немедленно бросить курение, а сам курит.

«Скажите, — спросил я одного коллегу-терапевта, — если бы Министерство здравоохранения издало приказ, что курение несовместимо с званием преподавателя высшей медицинской школы, и запретило производить перееаттестацию курящих педагогов, бросили бы вы курить?..» Собеседник потупился и сказал: «Вероятно, бросил бы...»

Но можно ли ждать такого приказа от министерства?

Поживем — увидим.

Полагаю, что в воспитательной работе среди студентов медвузов следует учитывать ряд особенностей. Она должна способствовать прежде всего формированию настоящего советского врача. Надо воспитывать в студентах чувства доброты, сострадания, нравственной чистоты. Каждый врач должен обязательно быть организатором и носителем санитарной культуры. К сожалению, приходится признать, что в нашей воспитательной работе много формализма, мало энтузиазма. Работа эта нуждается в коренной перестройке.

В ряде медвузов существует институт так называемых кураторов. Но вот что получается: за плохую учебу, за аморальные поступки в студенческой среде спрашивают прежде всего с кураторов. Главным виновником здесь фигурирует не коллектив группы, а, видите ли, куратор. Институт кураторов все больше напоминает о дореволюционных классных дамах. Да и само слово «куратор» имеет странный привкус. В самом деле: почему в вузах существует институт кураторов, а на промышленных предприятиях институт наставников?

Кураторы часто подменяют комсомольскую организацию. И как следствие — комсомол в вузах становится все менее самостоятельным, менее инициативным, комсомольский огонек часто не горит, а тлеет. Одна из причин этого — тревожная тенденция, которая все явственнее прослеживается в последние годы. В роли комсомольских вожakov порою выступают лица, которых студенты не уважают, но которые вполне устраивают администрацию потому, что они, не имея собственного мнения, послушно выполняют любое указание администрации, не задумываясь, правильно ли оно. Иные из таких «вожakov» небескорыстно рассчитывают на всякого рода льготы. Такого ловчила распределяют на лучшую работу, хотя на студенческой скамье он учился посредственно, не проявив интереса к науке.

Увы, такая практика способствует формированию современных молчаливых, карьеристов, которые в будущем становятся преподавателями, заведующими кафедрами.

Надо ли доказывать, насколько вредна практика поощрения таких псевдовожakov?

В соответствии с решением XXVII съезда КПСС комсомольские организации медвузов должны проявлять больше самостоятельности, быть особенно непримиримыми к бездельникам, к аморальным поступкам студентов, ко всему, что препятствует формированию настоящего советского врача. Не подумать ли о том, чтобы студенты медвузов давали присягу не только при получении диплома, но и при поступлении в институт? В этой присяге, подписываемой каждым студентом, должны быть обязательства неустанно трудиться, чтобы получить максимум знаний, воспитывать в себе чувство доброты, сострадания к больному, быть примером для населения как носитель санитарной культуры, не допускать безнравственных поступков, быть чутким, вежливым, внимательным.

Между тем среди студентов мединституты не так уж редко аморальные проступки — в частности, пьянство, хулиганство и т. д. Все это должно пресекаться прежде всего коллективом. Может быть, полезно установить в институтах суды чести — как у студентов, так и, кстати сказать, у преподавателей.

Если мы согласны с тезисом, что не должно быть плохих врачей, то отсюда следует, что не должно быть и плохого студента. От такого студента надо беспощадно избавляться: жалеть надо не его, а бу-

дущего больного, которого невежда, получив диплом врача, отправит на тот свет.

Удивительно: число врачей у нас увеличивается, оснащение больниц с каждым годом улучшается, количество штатных единиц в министерствах здравоохранения СССР и союзных республик растет, но растет и поток жалоб населения на плохое медицинское обслуживание.

Причина здесь одна: низкое качество подготовки, низкий культурный и нравственный уровень самих врачей...

И разрешить это противоречие можно, закрыв лазейки для обмана государства на всех этапах подготовки врача. Нужны научно обоснованный и честный прием в медицинские вузы, научно обоснованное обеспечение учебного процесса в сочетании с беспощадным отсеком лиц, попавших в институт по ошибке, и, наконец, беспристрастная и строгая оценка знаний и умений лиц, оканчивающих институт. К этому добавим: систематическая строгая аттестация всех врачей не только по их знаниям и умениям, но и по их морально-этическим качествам.

Помню предвоенные годы учебы в институте: разве мыслимо было в то время говорить о поступлении в институт и получении диплома врача по «блату»?

Помню Великую Отечественную войну: как замечательно, как самоотверженно работали тогда наши медицинские работники! Как велик был их вклад в нашу Победу! Думаю, что в немалой степени это зависело от глубоко научной, бескомпромиссной, требовательной, пламенной деятельности Ефима Ивановича Смирнова, возглавлявшего тогда медико-санитарную службу нашей армии. Низкий поклон ему за это!

Настала пора называть вещи своими именами. Медлить нельзя. Недопустима дальнейшая затяжка в осуществлении коренной реформы высшего медицинского образования особенно сейчас, когда набирает силу процесс интенсификации всей нашей жизни. Эта интенсификация находится в прямой зависимости от здоровья народа — важнейшей нашей ценности. И ценность эту должны охранять и множить знающие, умеющие, честные, энергичные, исполненные чувства своего высокого долга врачи — представители самой гуманной профессии.

Паллиативные решения здесь не помогут. Думаю, требуется оперативное вмешательство.



ВЛАДИМИР ЛУКЪЯЕВ ЗИМОЙ В ГОРАХ ОЧЕНЬ ХОЛОДНО

Пятнадцатого января из Москвы в Ош вылетела сборная СССР по альпинизму. Попутчики-киргизы с удивлением посматривали на ребят. Альпинисты приезжают к ним обычно летом, а сейчас зима... Разве ходят зимой в горы?

О том, что сборная отправится зимой на Памир и попробует подняться на самую высокую гору страны — на пик Коммунизма, — пошли разговоры еще два года назад. Наконец собрали ребят — в основном это была «эверестовская» компания — и подготовили план восхождения. Руководителем был назначен опытный альпинист-высотник Валерий Семенович Путрин, тренерами — «гималайцы» Валентин Иванов, Ерванд Ильинский и Николай Черный.

Зимние восхождения — это закономерный результат развития альпинизма. Великая «осада» гор началась двести лет назад — после того как два швейцарца, пастух Ж. Бальма и врач М. Паккар, взойшли на вершину самой высокой горы в Альпах — Монблан. А сегодня нет на нашей планете такой горы, на которой бы не побывал человек.

Казалось бы, все, приехали! Дальше лезть некуда. Да, верно, на все вершины взойшли. А что, если попробовать подняться на гору в-о-от по этому пути? Кто-то однажды задал такой вопрос и сам на него ответил, взойдя на уже покоренную гору по совершенно немыслимому маршруту. И на сегодня все сложные стены в таких обжитых горах, как Альпы или Кавказ, уже пройдены и, можно сказать, «ощупаны» со всех сторон.

А что, если, опять возник иску́с, залезть на эту вершину зимой? И выяснилось, что «когда зимой идешь даже на знакомую гору, она кажется по крайней мере на километр выше. Она настолько преобразена, что кажется совсем другой, незнакомой и новой. Те участки, которые летом проходились за короткий срок, зимой могут быть практически непроходимыми. Бывает и наоборот. В общем, это новая гора». Такую характеристику зимним восхожде-

На снимках: слева — Михаил Туркевич и Сергей Бершов, справа — Валерий Першин, Сергей Антипин и Валерий Хрищатый.

Фото В. Мелетина

ниям дал ветеран чехословацкого альпинизма Иван Галфи.

С того дня, как я проводил ребят на Памир, прошло две недели. Лечу к ним. В Домодедове встречаю Владимира Шатаева, гостренера СССР по альпинизму. Спрашиваю о новостях. Все в порядке. Ребята вышли на плато и сделали лагерь на 6100—6200 метров. Наверх еще не ходили. ЧП никаких нет, но наверху холоднее, чем ожидалось.

Прилетели в Ош рано утром. В гостинице мы разместились в одном номере. Не знаю, как Шатаеву, но мне это было к стати. Владимир Николаевич — опытный альпинист, был руководителем группы, которая сделала первый зимний траверс Ушбы еще в 1965 году. О том, насколько это сложно, говорит уже то, что после них никто на Ушбу зимой еще не ходил. Труднее всего им пришлось на трехсотметровой ледовой стене, которая летом не считается особенно сложной. Но тогда лед на стене настолько промерз, что по крепости мог сравниться с бетоном, отполированным до зеркального блеска. На подобном льду от кошек такая же польза, как от валенок. Тем не менее они прошли эту стену. Опыт, полученный на зимней Ушбе, пригодился через несколько лет на Аляске, когда группа Шатаева поднималась по такому же льду на Мак-Кинли. Маршрут, по которому они шли на самую высокую гору Северной Америки, сами американцы в ту пору считали непроходимым.

Город Ош лежит в долине, между хребтами гор. И стоит только возникнуть какой-нибудь тучке, она сразу направляется в эту долину.

Мы ждали летную погоду день, другой... На третий день к вечеру стало проясняться. Едем на радиостанцию за очередными новостями из базового лагеря. Новости невероятные!

«Тройка ленинградцев на вершине, — прорывался сквозь треск помех голос Путрина. — Украинцы где-то пониже. Балыбердин сейчас заканчивает киносъемку на вершине. Я дал ему приказ двигаться вниз и по пути забрать украинцев. На этом все».

На следующее утро погода установилась в полном соответствии с нашим желанием. Летим наконец? Нет, надо ждать Юрия Сенкевича. Он только что прибыл из Москвы, и его прямо из аэропорта должны доставить на другой конец города к вертолетной площадке. Едут. Кажется, можно лететь? Да, полетели!

Я с интересом наблюдаю за Сенкевичем. Лететь всю ночь из Москвы самолетом, потом сразу высадиться в горах, на четыре тысячи метров выше уровня московского телецентра, — сложное испытание даже для сильного организма. Но вроде бы он перенес все это без видимых затруднений.

Вертолет, не выключая двигателей, грохоча, простоял минут пятнадцать на месте. За это время киногруппа отсняла своего ведущего на фоне окружающих пиков. Путрин и Иванов ответили на его вопросы, и на этом «кино» закончилось. Небольшой ажиотаж, связанный с нашим приездом, быстро спал.

— Была холодная ночевка, — говорил мне Валентин Иванов. — Сейчас все семеро — и ленинградцы, и украинцы — отсыпаются в своих лагерях. Кто-то обморозился, кажется. Спустятся — все узнаем. А пока размещайтесь.

Сборная СССР была поделена на четыре группы. Группа Владимира Балыбердина состояла из трех ленинградцев и двух москвичей. В украинскую пятерку Сергея Бершова вошел и Юра Янович из Таджикистана. Валерий Першин возглавил пятерку из трех свердловчан и двух красноярцев. Шестерку алмаатинцев вел на вершину Валерий Хрищатый.

Я пошел в палатку к украинцам. Меня с ними связывает давняя дружба. В Приэльбрусье, откуда я родом, Сергей Бершов, Гена Василенко. Алексей Москальцов и Миша Туркевич — известные люди. Их «зверсты» начинались на Кавказе. Как они там сейчас наверху? Если погода не ухудшится, завтра спустятся.

Знакомлюсь с лагерем. Кроме сборной страны, здесь, на леднике Москвина, расположились и команды Узбекистана и Ленинграда. Узбекские альпинисты еще в прошедшем декабре взойшли на Музджилгу высотой 6376 метров, совершив, таким образом, первое зимнее высотное восхождение в нашей стране. И теперь им разрешили подняться вслед за сборной страны на пик Коммунизма. А сборная Ленинграда идет на соседний семитысячник, пик Корженевской, высота которого — 7105 метров. Зимним альпинизмом ленинградцы занимаются уже более десяти лет.

Все экспедиции расположились рядом. Летом здесь обычно база международного альплагеря «Памир». Место солнечное и достаточно закрытое от ветра. И прямо от палаток виден почти весь маршрут, по которому происходит сейчас восхождение.

На следующий день на утренней связи ленинградцы и украинцы сказали, что начинают спускаться вниз. В полдень на гребне плато показалась одна точка, другая...

Все, кто был на базе, собрались у треноги с подзорной трубой.

— Часа через три-четыре будут здесь, — сказал Ильинский.

Я спросил Путрина, нельзя ли пойти навстречу ребятам.

— Одному пересекать ледник нельзя, — ответил начальник экспедиции.

Я присоединился к начальнику спасательной службы и тренеру экспедиции Николаю Черному. Он нес ребятам термосы с чаем. Пока мы шли по леднику, он рассказывал, как на пути в лагерь они всей командой ждали пять дней вертолета в поселке Дараут-Курган.

— И всей командой — тридцать мужиков — прожили пять дней у директора совхоза Абдукаима Сарытаева совершенно бесплатно. А сам он на это время переехал с семьей к родственникам. Если будешь писать об этом, то добавь еще, что Абдукаим — самый большой друг альпинистов во всей Алайской долине.

Часа через полтора мы встретились с украинцами. Ребята здорово исхудали. У Гены Василенко были забинтованы руки.

— Если бы с нами не было «Шахтера», мы бы не только руки, но и головы поотморозили, — сказал Сережа Бершов.

«Шахтер», я понял, — это Туркевич, он из Донецка. Остальное было неясно, но я решил подождать с вопросами. Слишком сильно они устали. Бодрее других выглядел Туркевич.

— А шо, у нас такие некрасивые рюкзаки, шо нам самим стыдно их нести? — так ответил он на мое предложение взять чей-нибудь рюкзак.

Мы молча дошли до базы. Ребят встретили аплодисментами и поздравлениями. Затем за них взялся доктор Эдуард Липень. Он опытный врач-альпинист и хорошо разбирается в обморожениях. Москальцова и Василенко, как наиболее пострадавших, он уложил в «лазарет».

Поздно ночью в базовый лагерь пришли ленинградцы — Владимир Балыбердин, Владимир Шопин и Юрий Разумов.

— Состояние Москальцова, Василенко и особенно

Шопина очень серьезное,— говорил Липень Путри-ну.— Нужна скорейшая госпитализация.

В эту ночь доктору и тренерам спать не пришлось. Каждые полчаса надо было делать уколы и менять капельницы у пациентов базового «лазарета».

Утро седьмого февраля было ясным и неожиданно теплым. Можно было надеть куртку не в спальном мешке, а нормально, как все люди. Всего минус пятнадцать. Ну, это уже Сочи! Вчера утром было минус тридцать два.

В то утро состоялся разбор восхождения. На горе отношения не выясняются, но во время разбора откровенно говорят обо всех недостатках. Иногда можно услышать и нелицеприятные вещи. Тот, кто обижается на критику товарищей, в альпинизме долго не задерживается.

Разбор происходил темпераментно. У меня сложилось впечатление, что холодную ночевку предопределило всеобщее желание взойти на вершину во что бы то ни стало. Но стояла густая облачность, и определять высоту визуально можно было лишь весьма приблизительно. А высотомеры замерзли — не работали уже начиная с шести тысяч метров. В результате на базу было передано, что ленинградцы пойдут наверх с 6850, а украинцы из своего лагеря в ста метрах ниже. База не возражала, однако на следующий день, когда облачность немного развеялась, внизу увидели, что ребятам до вершины идти намного дольше, чем они предполагали.

Но заключительный этап восхождения уже начался. Из-за сильного мороза обе группы вышли, к тому же, позже намеченного часа. Первой шла группа Балыбердина, за ней в полчасе ходьбы — группа Бершова. В полдень у Владимира Коломыцева из группы Балыбердина стали мерзнуть ноги, и по распоряжению базы он пошел вниз. До лагеря на плато с ним пошел Василий Елагин, друг и напарник по связке.

В пятнадцать часов обе группы все еще были на пути к вершине. Наверное, это был самый подходящий момент, чтобы повернуть их назад. Но все тренеры — действующие альпинисты. Они знают, как болезненно воспринимается команда идти вниз, когда вершина рядом. Начальник экспедиции был против продолжения восхождения, но не настоял на своем. Все на базе верили в опыт и силу восходителей, да и до вершины им оставалось по высоте не более 100—150 метров. Успеют, думали все.

В 16.52 Балыбердин передал, что они втроем стоят на вершине. База приказала им немедленно спуститься вниз и по пути «завернуть» украинцев. Туркевич, узнав об этом приказе, взял у Балыбердина рацию (свою украинцы отдали Елагину и Коломыцеву) и попросил у базы разрешения завершить восхождение. Скоростные качества Туркевича известны всему альпинистскому миру. Разрешение он получил и с Яновичем, Василенко и Москальцовым взмошел на вершину (у Бершова сильно мерзли ноги, и он пошел с ленинградцами вниз).

На спуске украинцы неожиданно быстро догнали своего командира и ленинградцев. Уже стемнело. Надеяться вернуться засветло, и фонарей никто не взял. Ветер задул сильнее, утренние следы замело. В начале десятого стало ясно, что дорогу потеряли и надо закапываться. Туркевич нашел какую-то снежно-ледовую щель около метра в диаметре. Поместиться в ней могло не более двух человек. Туркевич начал расширять эту щель ледорубом...

А ленинградцы вновь принялись искать свою пещеру, держась от украинцев на расстоянии голосовой связи. Усилившийся ветер бил в лицо колючим сне-

гом. Потратив на эти поиски больше часа, они вернулись к украинцам и притулились в крошечном «бункере» Туркевича. А когда рассвело, все увидели, что находятся в двухстах метрах от пещеры ленинградцев. О том, как эта восьмерка провела ночь, можно написать отдельную повесть. Выдержать такое испытание могли только настоящие мужчины. После разбора восхождения я спросил у Сережи Бершова, какая была температура на горе.

— Трудно сказать, у кого-то из ребят был сувенирный термометр-брелок, так он «зашкалил» на минус сорок пять...

Прилетел вертолет — Коломыцев забирал в Москву Василенко и Москальцова, Балыбердин повез своего друга Шопина в Ленинград. Восхождение заканчивалось. В три часа дня сверху сообщили, что на вершину поднялись десять «сборников» и шесть «узбеков». Теперь идут вниз.

Но радоваться никто не спешил. Вот все спустятся, тогда расслабимся.

— Кажется, кто-то упал,— сказал тренер ташкентцев Лябин Анатолий. Он сидел у трубы и наблюдал за спуском последних связок с вершины.

— Может, это просто камни упали с гребня,— предположил кто-то.

— Нет, люди! — воскликнул Лябин. — Один упал и сдернул второго. Во-он лежат, их видно.

Все бросились к подозрительной трубе, появились бинокли. Когда мне удалось заполучить бинокль, то я увидел, что один лежит, другой уже поднялся и стоит рядом с ним. Затем стоящий сдвинулся вправо и вдруг покатылся вниз. Встал было и снова сорвался...

Те, которые шли впереди этой двойки, продолжали спуск. Казалось странным, что они находятся вроде бы не так далеко от того места, где сорвались ребята, но о случившемся не ведают.

— Они не видят и не слышат друг друга,— сказал Бершов. — Во-первых, там сильный ветер, а во-вторых, между ними большой снежный бутор, который все закрывает.

Вызывать по рации идущих вниз было бесполезно — связь была недавно, и они, экономя питание, выключили свои станции. Оставалось надеяться лишь на последнюю двойку, которая находилась на скалах вершинного гребня и могла все видеть. Но есть ли у этой двойки рация?

— Вызываю на связь базу,— прозвучал вдруг голос.

— Першин говорит,— определил Ильинский.

Теперь мы знали, что последними спустились Валера Першин и Сережа Антипин, альпинисты-универсалы, которые на больших высотах одинаково здорово ходят и по скалам и по льду.

— Кажется, это ребята из узбекской команды,— продолжал Першин. — В общем, мы спускаемся к ним. Как дойдем — выйдем на связь.

Они спускались долгих полчаса до крутой снежно-ледовой стены. Много сил уже отдали вершине. К тому же у Сережи Антипина «барахлили» кошки. На такой стене это крайне опасно. Малейшая неосторожность — и уже ничто не спасет.

— Да, это ташкентцы,— услышали мы после напряженного полуторачасового ожидания. — Один, по всем признакам, мертв. Другой — еще жив, но без сознания. К тому же он сильно обморозился. У него при падении слетели обувь и рукавицы. Мы сейчас соберем его одежду и начнем транспортировать.

Я взглянул на часы — 18.03. Осталось не более часа светового времени. Вскоре на связь вышли группы, которые уже спустились в пещеры на 6700 и на 6600 и о случившемся даже не подозревали. Стали

выяснить, кого не хватает у ташкентцев. Анкудинова и Калугина, сообщили сверху.

— Два моих самых сильных парня, — тихо сказал руководитель узбекской команды Вадим Эльчибеков.

— Надо, чтобы кто-то вышел навстречу Валере с Сережей, — сказал Путрин Ильинскому. — Вдвоем им с транспортировкой не справиться.

И когда сверху отозвался «зверестовец» Хрищатый, Ильинский сказал ему:

— Я понимаю, Валера, что вы все очень устали, но надо выйти навстречу ребятам.

— Сейчас одеваемся и выходим.

Я вышел из палатки и осветил фонариком термометр. Минус двадцать пять. Они почти на три километра выше, значит, там больше сорока пяти.

Самое трудное в горах — это, наверное, преодоление любого, даже самого незначительного подъема при спуске с вершины. А если уж вернулся с вершины в палатку, то о повторном подъеме и подумывать страшно. Только люди с очень большой силой воли могут справиться с «саботирующим» организмом. Наверх пошли «сборники» Женя Виноградский и Гриша Луняков, которые только что спустились с пика. Третьим в связке был красноярец Дюков. Он еще с прошлой ночи чувствовал себя неважно и, чтобы не быть обузой для ребят, на вершину не ходил, но, узнав о случившемся, начал одеваться.

В 19 часов врач попросил Валеру и Сережу описать состояние пострадавшего.

— Это агония, — сказал нам после этого Липень. — Его теперь можно спасти только в условиях московского стационара...

Была под угрозой и жизнь самих спасателей. Валера с Сережей уже более двенадцати часов находились на высоте свыше 7 тысяч метров, без питья и практически без пищи. Фонарей у них не было, батареи в радию на таком морозе могли «сесть» в любую минуту. Если это случится, то встретиться с тройкой Виноградского они не смогут. На таких просторах докричаться друг до друга невозможно. Да и как крикнешь на таком ветре и морозе? Холодную ночевку они не перенесут. Не та погода и не те силы...

Первым нашел в себе мужество Вадим Эльчибеков.

— Эрик, — сказал он Ильинскому, — отправляй ребят вниз. Моему они уже ничем не помогут. Не надо больше жертв, я категорически против.

— Такие приказы на горе не выполняются, — тихо сказал кто-то.

Я обернулся на голос. Там сидели Разумов, Голодов, Туркевич и Бершов. Это мог сказать любой из них.

Прошел еще час, который по протяженности мог сравниться с сутками. Потом Першин сообщил, что признаков жизни у Валеры Анкудинова уже нет...

Ветер дул еще сильнее. Ориентироваться стало невозможно. Почти три часа Першин и Антипин блуждали среди трещин, чудом избежав падений. В половине первого ночи встретились с тройкой Виноградского, которая тоже сбилась с пути в этом хаосе ветра и снега. Два часа спуска они совершенно без сил вползли в пещеру на 6700 метров. Когда через несколько дней мы спросили Першина, как им в такую погоду удалось встретиться с тройкой Виноградского и затем найти дорогу в лагерь, он ответил:

— Случайно, — затем помолчал и добавил: — Интуиция.

Двадцать три человека побывали на вершине зимнего пика Коммунизма (7495). В эти же дни восемнадцать ленинградских альпинистов поднялись —

и безо всяких происшествий — на соседний семитысячник — на пик Корженевской.

Когда все участники штурма двух семитысячников собрались в базовом лагере, я увидел, насколько живописно они были одеты. А уж что касается обуви... В нашем лагере была представлена чуть ли не вся история развития альпинистской обуви — от валенок и шкелетонов до наисовременнейших пластиковых ботинок.

Да будет известно, что собственного снаряжения у сборной СССР по альпинизму нет. Ни общественно, то есть палаток, веревок, примусов, фонарей и т. д., ни личного, то есть одежды и обуви. Все снаряжение ребята привезли из своих клубов и спортобществ, где с инвентарем тоже негусто. А на вопрос, почему, например, у сборной страны по горным лыжам инвентарь есть, а у сборной по альпинизму нет, ответ однозначен: альпинизм не олимпийский вид спорта, поэтому фонды на приобретение снаряжения не предусмотрены.

В Споркомитет СССР наконец поступило разрешение непальских властей на восхождение на Канченджангу. Это третий после Эвереста и К-2 (Чогори) восьмитысячник мира. Вершина Канченджанги — ее высота 8598 метров — состоит из пяти голов. Траверс всех пяти вершин — цель предстоящей в 1989 году экспедиции. Восхождение предстоит сложное. Попытки пройти все пять вершин за одно восхождение уже предпринимались, но безуспешно. Очень сильная и хорошо оснащенная японская экспедиция, например, «сломалась» после третьей вершины...

Нет сомнений, что ребят из сборной СССР по этому случаю и обуют, и оденут. А как (в чем?) будут ходить в горы — и тем более зимой — рядовые альпинисты, которых у нас в стране десятки тысяч? А есть еще горные туристы, которых не считать...

Скоро наступят времена, когда горы Кавказа станут такими же многолюдными, как Альпы или Татры. Но станут ли они безопаснее? Как-то раз на перевале Бечо я ждал группу, которая должна была прийти из Сванетии, и начал считать, сколько людей пройдет через перевал. Сначала прошла большая группа студентов из Киева, следом за ними прошли семь человек из Одессы, затем семья из пяти человек из Новосибирска... За четыре часа я насчитал 61 человека, и все — «дикие» туристы. Шли они кто в чем, и только у группы рижан была веревка. На вопрос, как можно так бесечно вести себя в горах, отец семейства из Новосибирска ответил, что у них в прокате нет хорошего снаряжения. Но горы он любит, вот и детей решил пристрастить к этому делу. Они уже прошли два перевала и теперь направлялись к морю.

— А где другой купишь, — сказал он, заметив, что я рассматриваю его самодельный ледоруб, — в магазинах ведь ничего нет!

Но у них хоть такой ледоруб имелся, а ведь перевал Бечо — это не шутка. Там и по леднику хороший кусок идти надо, да и снега много, и склоны крутые.

Горного снаряжения у нас в стране выпускается мало, оно плохого качества, но в магазинах и его нет — кроме рюкзаков, ничего не купишь.

Альпинисты и горные туристы всегда отличались предприимчивостью. Сейчас по их инициативе на многих предприятиях страны готовы выпускать это снаряжение как побочную продукцию. Может, на первое время это выход?

Словом, теперь альпинизм — круглогодичный вид спорта. Но и летом в горы в чем мать родила не пойдешь. А зимой в горах, как теперь окончательно выяснилось, очень холодно.

ГАЛКА ГАЛКИНА

ГОСТИ С ПОДНЯТЫМИ РУКАМИ

ФЕЛЬЕТОН

Сейчас, когда от Ирапуа-то до Нецауалькойотля раздается звон мячей и, говоря по-мексикански, болельщиков привлекает к себе всеобщее внимание, я тоже не прочь глубокомысленно порассуждать о спорте. Тем более что, как и большинство людей, прекрасно в нем разбираюсь. Мне знакомы имена Вардания и Сабониса, я отличаю фальстарт от фотофиниша и даже знаю, что такое спидвей. Лишь одна сторона этого многогранного явления вызывает мое постоянно растущее удивление — так называемая проблема «своего» и «чужого» поля, о которой сейчас трезвонят на каждом перекрестке.

Вернее, умом я эту проблему еще как-то с грехом пополам осиливаю. Но сердцем понять не могу. Да, все подтверждается статистическими данными — футбольная (ватерпольная, городошная и т. д.) команда общества «Маховик» («Пищевик», «Дождевик» и т. д.) из города Брюквинска (Клюквинска, Одеколонска и т. д.) на своем поле (площадке, бассейне и т. д.) никому не проигрывает (не терпит поражений, не продувает и т. п.). Зато, покинув пенаты, эта непобеждаемая армия превращается просто в мальчика для битья.

Давайте сообразим, почему так происходит.

Помнится, на заре туманной юности один мой коллега, горя желанием обелить своего кумира, написал в спортивном отчете: «Неудачно выступил на международных соревнованиях наш конькобежец Б. Корзинкин. Причиной его осечки послужили неблагоприятные погодные условия. В резуль-

тате первое место досталось бежавшему с ним в одной паре норвежцу И. Хвансену, погодные условия у которого оказались гораздо лучше».

Примерно на таком же солидном уровне выглядят все многочисленные попытки оправдывать свои неудачи фактором чужого поля. Ведь принципиально игра на выезде ничем не отличается от игры дома. Как говорят спортивные массажисты, створ ворот — он и в Африке створ ворот. Все определено стандартами. Погодные условия у спарринг-партнеров всегда одинаковы. Полная симметрия обстановки нарушается лишь тем, что во время атак хозяев поля на трибунах становится на десяток децибелов шумнее. Но ведь зрительский шум — палка о двух концах. Почему защитникам команды гостей не принять подобное подбадривание на свой счет и не играть лучше? Неужели ни у кого из молодых людей нет столь задиристого характера, чтобы рассудить так: «Ах, вы настроены против меня? А я все равно добьюсь победы!». Подобное самолюбие служит признаком настоящего характера — человеческого вообще и спортивного в частности. Чувствовать скованно себя в гостях позволительно робким, милым женщинам вроде меня. Но стоит ли руководителям команд оправдывать в прессе робкую мельтешню своих изишних вежливых питомцев фактором, о котором десяток лет назад никто и думать не думал? В известном документальном фильме «Футбол нашего детства» про чужое поле вето-раны даже не заикнулись. А ведь

ездили. И за границу ездили, и чемпионат страны был двухкруговым. И никто не преподносил командировку в соседнюю область как путешествие в логово тигра. Это уже нынче расцвели некие мистические доктрины, которые недвусмысленно гласят: максимальный успех во встрече на поле противника — это ничья. Как-то раз я спросила у одного из тренеров, привезшего свою команду на заклятие: «Ладно, сегодня вы заранее смирились с поражением. А на своем поле вы надеетесь выиграть у вашего сегодняшнего соперника?» «Надеюсь, наш сегодняшний соперник заранее не будет надеяться выиграть у нас», — оптимистично хмыкнул он.

О, поле, поле, кто тебя усеял страшными ярлыками — «свое» и «чужое»? Чужим полем спортсмены пугают детей. Тренеры носят с ним, словно с писаной торбой. Не за тридевять земель, не в окружении босоногих болельщиков, которые выражают отношение к происходящим событиям стрелами, обмазанными ядом кураре, — среди родных осин, во встрече между командами одного райцентра побеждает та, которая по календарю считается хозяином (или хозяйкой?) поля. Правда, в аналогичной встрече второго круга результат будет полярным — эта же команда проиграет здесь же этому же сопернику, поскольку будет считаться в гостях. Принадлежности поля сейчас уделяется такое подозрительно большое значение, что возникает мысль: а не распространится ли опыт командных игр на индивидуальные виды спорта? Будут колесить по соревнованиям со своими штангами любители железной игры, гимнастики — со своими бревнами, вслед за пловцами тянутся вереницы цистерн со своей водой... Видно, тренерам следует что-то менять в психологической подготовке игроков, если у тех всерьез существует синдром чужого поля.

Если кому-то мои заметки покажутся пресными и коряво написанными, то учтите, что у вас перед глазами выездная модель. У меня дома этот же самый текст является боевым и остроумным. Тут ничего удивительного нет — ведь все мы сейчас благодаря спорту уверены в том, что дома и стены помогают.

КОНСТАНТИН
МЕЛИХАН

РЫЦАРСКИЙ ПОСТУПОК



Чего я только ни делал, чтобы Светке понравиться! И портфелем ее по голове бил, и с лестницы сталкивал, и просто за косу к стулу привязывал. А она на меня все равно ноль внимания!

Рогов тогда мне так и сказал: — Хочешь понравиться женщине — соверши героический поступок. Или хотя бы рыцарский. Защити ее, например, от какого-нибудь хулигана.

Я говорю:

— Где ж я тебе хулиганов возьму? У нас в районе хулиганы не водятся.

Рогов говорит:

— Не отчаивайся. Будет тебе хулиган. Только после школы сегодня не сразу домой идите.

Вот после школы иду я рядом со Светкой по улице, несу ее портфель. Вдруг из подворотни выходит такой маленький старичок. Ростом с Рогова. Только в огромной шляпе, в черных очках и в бороде типа мочалки. И говорит таким гнусавым голосом:

— Девочка, у тебя деньги есть?

— Смотря для чего, — говорит Светка.

Старичок замялся.

— Ну, там, — говорит, — газировки попить. По телефону звянуть. В какую-нибудь аптеку.

Тут я старичка своим портфелем — трах! — по голове.

Светка на меня как закричит:

— Ты что?! Это же пожилой старичок! Всю пенсию, наверно, в аптеке оставил!

А старичок ловко так с земли вскочил и говорит:

— Ничего, внучка. Не трогай его. Он хороший мальчик.

Ну, я, значит, чтобы показать, какой я хороший мальчик, еще раз этому деду как звездану портфелем! Но уже — Светкиным.

Тут уж он не сразу поднялся.

А Светка совсем обиделась.

— Ты что?! — кричит. — Моим портфелем — и чужого старичка бить?!

Старичок сразу говорит:

— Н-ничего. Все нормуль. Самое то. Он х-хороший мальчик. Он рыцарский поступок совершает.

Ну, я, значит, чтобы окончательно Светкины сомнения развеять,

так этого бедного старичка шарханул — у него борода отвалилась. А у Светки — челюсть от удивления.

А старичок — вот башка крепко привинчена!

— Все! — говорит. — Каюк котенку! Маски сброшены! Наша карта бита! Конец невидимой войны! Последняя ошибка резидента! Ви есть смелый мальчик. Только не надо меня болше шарахать по башке! Я буду сам все-все рассказывать! Май нэйм из Джонни. Май фэмил из биг. Ай хэв мавэ, фавэ, бравэ, систэ, грэнмавэ...

Тут я ему еще раз шарханул! — но уже по фейсу.

А он упал, лежит. Задумчивый такой. И очки слетели, и шляпа. Светка говорит:

— Слушай, а ведь это не Рогов. Гляжу: и точно — не Рогов. Нос какой-то распухший и уши помятые.

Он чуть слышно говорит:

— Да Рогов я, Рогов. Ведите меня домой, короеды...

Дома бабка его долго не хотела открывать дверь. Все смотрела в глазок и требовала, чтобы Рогов повернулся в профиль.

— Да свой я, — говорил Рогов и совал бабке в глазок дневник с двойкой по физике.

Только после этого бабка и поверила, что он свой.

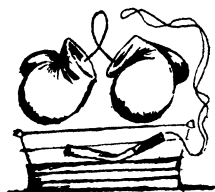
Сейчас лицо Рогова приняло прежние размеры. А Светка теперь из школы ходит с ним. Чтобы, значит, защитить его, если к нему кто пристанет. Хулиган там какой. Или рыцарь.

г. Ленинград

ЕКАТЕРИНА
ГОРБОВСКАЯ

Обыкновенная история

Мне нравилось, что ты — боксер, И что прическа на пробор, И то, что спорить мог полдня, Чтоб в чем-то убедить меня, —



Мне нравился и этот спор, И даже То, что ты куришь «Беломор» Для эпатажа.

Но, я не знаю, в чем тут дело, Мне все однажды надоело. Все, все: и то, что ты — боксер, И этот вечный твой пробор, И стала очень раздражать Твоя привычка возражать, А этот «Беломорканал» — Меня он просто доконал.

Письмо в Сухуми

Неужели вы забыли, Как мы ели чахохбили, Как дрожал букет сирени, Как вы встали на колени,



На груди сложивши руки — Так — крестом, Как отряхивали брюки, Встав потом...

Только что теперь об этом Вспоминать и говорить, Я опять приеду летом, Можно будет повторить.

Рисунки И. Оффенгендена

НАРВАТЬСЯ МОЖНО!

Витьку я знал, когда мы были мальчишками. Потом мы долго не виделись. Я встретил его уже в студенческие годы. Он торопился на свидание. Я тоже. Я сказал ему, что собираюсь жениться. Он спросил, давно ли мы знакомы с ней. Я ответил: месяц. Витька покачал головой и сказал:

— Это необдуманно. Женитьба — шаг серьезный. Прежде чем жениться, надо как следует узнать друг друга. Иначе нарваться можно! Жениться — окажутся разные интересы, вкусы... Разводиться придется — травма на всю жизнь. Вот мы с Любой уже полгода встречаемся и хотя любим друг друга, но я все равно пока еще вкусы ее проверяю: в дискотеки ходим, разговариваем о прочитанных книгах...

Мы расстались и не виделись три года. Однажды, когда жена заболела, я пошел в магазин и там в очереди встретил Витьку. Он почти не изменился. Только чуть-чуть пополнели щеки и начали намечаться контуры живота, как обычно бывает у стройных молодых людей в первые годы после свадьбы. Мы разговорились: кто, кем, сколько? Я спросил его, женился ли он на той девушке, которую любил, будучи студентом. Он сказал, что нет, не женился. Я сказал:

— Жаль, что вы расстались. Ты так любил ее.

— А кто тебе сказал, что мы расстались? — удивился Витька.

— А что, до сих пор ее проверяешь? — в свою очередь удивился я.

— Нет. Вкусы у нас сошлись. Это я уже выяснил. Но понимаешь, — начал объяснять Витька. — Женитьба — это все-таки шаг серьезный. Когда люди начинают жить вместе, они совсем по-другому ведут себя. Совместная жизнь — это не кино и не театр. Нарваться можно! А вдруг она готовить не умеет, квартиру неаккуратно убирает или по телефону сплетничает... А я этого терпеть не могу. В общем, мы решили испытать наши чувства самым страшным для молодоженов — бытом. Она два года назад ко мне переехала. И ты знаешь, ничего! Мы до сих пор любим друг друга. Поэтому, если и дальше так пойдет, непременно на ней женюсь.

После этой встречи мы не виделись лет десять. На этот раз я встретил Витьку в городском парке, в песочнице, куда привел своего трехлетнего сынишку. Витька с двумя хорошенькими, как амурчики, одетыми в импортные комбинезончики близнецами играл в кораблики.

— Твоя? — спросил я про близнецов.

— Обижает! — сказал Витька.

— Поздравляю!

— С чем? — не понял он.

— Ну как с чем? Наконец-то женился.

— Кто тебе сказал? — возмутился Витька. — Ничего я не женился.

— А как же... — Я не договорил.

— Понимаешь? — Витька вылез из песочницы, отряхнул костюм, после чего разогнулся, перевел дыхание и начал объяснять: — Женитьба — дело очень серьезное! И хотя в быту мы подходим друг другу, но ведь женишься — дети пойдут. А вдруг она не умеет их воспитывать? За ними ухаживать? Знаешь как нарваться можно! Жена — это прежде всего мать. Вот я и решил проверить, какой она матерью будет. Двойняшки получились.

Судьба сложилась так, что мы не виделись с Витькой еще двадцать лет. Мы даже не сразу узнали друг друга, несмотря на то, что долго сидели в сквере на одной лавке. Он был с палочкой, в соломенной шляпе и читал в «Вечерке» про погоду и самочувствие. Я узнал его по голосу, когда он сказал подбежавшему мальчугану:

— Пойдем домой, внучек. Пора. А то баба Люба заругает.

Его внук оказался на год старше моего.

— Близнецов помнишь? Вот, от одного из них! — гордо сказал он. — Такой сорванец растет!

— Проверяешь? — спросил я.

— Что проверяю? — не сразу догадался он, о чем я его спрашиваю.

— Ну, как что? Женитьба — ведь дело серьезное. Нарваться можно. Когда-нибудь внуки пойдут. А вдруг жена не сможет быть для них достойной бабушкой. Тем более в наше время, когда все хозяйство лежит на бабушках. Так что, прежде чем жениться, надо

проверить, может ли твоя жена быть достойной бабушкой! Верно?

— Верно! — обрадовался Витька. — А ты умнееш на глазах. И ты знаешь, она отличной бабушкой оказалась. На днях буду делать предложение.

Через несколько дней я встретил его на том же месте.

— Ну как, сделал предложение? — спросил я.

— Нет, ты знаешь, решил немного подождать. Видишь ли, я на днях на пенсию уйду. Хочу проверить, сможет ли она вести хозяйство на наши две пенсии. Тем более мне за то, что на пенсию уйду, от работы участок за городом дают. Как она со всем этим справится? Надо посмотреть. А то так нарваться можно! А я уже не в том возрасте, чтобы делать необдуманные предложения...

Так случилось, что мне дали участок в том же месте, что и Витьке. Подходя к его маленькому дощатому, словно игрушечному домику, я увидел, как они вдвоем дружно копаются в огороде. Витька подошел ко мне и на ухо через забор шепотом сказал:

— Работаем! Клубнику сажаем. Если вырастет, точно на ней женюсь.

С этих пор мы часто встречались, ходили друг к другу в гости. А однажды утром он пришел грустный и сказал, что она от него ушла. Я спросил, почему.

— Оказывается, она меня все это время проверяла на решительность. И я оказался нерешительным.

Витька очень сокрушался.

— Это же надо! Сорок пять лет ей понадобилось, чтобы выяснить, что я нерешительный. Не могла раньше понять. У нас уже дети, внуки, скоро правнуки пойдут. Да и я ее люблю. Столько лет вместе прожили! Почти ни разу не ссорились. И вдруг на тебе! Оказывается, я ей не подхожу!

Витька долго возмущался, потом решительно сказал:

— Все. Поехал!

— Куда? — спросил я.

— На рынок. Цветы покупать. Буду делать ей предложение. Я ей покажу: нерешительный!

Мы одобрили его решение. Он очень обрадовался, принял валидол и почти побежал к выходу. У самой двери вдруг обернулся:

— Одного боюсь. Если вдруг со мной что-то случится... Все-таки сердечко сдавать начало. Как она со всей нашей большой семьей одна справится и как память обо мне хранить будет? Надо бы проверить. Как вы думаете? А то так нарваться можно!

Мы с женой развели руками...

112



Памятник Андрею РУБЛЕВУ в Москве.
Скульптор О. Комов, архитекторы Н. Комова и В. Нестеров.

Фото Л. Шимановича.

Юность. 1986. № 6. 1—112.

Индекс 71120

Цена 70 коп.

